

АРТИКЛЫ



Израильский литературный
журнал

АРТІКЛЪ



№ 18

Тель-Авив

2021

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Анна Берсенева. Сети Вероники..... | 4 |
| Катя Капович. Счастливец..... | 28 |
| Ольга Минская. В поисках себя..... | 46 |
| Шула Примак. Зеркала..... | 49 |
| Елена Дьячкова. Костюм дяди Джозефа..... | 56 |
| Александр Климов-Южин. От дома до Дона..... | 62 |
| Сергей Катуков. С точки зрения вечности | 68 |
| София Синицкая. Хроника Горбатого..... | 75 |
| Марк Горин. Возвращение..... | 114 |
| Игорь Альмечитов. Анна..... | 164 |
| Михаил Певзнер. Он, она и Тель-Авив..... | 170 |
| Яков Шехтер. Цемент..... | 188 |
| Михаил Юдсон. Остатки..... | 200 |
| ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ | |
| Натан Захави. Ошибка Леви-«Шляпы»..... | 204 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|-----|
| Вероника Долина. Метель мела | 209 |
| Яна-Мария Курмангалина. Мари с Хуаном..... | 215 |
| Ольга Журавлева. Судный день..... | 220 |
| Михаил Сипер. Луны тончайший серп..... | 223 |
| Евгений Финкель. Он тебя не слышит..... | 229 |
| Феликс Хармац. На стыке лихих времен..... | 234 |
| Андрей Новиков. Праздник..... | 242 |
| Эдуард Учаров. Декабрь..... | 245 |
| Андрей Чемоданов. Комета в форточку | 249 |

| | |
|---|-----|
| Татьяна Дагович. Бронированный хрусталь..... | 253 |
| Ольга Аникина. О мурашах и людях..... | 257 |
| Ирина Маулер. Подтяжка души..... | 262 |

НОН-ФИКШН

| | |
|---|-----|
| Александр Карабчиевский. Реквием по непроданной литературе | 265 |
| Михаил Копелиович. Хава Волович – новое имя в израильской русской прозе..... | 271 |
| Давид Шехтер. «Я даже представить себе не мог, что на свете существуют белые евреи»..... | 284 |
| Владимир Ханан. Под пеплом..... | 291 |

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| | |
|---|-----|
| Денис Соболев. Русско-израильская литература как «региональная онтология»..... | 300 |
| От редакции. | 308 |

На титульной странице: петербургский прозаик София
Синицкая

(см. страницу 75)

ПРОЗА

Анна Берсенева

Сети Вероники

(отрывок из романа)

Действие нового романа Анны Берсеновой «Сети Вероники» происходит в современной Москве, где работает медсестрой Алесья Пралеска. Родом она из Полесья, и там тоже происходит немалая часть действия, причем связанного не только с самой Алесей, но и с ее прабабкой Вероникой Водынской, молодость которой пришлась на бурное начало XX века.

Ресторан «Встреча в Москве» Алесе не понравился. Вернее, еда-то понравилась, но она не так сильно любила поесть, чтобы очень уж этому радоваться.

Правда, говорить об этом Виталику она не стала. Он был неплохой человек, занимался программным обеспечением и однажды помог Алесе, когда в ее дежурство на сестринском посту намертво завис компьютер. Она была ему за ту помощь благодарна, так и сказала, а через неделю поняла, что Виталик заходит в отделение терапии как-то чаще, чем раньше, и каждый раз заглядывает к ней в сестринскую или на пост.

Так что его приглашению в ресторан на ВДНХ она не удивилась. И почему же не пойти? Пошла.

В меню было написано, что «Встреча в Москве» возвращает в советское время и представляет кухни народов СССР. Были здесь, в самом деле, и чебуреки, и украинский борщ, и хинкали, и драники. Виталик почему-то думал, что Алесе именно драников захочется, но она выбрала мурманскую рыбу, объяснив:

- Драников я и дома могу нажарить.
- А ты умеешь? – поинтересовался Виталик.
- Да что там уметь? – улыбнулась Алесья.

Он выглядел погруженным в себя, а когда достал айфон, чтобы проверить звякнувшее сообщение, то по быстрому и радостному выражению его глаз Алесья поняла, как сильно

ему хочется поскорее вернуться к своей привычной жизни, которая проходит в виртуальном пространстве и в выходе в реальность несколько не нуждается. Но ведь все айтишники такие, и ресторан не понравился ей, наверное, не поэтому.

- А потому, что вы чувствуете фальшь, - сказал Игорь Павлович, когда Алеся мельком упомянула, что ела вчера мурманскую рыбу с кускусом.

Он спросил, где она это ела, и пришлось рассказать про «Встречу в Москве». Оказалось, он этот ресторан знает.

- Какую фальшь? – не поняла Алеся.

- Фальшь самого посыла – вот такие, товарищи, замечательные были советские рестораны, вот такая в советские времена была прекрасная еда.

- А разве не так? Салат оливье точно был. И чебуреки тоже были.

Он поморщился.

- Не были тоже, а назывались так же. Чебуреки, которые тогда продавались на ВДНХ, не имеют ничего общего с теми, которые подают в этой «Встрече в Москве». Вы тех чебуреков в силу своей молодости просто не ели – на вас и расчет. И интерьеры, которые там выдают за советские, тоже фальшивая декорация, больше ничего. Обман, и не такой уж безобидный. Даже гнусный, я бы сказал.

Алеся вспомнила, что внутри в самом деле было много каких-то предметов из советских времен, вроде радиоприемника с колесиком, и стоял автомат с газировкой, в котором граненые стаканы были как у бабушки в деревне, и на стенах висели плакаты с широко улыбающимися женщинами в юбках колокольчиками. Но ведь в любом кафе все делается в одном каком-нибудь стиле, ничего в этом нет особенного.

- Почему же обман, да еще гнусный? – удивленно спросила она.

- Потому что в молодые головы всеми способами вливается мысль, что при советской власти было прекрасно. И набитые отличным мясом чебуреки на эту лживую максиму работают. В советские годы чебуреки были набиты жилами, хорошо, если хотя бы не тухлыми. – И прежде чем она как-то отозвалась на его слова, Игорь Павлович спросил: - Алеся, вы подумали над моим предложением?

Предложение на первый взгляд было из тех, от которых глупо отказываться. Но уже на второй, чуть более

внимательный взгляд становилось понятно, что принять его значит поставить себя в такое положение, из которого в случае чего непросто будет выбраться.

Однако на прямой вопрос и отвечать нужно прямо, и она ответила:

- Подумала. Но ничего не решила.

- Почему?

В его серьезном взгляде проступала печаль, это было слишком знакомо и ранило.

- Игорь Павлович, что я буду делать, если через два месяца вы скажете, что я вам не подхожу? – спросила Алеся.

- Я такого не скажу.

- Ну, или Ирина Михайловна скажет. Она пожилой человек, и перемены настроения могут быть, и просто капризы. В ее возрасте это естественно, я не осуждаю. Но делать-то что мне тогда? Подруга моя за всю квартиру платить не захочет, вместо меня кого-нибудь в соседки найдет. А я такое жилье, как сейчас, за такую цену больше уже не найду.

- Послушайте, Алеся. – Его голос звучал сухо, но именно это внушало доверие. – Мы с вами подпишем договор, на который не смогут влиять перемены чьего бы то ни было настроения. Там будет прописано ровно то, что я вам предложил: вы в свободное от основной работы время оказываете моей маме услуги медицинского характера, перечень мы с вами согласуем, и за это проживаете в отдельной комнате ее квартиры.

- Но у меня же ночные дежурства бывают, - сказала Алеся. – И в Пинск мне может понадобиться съездить. И как тогда?

- Вряд ли вы собираетесь уезжать часто и надолго. Думаю, ваша работа в больнице этого не предусматривает. А маме нужна некоторая помощь, но круглосуточная сиделка пока не требуется. Думаю, вы и сами это поняли.

За те несколько раз, когда Алеся приходила ставить Ирине Михайловне капельницы, а потом внутримышечные уколы, как сегодня, она в самом деле это поняла. И что Игорь Павлович ее не обманывает, понимала тоже. Но понимала и другое...

«Я не имею права ни на малейший риск, - глядя в его внимательные глаза, без слов произнесла она. – Я сказала себе это, когда ехала в Москву. И не должна от этого

отступать. У меня должна быть ровная жизнь. Без потрясений».

- Решайтесь, Алесья, - сказал Игорь Павлович. – Вы же на редкость разумный человек.

На редкость или нет, а решаться надо.

- Хорошо, - произнесла она. – Когда вы хотите, чтобы я переехала?

- Хоть сегодня. Спасибо вам.

Он улыбнулся. Улыбка появлялась на его лице не часто, это Алесья уже отметила. Значит, в самом деле рад ее решению.

- Сегодня не получится, - сказала она.- В понедельник вернусь домой после суток и буду перебираться.

- Прислать за вами машину?

- Не надо. У меня вещей не так уж много, постепенно все перевезу.

- Может быть, заплатить вашей подруге компенсацию за то время, пока она будет искать другую соседку?

Алесья не знала, чем занимается Игорь Павлович, но по всему видно, что он привык руководить, и не как чиновник, а так, как руководят своим собственным делом. Знает, на что обратить внимание.

- Не надо, - повторила она. – У нас оплата вперед, мы только что за август заплатили.

- Тогда я выплачу компенсацию за эту оплату вам.

Она хотела сказать, что вот этого не надо точно, но не сказала. Он не похож на человека, который что-то предлагает в надежде на отказ, и ей не хотелось, чтобы он принял ее слова за жеманство.

Как обычно, Игорь Павлович вышел проводить ее во двор. И, тоже как обычно, остановились поговорить у подъезда. О мурманской рыбе и обо всем таком прочем, ни о чем особенном, но разговор с ним был Алесе интересен.

- Пришлите мне, пожалуйста, ваш e-мейл, - сказал он. – Я сегодня же отправлю договор, вы посмотрите. И подпишем, если не возникнет возражений.

- Хорошо.

Они медленно пошли к калитке.

- С мамой вам не будет тяжело, - сказал Игорь Павлович. – Я не стал бы обманывать. Несмотря на некоторое упрямство, у нее легкий характер. И разговорами лишними не донимает, тоже плюс.

- С Ириной Михайловной интересно разговаривать, - согласилась Алесья. – Она мне сегодня рассказывала, как в

войну авиабомба здесь в переулке взорвалась. В доме все стекла выбило, крыша долго потом текла, и она корыто под течь подставляла.

- Это не такие уж интересные сведения, - пожал плечами Игорь Павлович. – По всей Москве так было. У маминой одноклассницы вообще полдома бомбой снесло, ее комната без стены осталась, она прямо с улицы подходила и книжки, какие для школы были нужны, с полки брала.

- А мой дедушка в партизанах учился, - вспомнила Алеся. – В лесу. У них там в отряде все было – и школа, и мастерские всякие.

- Да, Беларусь же сплошь была партизанская, это всем известно.

Алеся тоже думала, что это всем известно, пока не разговорилась однажды с Еленой Андреевной, гематологом. У той заболела медсестра, и она попросила Алеся помочь во время плазмофареза.

- Я хотела бы в Минске побывать, - сказала Елена Андреевна, когда пациент был уложен и процедура началась.

- Так приезжайте, - сказала Алеся.

- А я боюсь туда ехать.

- Куда боитесь ехать? – не поняла Алеся. – В Минск?

- Вообще в Белоруссию. Понимаешь, я человек принципиальный, а ваши ведь в войну фашистам помогали. Боюсь не найти общий язык.

Алеся ошеломлена была так, что не знала, как на это отвечать.

- Это вам в школе рассказывали? – только и спросила она.

Они с Еленой были ровесницами. Алеся любила слушать ее выступления на больничных конференциях и почему-то всегда представляла, какой была в школе эта красивая, уверенная в себе женщина, как громко и внятно отвечала она у доски, всегда и всё зная. Чем набита эта светлая голова, Алеся, оказывается, и представить не могла.

- Это все знают, - пожал плечами Елена.

Так что насчет «всем известно» Игорь Павлович ошибается. Но об этом Алеся ему не сказала, а просто попрощалась до завтра. Хотела подать руку, прощаясь, но сразу чуть промедлила, а потом уже не стала.

Она видела, что нравится ему, и это заставляло ее колебаться не меньше, чем все другие соображения, связанные с тем, что он ей предложил. В его отношении к

ней таилась большая опасность потрясений, чем в возможности потерять жилье.

Все это уже было в ее жизни. И этот внимательный взгляд взрослого человека, и осязаемое притяжение, исходящее от него. Только тогда притяжение было взаимным, а теперь? Она не знала.

Что после колледжа ее оставят в Минске, Алеся, конечно, не ожидала. Но когда так случилось, обрадовалась. И мама обрадовалась – привыкла, что дочка живет в столице, и ей там хорошо.

Хорошо ей в Минске или нет, Алеся за время учебы не очень-то поняла. Конечно, общежитие не дом, и по дому она тосковала, и ездила в Пинск так часто, как только могла. Но тоска не скука, а скучать ей как раз не приходилось, так много времени требовала учеба. По той же причине она не успела толком понять, чем ей нравится минская жизнь.

Зато теперь понимала это в полной мере. Конечно, работа отнимала не меньше времени, чем учеба, а ответственности было и гораздо больше. Но жизнь – не учеба, не работа, а вся жизнь как есть – раскрылась теперь перед ней, и заиграла всеми оттенками привычных цветов, и стала от этого совсем непривычной.

В отделении, которым заведовал Борис Платонович Климок, Алеся встретили так, будто она и не уходила после практики. Да и сама она влилась в коллектив, будто всегда здесь работала. Правда, известная формула счастья в ее случае была верна только наполовину: утром она шла на работу с радостью, но уходить вечером домой, тоже в общежитие, только не от колледжа, а от горздрава, ей ни чуточки не хотелось.

Она говорила себе: это потому, что работа интересная, и не то чтобы просто говорила, а в самом деле любила свою работу. Но невозможно было не признаваться себе и в том, что радость ее была бы совсем другая, если бы работа не была связана с Борисом Платоновичем. Когда Алеся видела его, из ровного огня ее счастья вырывалась такая яркая вспышка, что она даже озиралась украдкой: не видят ли этого люди, не догадываются ли, в чем дело?

Что Алеся в него влюбилась, удивляться, может, и не приходилось: такой он был, что странно было бы не влюбиться. От одного его взгляда, отмеченного особенным

пониманием жизни, которого у нее не было и быть не могло, - от одного этого взгляда трепетала ее душа.

В больнице у них не много было времени для общения, да и происходило оно у всех на виду и в основном по работе. Иногда отмечали в отделении чей-нибудь день рождения, но тоже все вместе, и общение при этом никак от повседневного не отличалось. Но с Борисом Платоновичем она встречалась в нерабочее время тоже, и вот это было уже совсем другое. От того, что есть между ними такая тайна, Алеся чувствовала себя совершенно счастливой.

Первый раз Борис Платонович попросил ее о встрече словно бы мельком. Она выходила из палаты, раздав лекарства, он шел по коридору и спросил:

- Увидимся сегодня вечером, Алеся?

Это вечером вообще-то и было, окна уже становились синими, сумеречными, потому она и не поняла, о чем он.

- Я вас буду ждать в кафе «Молочное», - сказал Борис Платонович. – А, черт, теперь оно как-то по-другому называется... То, что напротив цирка, возле сквера Купалы, знаете?

О каком кафе он говорит, она не знала, но разве это имело значение?

- Я приду, - ответила Алеся.

Кафе было большое, вернее, длинное и, кажется, красивое. Но его тяжеловесную, солидную красоту и по-старинному высокие потолки, из-за которых оно казалось гулким, Алеся едва заметила. Войдя, она взглянула вдоль зала, и в самом конце увидела Бориса Платоновича. Он поднялся и пошел ей навстречу, а потом проводил ее к своему столику.

- Извини, что после работы тебя задерживаю, - сказал он. – Ненадолго, а?

Она хотела сказать, что он ее совсем не задерживает, она никуда не торопится, да если бы и торопилась... Господи, какое же счастье видеть его вот так, наедине! И отдельное, особенное, еще большее счастье - понимать, что и он хочет ее видеть. Иначе ведь не позвал бы сюда?

- Вы что-то хотели мне сказать, Борис Платонович?

«Зачем я спрашиваю?»

Алеся даже похолодела от непонятно к чему сказанных слов. А вдруг он обидится, пожмет плечами, ответит «ничего» и уйдет?

Но Борис Платонович не обиделся, а улыбнулся. Улыбка его не была веселой, это она еще во время их первого

разговора заметила и потом, когда начала работать в его отделении, все время отмечала. Но все равно Алеся знала, что он рад ее видеть. Она и не знала это, а чувствовала.

- Хотел. – Он не отводил от нее взгляда. – Но не скажу. Может, потом когда-нибудь. А пока давай просто посидим немного. Можно так?

Алеся кивнула. Ответить словами она не могла – у нее перехватило горло.

Борис Платонович сидел спиной к огромному витринному окну, а Алеся напротив. Начался дождь, и проглянуло от этого у него за спиной, в уличных сумерках, предвестье осени.

Они пили кофе молча, но молчание не было тягостным. Алеся чувствовала, что для него так же, как для нее.

- Мы сюда после школы часто ходили. – Борис Платонович первым нарушил молчание. – Пили молочный коктейль. Девчонки его любили. Вино уже позже стали пить и не здесь, конечно.

- А где?

- В Парке Горького. Там есть такая огромная липа, лет сто ей, если не больше. Сидели под ней, болтали, выпивали. Но вообще-то не очень вином увлекались. Потребности не было. И так было радостно жить.

- А теперь разве нет?

Вопрос вырвался как-то сам собою.

- Не знаю, милая. – Он улыбнулся чудесной своей улыбкой. - Когда работаю – да. А вообще... Не всегда удается внушить себе радость.

От того, что он сказал ей «милая», голова у нее закружилась так, что она даже не поняла, что он сказал кроме этого. Поэтому ничего не отвечала, а только смотрела на него, на расчерченное дождем синее окно у него за спиной и не чувствовала ни смущения, ни тревоги, одно лишь счастье.

Так, в молчании, допили кофе, и Борис Платонович сказал:

- Пойдем?

Алеся кивнула. Она боялась, что любовь переполнит ее и хлынет слезами. А ей казалось неправильным плакать от счастья.

Но только первая встреча была у них такая, что кто-нибудь другой, не Алеся, наверное, назвал бы ее странной. А потом они стали встречаться часто, хотя и ненадолго - поесть после работы, поговорить о чем-нибудь, и не

обязательно о работе. Борис Платонович любил читать, Алеся тоже, и разговаривать им было поэтому интересно. Он выписывал журнал «Иностранная литература», Алеся о таком даже не слышала, но он стал приносить ей номера, и свежие, и за прошлые годы, она прочитывала их один за другим, быстро и жадно, и разговаривать с ним ей потом становилось еще интереснее, если такое вообще было возможно.

Однажды Борис Платонович позвал ее вечером в кино на «Дьявол носит Prada». Перед сеансом зашли в кафе «Батлейка» рядом с кинотеатром «Октябрь», и он взял себе взбитые сливки, а когда Алеся удивилась такому выбору – уже знала, что он не любит сладкое, - сказал:

- Я помню, как «Батлейка» открылась. Тогда это было чуть ли не единственное место в городе, где продавались взбитые сливки. Моя будущая жена очень их любила, я ее сюда то и дело водил, и сам к ним привык.

Он впервые упомянул о своей жене. То есть Алеся, конечно, знала, что у него есть жена и два сына, один школу заканчивает, другой в первый класс пошел, но сам он никогда о своей семье не говорил. А теперь сказал, глядя ей в глаза, словно ожидая от нее каких-то слов. Алеся отвела взгляд. А что она могла бы сказать?

Он первым нарушил молчание.

- Не бывает ошибок однократного действия, - сказал Борис Платонович. – Я имею в виду те, которые существенно влияют на жизнь. Из первой вытекает вторая, из второй третья, и конца этому нет. Во всяком случае, в моей жизни получилось так.

Это могло означать только одно: что он считает свою женитьбу ошибкой. Но даже если она правильно догадалась, разве можно сказать ему об этом? Вряд ли он ожидает от нее подтверждения своим словам.

Билеты у них были на один из последних рядов, в углу. Из-за «Батлейки» на сеанс немного опоздали и вошли уже в темноте, но людей в зале было мало, и они быстро прошли на свои места, поднявшись на самый верх амфитеатра. Свободен был весь их ряд. Алеся сняла мокрый от дождя плащ и положила на соседнее кресло. Борис Платонович взял ее руку, положил себе на колено и накрыл своей рукой. Так они сидели все время, пока шел журнал – какой-то документальный ролик. Алеся не понимала, о чем он. Она боялась, что ее рука начнет дрожать у него на колене. Так и вышло: ее пальцы вздрогнули в ту минуту, когда

начался фильм, чуть сжали его колена. Борис Платонович повернулся к ней. Свет от экрана блестел в его глазах. Он взял Алесю за плечи и стал целовать. Она никогда ни с кем не целовалась, так вышло. И хотя всегда стеснялась этого, теперь подумала, что, наверное, так и должно было в ее жизни быть, иначе она, может, не чувствовала бы сейчас такого счастья. Такого безраздельного счастья. Но тут же и мысли, и слова исчезли в сплошном звенящем сиянии у нее внутри. Или не сиянием это называлось? Названия она не знала, но знала, от чего оно – от его безудержных поцелуев.

Потом Борис Платонович обнял ее, и дальше она смотрела фильм, положив голову ему на плечо. Если об этом можно было сказать «смотрела» - Алеся не то что не понимала, но даже не видела, что происходит на экране.

После кино он проводил ее до автобуса и еще раз поцеловал на остановке, уже не безудержно, а тихо и ласково, на прощание. Она не спала всю ночь. Хорошо, что назавтра была суббота, и, хотя Алесе поставили дежурство, Бориса Платоновича не было в отделении. Она не представляла, как поздоровалась бы с ним при всех, как смогла бы сделать вид, будто ничего не случилось. Из рук у нее ничего не валялось, потому что у нее вообще никогда ничего не валялось из рук, но голова была переполнена мыслями, от которых хотелось бежать, как от ночных кошмаров.

Нет, не хотелось ей бежать от этих мыслей! Хотелось думать о нем постоянно, вспоминать его поцелуи, его руку поверх своей руки, его слова при прощании: «Милая ты моя...». Да, так он сказал на автобусной остановке, и слова эти, хоть были произнесены совсем тихо, звучали в ее голове, как набат.

В понедельник Алесе пришлось взять отгулы: позвонила мама, сказала, что бабушка совсем расклеилась – говорит, пора на тот свет готовиться, и просит внучку приехать. Алеся переполошилась и, конечно, тут же выехала. С тех пор как она поступила в медицинский колледж, бабушка, папина мама, перебралась из Багничей в Пинск.

В медицинском смысле тревога оказалась ложной: бабушка просто слегка приболела, кардиограмма для ее возраста выглядела неплохо, анализы были в порядке, и общая слабость, похоже, одним лишь возрастом объяснялась.

- Не сердись на нее, дочка, - сказала мама. – Старый человек, за каждым поворотом смерть мерещится.

- Ну что ты, мам. – Алеся махнула рукой. – Все в порядке, и слава богу. К вам лишний раз приехала, разве плохо?

- Хорошо. – Мама всмотрелась в ее лицо. – Только встревоженная какая-то. Случилось что?

- Нет, ничего.

Они сидели в кухне вдвоем. Папа уже спал, бабушка тоже. В поезде Алеся продуло, она шмыгала носом и пила заваренный липовый цвет. Мама собирала изделия полесских ремесленников, и чайник у нее был из чернозатымленной керамики, а на рушниках, покрывающих стол, были вышиты голубые и алые цветочные орнаменты.

- Смотри, настоялся как. – Она налила липовый отвар в Алесину чашку. – Как бурштын.

Отвар действительно получился янтарный. Алеся с самого детства лечили таким от простуд, и цвет этот был для нее цветом надежности и покоя.

- Любишь ты кого-нибудь, Алеся?

Если бы мама спросила, как все спрашивают: «У тебя кто-нибудь есть?» - ответить было бы не трудно: отношения с Борисом Платоновичем не позволяли говорить, что он у нее «есть». Но мама спросила о том, что размышлений у Алеси не вызывало.

- Да, - ответила она.

- Он кто?

- Врач. Завотделением наш.

- О господи!

Чайник задрожал в маминых руках, липовый отвар пролился на рушник. Алеся промолчала. А что скажешь? Понятно, что заведующему отделением не двадцать лет и что вряд ли он одинокий.

- Оставь ты это, детка моя. – Мама первая нарушила тягостное молчание. Голос ее дрожал. – Не для тебя это.

Ответить было нечего. Хорошо, что мама и не ожидала ответа.

- У нас сроду этого в семье не было, - сказала она. – Ни по крестьянской линии, ни по шляхетской – ни у кого.

- По какой еще шляхетской?

Алеся улыбнулась. Улыбка вышла какая-то жалобная, но вопрос все-таки маму отвлек.

- Ну а Вероника Францевна, папина бабка, кто была? – сказала она. - Пинская шляхта, застенковая.

- Никогда ты мне этого не говорила! Что такое застенковая?

«Пинская шляхта» называлась комедия Дунина-Марцинкевича, ее проходили в школе. Алесе она казалась слишком уж простой, вроде «Недоросля», как мама ни старалась внушить к этой пьесе интерес на уроках белорусской литературы.

А сейчас действительно стало интересно, несмотря даже на расстроенность чувств.

- Застенковая, околичная – значит, мелкая. Такая усадьба, как у Водынских, застенком называлась. Дом хоть и не в самой деревне стоит, а все-таки за околицей, но хозяйство по сути крестьянское. Однако домашняя жизнь не на крестьянский лад была у них устроена, и горор был шляхетский. – Мама увлеклась, и, как всегда в таких случаях, учительские нотки зазвучали в ее голосе. - Когда Польшу разделили, и русские власти стали разбор шляхты делать, Водынские гордились, что их грамоты не утеряны и в мещане их не запишут, как многих. А что тебе про это не рассказывала, так я и сама не знала. Папа наш, сама знаешь, молчаливый, да и вообще люди раньше о таком помалкивали, это сейчас модно стало корни искать. Я и запрос в архив посылала. И бабушку спрашивала, но у нее со свекровью не сложились отношения, так что она про Веронику Францевну мало знает. Вот про своих родителей охотно говорит, и крестьянская линия нам поэтому хорошо известна. Ну, у крестьян не меньше интересного в поколениях, чем у шляхты. Но того, чтобы с женатым мужчиной... - Мама все-таки вернулась к тому, что волновало ее сейчас больше всего. - Алесья, никогда у нас такого не было! Брось ты это, пока не поздно.

«Поздно», - подумала Алесья.

Все стеснилось у нее в груди от этой мысли, и она поспешила спросить:

- Так что, про Веронику Францевну бабушка совсем ничего не помнит? Или что-нибудь рассказывала все же?

- Ты мне зубы не заговаривай! Вдруг тебе до Вероники Францевны дело стало! О себе подумай, не о ней.

О себе!.. Так пугали эти мысли, что в самом деле хотелось спрятаться за чьей-нибудь жизнью. И Вероника Францевна, пинская шляхтянка, отделенная от нее глубио времени, очень в этом смысле подходила.

- «И тут он увидал Косу Береники, что свет проливает среди огней небесных». – Папа поднял взгляд от книги и спросил: - Ты сумеешь, о чем речь?

Вероника поспешно кивнула, не то чтобы совсем этим жестом соврав, но все-таки немножко слукавив. Конечно, когда папа читал Катулла на латыни, она понимала смысл стихов еще меньше, а правду сказать, почти ничего не понимала. Но и когда он с листа переводил латынь на русский, польский или белорусский, ей не все было понятно, потому что мыслями она блуждала далеко и от комнаты с низким потолком, и от папы, сидящего в кресле, обтянутом потертым аксамитом, и от самого застенка Багничи. Может, как раз среди огней небесных летали ее мысли, там, где, согласно катулловым стихам, развевались сияющие косы Береники.

- Тогда слушай дальше, - сказал папа. – «Разве любовь не мила молодой жене? И разве не лжива ее девичья слеза, когда перед глазами родительскими плачет она у брачного ложа, утешного ложа?»

- Франтишек, оставь ее в покое. Как не стыдно такое дочке читать?

Мать вошла в комнату с деревянным подносом в руках. На подносе стояла черная керамическая миска, такое же блюдо и стеклянная рюмка с серебряным вензелем.

- С чего мне должно быть стыдно? – Папа снял очки и положил на открытую книгу. – Ей в гимназию поступать. Надо знать великих поэтов. Чтоб не стыдно было перед коллежанками. А то станут застенковой звать.

- Она и есть застенковая. – Мать поджала губы. – Нечего стыдиться. А тебе лекарство пора принять. Только сперва поешь, чтоб живот не заболел.

Она поставила поднос на резной деревянный столик, сняла вышитые салфетки, которыми накрыта была еда. Папа покорно взял с блюда блин и принялся есть, окуная его в миску, наполненную мачанкой, и подхватывая оттуда блином кусочки копченого мяса.

Вероника вертелась на своей табуретке, чуть не подпрыгивала. Ну когда уже ей позволят идти на все четыре стороны? Но папа не обращал на нее никакого внимания. Собрал блином остатки мачанки со дна миски, выпил лекарство из рюмки, поморщился, заел...

- Что ты крутишься? – Наконец он заметил дочкино нетерпение. – Слушай дальше.

- Таточка, давай завтра дочитаем? – жалобно попросила Вероника. – Целую страницу на память выучу!

- К деду Базылю торопишься? - поморщился папа. И, глядя на мать, добавил: - От деревенских не отличить, растет как осот. А ты еще говоришь, зачем ей Катулл!

- Иди, дочка. – Мать бросила ему в ответ привычно колючий взгляд. – Вячэрать не опаздывай.

- Дед Базыль уху сварит, я с ним повячэраю!

Выбегая из комнаты, Вероника услышала папин вздох. Но все это – и его фантазии, одной из которых было чтение ей Катулла, и то, как относится к этому мать, и сами отношения между родителями – было слишком привычно, чтобы обращать на это внимание.

«Вот как странно, - подумала Вероника, пробегая к загороди, вдоль которой росли мальвы. – И речка ведь тоже привычная, и рыбу ловить. А не надоедает!»

Но задумываться об этом было некогда. Дед Базыль обещал взять ее с собой на вечернюю рыбалку и ждать точно не станет.

Дедом он Веронике не был, да и никакой родней не был – шляхта с крестьянами не роднилась, во всяком случае, в Багничах, - но относился к ней с расположением, удивительным для его мрачного нрава. И она готова была проводить с ним часы и дни напролет. Не было на свете такого, чего дед Базыль не умел бы, и ни с кем она поэтому не чувствовала такой уверенности в том, что мир прочен и надежен. И болотная зыбь, на которой стояли Багничы, ничуть ее уверенности не мешала.

Сбежав с невысокого холма, Вероника оглянулась на усадьбу. Солнце, садясь, освещало дом, и его крытая камышом крыша переливалась в закатных лучах, как струны арфы. Когда Вероника была маленькая, папа привез ей из Пинска, из книжной лавки Эдмана, большую немецкую книгу про музыкальные инструменты, и вид золотой арфы в этой книге заворожил ее. Очень хотелось выучиться на арфе играть, но взяться такому чуду в Багничах было неоткуда, и пришлось удовольствоваться настольной фисгармонией, которую папа выписал год назад из Кракова на Вероникин день рождения. Мать и фисгармонию считала блажью – говорила, лучше бы училась шить, про богатого мужа мечтать не приходится, самой придется семью обшивать, а то и на хлеб зарабатывать. Но папа уже был тогда болен, ноги у него отнялись, материнская ревность и бурные ссоры между

родителями поэтому прекратились, и мать предоставила дочкины занятия его фантазиям. Давать Веронике музыкальные уроки, правда, было некому, но природный слух помог – она даже «К Элизе» Бетховена сумела разучить самостоятельно по прилагавшимся к фисгармонии нотам.

Еще дома, в сенях, Вероника натянула высокие болотные сапоги и плащ из рожи. Когда подбежала к хате деда Базыля и не увидела его, опрометью бросилась прямо к реке, благо та разлилась до самой загороди Базылева двора.

Дед уже стоял в своем длинном, выдолбленном из цельного дубового ствола челне. Он не сказал ни слова, только бросил на Веронику мрачный взгляд. Но та не обиделась: слова она, как все полешуки, считала в большинстве случаев излишними, да и взгляд деда Базыля не казался ей таким мрачным, каким показался бы постороннему человеку. Вероника запрыгнула в челн, взяла второе весло и оттолкнулась от берега.

Весной Ясельда всегда разливалась широко, сливалась со множеством протоков, своих и Припяти, и превращалась в настоящее море. Папа рассказывал, что древнегреческий историк Геродот еще две с половиной тысячи лет назад его описывал, и есть средневековые карты, на которых оно обозначено. Море Геродота давно высохло и оставило после себя лишь бесконечные болота. Но во время разлива и слияния всех полесских рек оно, как в древности, расстилалось до самого горизонта, и летел по нему челн, подгоняемый быстрым весенним течением.

Свернули в протоку и поплыли под стоящими в воде деревьями. В обычное время здесь была пойменная дубрава, поэтому не речная, а лесная трава видна была теперь сквозь ясную воду. И лицо Вероники отражалось в этой воде, как в зеркале, и пряди полурасплетенной русой косы, перекинутой на грудь, путались в отражении с ушедшей под воду лесной травой.

- Чего там выглядываешь? В наставку загоняй, - буркнул дед.

Вероника поспешно отвела взгляд от своего же взгляда в лесной воде.

Дед погрузил в воду сплетенный из лозы конус – наставку - и принялся опускать его все ниже, пока тот не оказался на дне. Вероника с силой водила под водой веслом, загоняя

рыбу в наставку, а дед Базыль точными ударами бил рыбин багром и бросал в челн.

Снастей у него было множество – и поплавы, и катцы, и нережки, и кломли, и неводы зимние, и неводы летние; Вероника знала их все как свои пять пальцев. Но сейчас он долго рыбачить не собирался, потому и взял с собой одну лишь наставку. Еще затемно его внук Ясь на другом челне повез весь сегодняшний ранний улов в Пинск. Потому дед и отправился за рыбой на ужин, а для одной лишь своей семьи требовалось ее не много, не то что для продажи на пинском рынке.

Пока он тут же в челне потрошил и чистил рыбу, Вероника вытянула из воды наставку.

- Этих матке отнесешь. – Дед отобрал нескольких крупных язей и бросил в корзину. – Ухи наварит, или что там у вас едят.

Мать запекала рыбу в металлической рыбнице и подавала с польским соусом. Папа привык к городской еде и не хотел отвыкать. Застенок Багниччи был материнским приданым, здесь она родилась и жила до того, как поехала в Краков погостить к тетке и скоропалительно вышла замуж за Франца Водынского, дружившего с теткинским сыном. Брак считался удачным: Водынские владели в Кракове мануфактурой, Франц был наследником. Никто не ожидал, что женина усадьба на болоте вдруг окажется единственной собственностью молодой семьи. Сельскую жизнь Франц Водынский ненавидел, Багниччи считал западной, так и кричал когда-то жене во время ссор. Но деваться отсюда было теперь некуда: денег, оставшихся после того, как мануфактура Водынских разорилась, только на сельскую жизнь и хватало. И то если жить в глуши Полесья, где питаться можно тем, что дают река, лес и скудное поле.

То есть это родителям некуда было деваться, а Веронику папа намеревался отправить в Пинск, чего бы это ему ни стоило, и сам готовил ее к поступлению в гимназию, обучая бесполезным, по материнскому разумению, вещам.

- Отдохни, дедушка, - на обратном пути сказала Вероника. – Я и одна с веслом управлюсь.

Не было в Багниччах человека, который не умел бы управляться с веслом, и Вероника тоже умела, конечно. Стоя в челне, она будто и не управляла им вовсе, а ощущала весло частью себя, как руку или ногу.

Ветви деревьев низко склонялись над водой, и от того, что она поднялась до середины стволов, казалось, челн плывет не в настоящей, а в сказочной дубраве. Или не от этого все здесь выглядит таинственным? В лесу и на болоте что угодно ведь случается, и встреча с волколаком так же возможна, как с обычным волком, сколько бы папа ни говорил, что все эти волколаки и русалки - забабоны темных людей, а человека образованного они могут интересовать только в этнографическом смысле.

- А помнишь, ты про папаратъ-кветку говорил? – вспомнила Вероника.

Про папаратъ-кветку дед Базыль коротко упомянул вчера, выпив келишек водки. Эх, вчера и надо было побольше порасспрашивать! Водки сегодня уже нету, а без нее из деда слова не вытянешь. Может, Ясь из Пинска ему привезет?

- Помню, - неожиданно кивнул дед Базыль. – А тебе что до папаратъ-кветки?

Он сидел на дне челна перед Вероникой и, ей казалось, усмехался в бороду.

- Интересно же! Говорят, она только один миг цветет – как глазом моргнуть. И сияет, как падающая звезда. А правда, что в папаратъ-кветке душа русалки живет?

- Може, и правда.

- А ты русалок видел когда-нибудь?

- Много раз.

У Вероники даже мурашки по спине побежали от любопытства.

- Ой, дедушка! – воскликнула она. – И какие они?

- Весло не утопи, - буркнул дед. – Русалки какие? Обыкновенные. Огни на болоте. В осень там не только они блукают, всеякой нечисти много.

Болот Вероника не боялась. И странно было бы бояться: они начинались сразу за холмом, на котором стояли Багничы, и тянулись далеко, до самой Вольни. Она с рождения видела их из окна усадебного дома и ходила по ним так же легко, как управляла лодкой. Но все-таки поежилась, представив, кого можно встретить на болотах в осенние сумерки. Волколаку еще и обрадуешься, может.

Наверное, тень испуга пробежала по ее лицу. Дед улыбнулся уже не в бороду, а во весь щербатый рот.

- Не пугайся, - сказал он. – Как встретишь нечисть, сразу работу ей давай.

- Какую же нечисти работу?.. - пробормотала Вероника.

- А любую. Лишь бы до рассвета хватило. Бабка Тэкля, когда девкой была, пошла за клюквой, и целое стадо чертей встретила.

- Это, может, и не черти были, а просто дикие свиньи! – хмыкнула Вероника.

Но как ни храбрилась, ей стало совсем уж не по себе. Она покрепче схватилась за весло, направляя челн из протоки в реку.

- Может, и свиньи, - не стал спорить дед. - Только по болоту от них гул пошел, огни побежали, и застонал кто-то.

- И что бабка Тэкля стала делать? – прошептала Вероника.

- Она тогда не бабка была, а девка, - напомнил дед Базыль. – Коса у нее была, как у тебя. Сети, а не коса. Тэкля ее скоренько расплела и чертям задала заплетать. Так и сказала: заплетайте мне косу по одному волосу.

- И что они?

- До утра плели. Она всю ночь с места сдвинуться не могла. Нибыта и правда в сети попала. Думала, в багну затянет. Да нет – утром выбралась. Поблукала трошки и вышла к застенку. Вся трясется, глаза варьятские. Старая пани ее клюквенной наливкой отпаивала. Расспроси татку с маткой, она им рассказывала, может.

Неизвестно, рассказывала ли старая пани – так в деревне называли Вероникину прабабушку – об этом случае своей родне, но если и рассказывала, спрашивать об этом папу не стоит. Он поморщится и скажет, что лучше бы Вероника приобщалась к настоящему культурному наследию. Катулла заставит выучить, да еще на латыни, может. Или Вергилия.

Какая-то мысль промелькнула в ее голове так быстро, что Вероника не успела ухватить ее за хвостик. Но дальшеплыли молча, и она все-таки смогла эту мысль догнать.

Вот папа читает ей поэму Катулла про Косу Береники, а потом показывает созвездие, которое так и называется, учит отличать его от Волопаса и Льва, и ей это интересно, правда интересно, она впитывает в себя папины рассказы, и Коса Береники видится ей потом в ясных снах. Но ведь точно так же интересно ей слушать и про папарты-кветку, и про то, как болотная нечисть Тэкле косу заплетала... А папа считает, что интересно может быть либо одно, либо другое, и если она просвещенный человек, то должна читать Катулла и Вергилия, а если верит в рассказы темных людей, то и проживет свою жизнь в умственной тьме.

И кого спросить, так ли это? Дед Базыль ответит свое, папа свое, а мать в очередной раз повторит, чтобы Вероника училась петли метать и кулагу варить – пригодится, когда замуж выйдет и дети пойдут, на прислугу рассчитывать нечего, все самой придется делать.

Челн уткнулся в берег. Вероника выпрыгнула на песок, дед выбрался тоже, вытянул челн из воды, забрал из него большую корзину с рыбой. Вероника взяла вторую, меньшую, и пошла вслед за дедом к его хате.

Ясь уже вернулся из Пинска. Вместе с бабкой Тэклей он стоял во дворе у очага, сложенного из дикого камня. Над очагом висел чугунок, в котором закипала вода. Бабка сразу стала варить уху из принесенной рыбы, а дед, Вероника и Ясь пошли в хату.

- Рыбу всю Протасеня взял у меня, - сказал Ясь. – Гроши дал добрые...

В его голосе слышались виноватые нотки.

- А сам ленился поторговать, - хмыкнул дед. – Чего оптом отдал?

- Не ленился, а... Не умею ловчить, все ж знают, - вздохнул Ясь. – Обвели б вокруг пальца, что хорошего?

Весь его вид - соломенные волосы, похожий на молодую картошку нос, а главное, кроткий взгляд – подтверждал эти слова.

«Зато у него руки золотые», - подумала Вероника.

Ясь однажды вырезал для нее из дерева бусы, притом в виде цепочки. И как сумел цепочку сделать из цельного липового сука? Непонятно. А из капа – нароста на березе - вырезал шкатулку и к ней деревянный замок, маленький, но настоящий, навесной, запиравшийся деревянным же ключом. Так что его неумение торговать, конечно, нельзя было считать недостатком.

Когда дед Базыль сам возил рыбу на пинский рынок, то однажды взял с собой Веронику. Поездка с ним понравилась ей не меньше, чем с папой.

Папа водил ее в книжные магазины, которых в Пинске оказалось так много, что Вероника даже запуталась, где какие книги продаются, а потом завел в гимназию, где, он надеялся, ей предстояло учиться. Папа был знаком с директором, и тот разрешил подняться на второй этаж, где занимались девочки, а потом посмотреть зоологический кабинет с макетами животных из папье-маше и чучелами птиц, и кабинет минералогии, для которого коллекция была прислана из Вильно.

В книжных лавках и в гимназии было тихо, торжественно, и восторг смешивался в душе Вероники с робостью. А на рыбном базаре, который тянулся вдоль берега Пины, наоборот, было шумно, потому что, продавая рыбу прямо с лодок, все старались перекричать друг друга, и никакой робости она там не почувствовала, а только любопытство.

В Пинске ждала ее новая взрослая жизнь, ждали перемены, и начаться они должны были совсем скоро.

Бабка Тэкля внесла в хату чугунок, разлила уху по мискам. Вероника увидела, как золотые монетки жира плавают на поверхности ухи, и чуть не заплакала. Ведь всего этого в новой ее жизни не будет! Ни ухи с золотыми монетками, ни челна, вольно летящего по морю Геродота, ни болот с редколесьем, в котором осенними ночами мерцают души русалок... И зачем ей тогда какая-то новая жизнь, зачем самые счастливые перемены, если из-за них она лишится всего этого?

Перемен не боишься, когда не имеешь к ним тяги. Это Алеся знала по собственному опыту. Она была рассудительна, в переменах ради перемен не нуждалась и любой выбор делала разумно. Но при таком ровном отношении к себе и к миру перемены в ее жизни все равно происходили, и резкие перемены, и болезненные.

Однако в нынешней перемене ничего болезненного не было. Алеся просто перевезла свои вещи из Павшинской поймы в Подсосенский переулочек, в квартиру Ирины Михайловны. Комнату ей отвели небольшую, но большая была и не нужна, тем более что высокие потолки и так создавали ощущение простора.

Характер у Ирины Михайловны в самом деле оказался не из тяжелых. Алеся без особого труда разобралась, что та равнодушна к еде - каждый день завтракает обезжиренным творогом, и это ей не надоедает, а обед, тоже очень простой, из одного блюда, либо готовит сама, либо его привозит фирма «Домашняя кухня», принадлежащая какому-то знакомому Игоря Павловича. Еще Ирина Михайловна привыкла, чтобы ее вещи находились только на отведенных им местах, в частности, чтобы английская жестяная коробочка с чаем всегда стояла непосредственно возле чайника, а не в кухонном буфете.

Все эти бытовые мелочи легко было запомнить. А ничего более крупного, значительного в жизни Ирины Михайловны уже и не было.

Стоило Алесе подумать о drobных составляющих этой жизни, как сразу же приходило в голову сравнение с жизнью собственной. Все, что она выполняла по работе – принимала больных в отделение, раздавала лекарства, делала назначенные процедуры, – было, наверное, важнее, чем чтение новостей и английских романов или раскладывание пасьянсов, то есть те занятия, которым посвящала свои дни Ирина Михайловна. Конечно, важнее, потому что Алесины действия были необходимы большему числу людей. Но по размерности и однообразию жизни между ней и Ириной Михайловной обнаруживалось слишком много сходства. Радовать это не могло, поэтому Алеся выбрасывала ненужные мысли из головы, говоря себе: «Жить ей не скучно, и с ней не скучно. Этого достаточно».

С Ириной Михайловной действительно было не скучно. Она не рассказывала житейских историй, но и хорошо – их Алеся как раз не любила, считая неотличимыми от обычных сплетен, только в прошедшем времени, – а говорила лишь о существенных вещах. Как всякий, кто работает с постоянно сменяющимися друг друга людьми, Алеся видела немало людей умных. Но те, кого интересовало бы в жизни только существенное, встречались редко. Ирина Михайловна была как раз из таких, и это привлекало к ней даже больше, чем ее легкий характер.

- Алеся, – спросила она однажды, – легко ли вам было привыкнуть к Москве?

Алеся не считала, что привыкла к Москве, так и ответила Ирине Михайловне.

- А почему? – заинтересовалась та.

Именно интерес был в ее глазах, а не пустое любопытство.

- Жизнь здесь жесткая, – объяснила Алеся. – Гораздо жестче, чем у нас. Да вы и сами знаете.

- Я не то чтобы знаю, но понимаю. А вот как вы это поняли?

Алеся поняла это сразу по приезде в Москву. Она возвращалась вечером с работы, в метро стало плохо какому-то мужчине – сердце прихватило. В час пик вагон был полон, Алеся не сразу протолкалась к нему. И все

время, пока проталкивалась, краем глаза видела, что большинство людей смотрят в свои телефоны или просто перед собой, не обращая внимания ни на что, происходящее не с ними.

- У нас бы так не было, - сказала она Ирине Михайловне. – Не то что все такие уж добрые, кто-то и помогать бы не стал, но хоть из любопытства посмотрел бы, в чем дело. А у вас здесь и любопытства в людях меньше в тысячу раз. Я потом одной нашей медсестре про тот случай рассказала, и она мне объяснила: мы в Москве постоянно окружены такой толпой людей, что у нас просто не хватит сил на себя, если будем на посторонних расходиться.

- Отвратительно, - поморщилась Ирина Михайловна. – Человек выдает свою нравственную ущербность за качество общей жизни. Отвратительно! Надеюсь, вы не поверили этой вашей коллеге?

- Не знаю... - проговорила Алеся. – Отзывчивые люди везде есть, конечно. Но общая жизнь... Она здесь совсем другая. В Москве даже время как-то по-другому идет, - вспомнила она. – Правда-правда! Я, когда только приехала, то и дело на часы поглядывала. Думаешь, час прошел или два, а на самом деле весь день. У нас время медленное, текучее. В Пинске, на Полесье, - уточнила она. – Может, потому что мы на болотах живем.

- Ну уж, на болотах! Я недавно видела передачу про одну американскую даму, которая перед войной по вашему Полесью путешествовала. Оно тогда еще польское было. И современный Пинск тоже показывали. Очаровательный городок. – Старушка улыбнулась. – Чистенький такой, и никаких болот.

- В Пинске-то болот, конечно, нет. – Алеся улыбнулась тоже. – А Багнички на самых болотах стоят. Это деревня, от Пинска недалеко, мой папа оттуда родом. Я однажды туда к бабушке на каникулы приехала, с девчонками за ягодами пошла и потерялась. Точно как в сказке: кустик за кустик, деревце за деревце... Чуть в трясину не затянуло. Хорошо, что пастух услышал, как я кричу.

- Представляю, как ваша бабушка испугалась.

Ирина Михайловна даже поежилась.

- Да, - кивнула Алеся. – За руку меня по болотам водила после этого - учила, как по ним ходить. Говорила, в жизни все может пригодиться. Но мне не пригодилось.

- В Москве, конечно, требуются другие жизненные навыки, - тактично заметила Ирина Михайловна.

- Конечно, - улыбнулась Алеся.

- Впрочем, неизвестно, какие умения понадобятся через несколько лет. Дамы моего возраста обожают цитировать Экклезиаста и Воюанда, утверждая, будто люди не меняются. Но это же не так! Люди изменились буквально на глазах, и очень сильно. И даже не в том, что касается новых технологий, а в самых простых вещах.

- В простых – это в каких?

Разговор, который Алеся сначала лишь поддерживала, чтобы не уйти невежливо сразу после того, как измерила Ирине Михайловне на ночь давление, стал вдруг гуще интересным.

- В изначальных, я бы сказала. В том, например, что значит для человека семья.

- В этом как раз ничего не изменилось, - усмехнулась Алеся.

- Не скажите. В моей молодости жить без мужа было очень трудно, чтобы не сказать невозможно. Даже в Москве. Тяжелый быт, нищенские зарплаты – люди вынуждены были держаться друг за друга хотя бы ради выживания. А сейчас вполне можно прожить одному.

Алеся молчала. Ей не хотелось ни опровергать это, ни подтверждать.

- Вам неприятна эта тема? – догадалась Ирина Михайловна.

- Нет-нет, - поспешно возразила она. – Мне интересно, что вы про это думаете.

- Я думаю, если люди не вынуждены быть вместе, чтобы выжить, то им приходится искать какие-то другие основания для совместной жизни. И не говорите, что дети достаточное основание, - сказала Ирина Михайловна, хотя Алеся ничего такого не говорила. – Детей тоже можно вырастить одному, часто даже лучше получается. Но что-то же связывает людей? Не в метафизическом смысле, а в обычной повседневности. Чувства на роль такой повседневной связи не подходят, они слишком изменчивы. А что неизменно, что надежно в отношениях между близкими? Чему они могут и должны доверять? Вот вопросы для современного человека. Мой покойный муж дружил с одним весьма верующим иудеем, так тот утверждал, что любовь вообще не развивается, а дается сразу. А если сразу не дается, то это и не любовь. Но как ее отличить от простого сексуального влечения и как все это соотносить с терпением

в построении отношений? Извините, Алеся! – спохватилась она. – Я краду ваш вечер отвлеченной болтовней.

Алеся могла бы сказать, что никаких планов на вечер у нее все равно нет, но это было бы нечестно: она разговаривала с Ириной Михайловной не потому, что больше нечем было заняться.

- С вами интересно, Ирина Михайловна, - сказала она.

- Разве? А мне кажется, в старости люди начинают изрекать одни лишь банальности.

- Все по-разному, - пожала плечами Алеся. - Вы - нет.

- Ну, может быть. Кажется, Ахматова в преклонных годах говорила: в моем возрасте интересуют уже только метафизика и сплетни. Не исключаю, что это же самое интересно не одним старикам. Если вам не трудно, достаньте мне, пожалуйста, с верхней полки Голсуорси. Захотелось перечитать.

Алеся забралась на стул, достала из книжного шкафа «Сагу о Форсайтах» и ушла в свою комнату, оставив дверь приоткрытой, чтобы услышать, если ночью понадобится помощь.

Слова Ирины Михайловны стояли у нее в памяти весь вечер.

Что неизменно, что надежно в отношениях между близкими людьми? Чему они могут и должны доверять? Алеся не знала. Но что чувства ни связью, ни опорой не являются, знала точно.

Катя Капович

Счастливец

Счастливец, баловень судьбы Гриша – надо отдать ему должное – под старость наконец занялся выяснением главного вопроса: кто тут еврей? Случилось это в тот момент, когда они с двоюродной бабушкой Цилей совершили эмиграцию из Кишинева в Нью-Йорк. До этого всю жизнь он придерживался крепких марксистских принципов интернационализма – другими словами, не отличал эллина от иудея. В новом месте обитания Гриша, который бывал иногда и ворчуном, вдруг сделался счастливым и даже немного слишком счастливым. Из спальни доносилось пение: «Цилечка пошла гулять и немного танцевать!». Мы заподозрили неладное. И действительно, прошел месяц, и дедушка стал выказывать признаки болезни Альцгеймера. Он не узнавал некоторых членов клана – внуков и их жен, внучек и их мужей. К тому времени семья разрослась, внуки и внучки поменяли партнеров. В эмиграции это распространенное явление – люди разводятся. Некоторые делают это несколько раз. Видимо, стоит войти во вкус, и дальше уже трудно остановиться. Гриша не тратил времени на то, чтобы разобраться в семейных узах, он занимался главным – искал своих. На семейном застолье в ресторане в Квинсе он долго вглядывался в китайского официанта и наконец спросил бабушку Цилю: «Аид?» Бабушка покраснела: она была и осталась сочувствующей марксизму интернационалисткой.

Мы с Гришей всегда дружили. Многие годы соседствовали в Кишиневе, вместе собирали на его балконе черный сладкий виноград «Бако», из которого он делал вино. Наши пятиэтажки стояли друг напротив друга на проспекте Мира, мы отоваривались в одних и тех же магазинах. Креативные – как сказали бы сейчас – директора сильно не заморачивались названиями. Тут были «Мясной мир», «Молочный мир», «Мир молодежи: одежда». К началу названия «мир овощей» кто-то однажды ночью приписал эмалевой краской «война и». Все восприняли как должное написанное большими буквами «Война и мир» и снизу мелкими – «овощей». Советские люди не привыкли критиковать написанное большими печатными буквами, а

были и такие, кто использовал культурную аллюзию в целях обучения. Я видела, как мамаша лоботряса-старшеклассника показала на вывеску: «А ну-ка, Жорик, быстренько: кто написал это, помнишь?» Сын почесал в затылке: «Пушкин?»

Но мы слегка отвлеклись.

В тот год, когда Циля с Гришей эмигрировали, я работала в Нью-Йорке. «Живи у нас!» - сказала Циля, и мы зажили втроем в их двухкомнатной квартирке. Это не полагается, но мы же из России, нам закон не писан. И вообще им нужна была помощь. Гриша доверял мне стричь себя, брить и состригать ногти. Никому другому это не позволялось.

Для понимания важности момента надо знать некоторые детали биографии моего любимца. Гриша происходил из богатой семьи виноделов, вырос в красивом особняке в молдавском городе Леово, откуда были родом все наши. Настоящее имя мальчика из Леово было Герш. После школы он поступил в Бухарестский университет, потом учился в Сорбонне на экономическом факультете. Он мог остаться в Париже, он мог уехать в Палестину, он мог сделать со своей жизнью что угодно. Весь мир лежал перед ним наподобие экономической карты. Бог ли, дьявол ли послал его обратно в румынскую провинцию, в Молдавию. В сороковом ее присоединили Советы. Молодого специалиста в красивом французском пальто задержал бдительный красноармеец, когда тот по делам работы приехал в Одессу. Его судили и приговорили к семнадцати годам лагерей.

Живя в Нью-Йорке, я познавала мир, и поняла странную штуку: он стал фрактальным с тех пор, как мы, рожденные в шестидесятых, вошли в него. Раньше был один центр, и вокруг располагалось все остальное. Причем, по мере удаленности от центра, все становилось тусклее. Сейчас центр есть в любой точке. Большой город похож на окно с зимним узором, со снежинками. Если вблизи рассмотреть отдельные участки, то снежинки тоже имеют структуру целого с окраинами. И даже эти окраины, если поднести лупу, опять обнаружат подобную отдельность со своими центрами и всем остальным.

К чему это я? К тому, что при произнесении магических слов «Нью-Йорк, Нью-Йорк» обычно видится его главный центр – небоскребы, Times Square, Центральный парк, сумасшедшие потоки толпы, расквadraticенный Манхэттен,

рекламы, лавки – китайские, иранские, греческие каталки продавцов жареных каштанов. Сядьте на сорок второй станции метро на седьмой поезд! Выйдите на конечной, и вы снова попадете в самую гущу мира, в самый его центр. Только это пригород Квинса под названием Флашинг: несколько небоскребов, правда, пониже манхэттенских башен, офисные здания... Лавки, еда, магазин «Target», зоомагазин, где в витрине в большой клетке возятся щенки; рядом высятся леса будущего кинотеатра, наверху уже светится табло с лицами актеров. Идем дальше по главному проспекту. Крикливо арабские продавцы размахивают связками цветных шарфов, китайцы у вас на глазах готовят на гриле кальмара, у стойки стоит продавец сладкой ваты. За этим следует еврейский квартал – кошерный продуктовый магазин, кафе, фалафельная. Вы здесь – никто, и одновременно вы – центр Вселенной. Про вас каким-то образом знают. В какой-то момент вам дадут это понять.

Был случай. Я взяла у метро такси, чтобы ехать к своим. Обычно я шла пешком, но в тот вечер шел дождь, у меня не было зонта. Только отъехали на пять метров от стоянки, как шофер завел беседу.

- Понаехали желтые и евреи!

Я попросила его остановить такси.

- Мы еще не приехали! – говорит он, но останавливается.

- Приехали.

Он посмотрел на меня в зеркальце.

- Шесть долларов!

- С какой стати?

- Потому что я рассчитывал на заработок!

Я сообщила, что не буду платить, и открыла дверь. Улица была пуста и грязна после дня, как разбитый калейдоскоп. Шофер вышел следом.

- Плати!

- Не буду.

При выяснении отношений он ловко выхватил у меня сумку, демонстративно достал кошелек и покрутил им перед носом.

Он отдает сумку, а кошелек – нет.

Я не знаю, чем бы кончилось дело, но тут из переулка выехал всадник. Нет, мне не померещилось, я не пила в тот вечер. К нам на коне подъехал немолодой худой мужик, с лица китаец или японец. Мой оппонент, не видя его, открывает кошелек, в котором все мои сбережения.

- Будешь наказана за наглость. Я беру себе! А ты валяй обратно в свою Россию!

В этот момент мужик на лошади взмахом хлыста выбивает кошелек у таксиста и, спрыгнув на землю, поднимает и кладет в карман. Таксист моментально сдал позиции, сел в машину и уехал. В общем, стоим мы посередине улицы: я, конь и этот мужик.

- Здрасьте! – говорит он мне по-русски.

- И вам здрастьте!

- Услышал ваш спор - ничего, что вмешался? Я проезжал мимо... Могу подвезти с ветерком! - продолжает он тоном, как будто это в порядке вещей - скакать ночью по Нью-Йорку на коне. Я забралась в седло сзади, едем.

Ну, мы разговорились по дороге. Мужик оказался монголом, который в юности выучился русскому – ему светила работа в Московском цирке, которую он не получил, потому что в тот момент у Союза с Монголией возникли разногласия. А теперь он сторожил аэродром во Флашинге. В общем, было интересно.

- Кошелек-то возьмите! – сказал он, когда доехали.

...Итак, мы зажили во Флашинге. У моих в спальне стояла большая кровать, на которой спали они, я же разместились в гостиной на раскладном диване. Я тогда подвизалась в одной газетенке. Днем я работала, а по вечерам мы собирались и смотрели телевизор. Английский мои родные знали не так хорошо, как французский, но не хуже, чем наши школьные учителя. На вопрос соседа: «Howdoyou do?» дедушка ни за что бы не стал рассказывать о том, что он делает. Дедушка был сдержанно корректен, отвечал по регламенту: «Thank you. Howdoyou do?» Это – что касается языков. Ну, и конечно – манеры. У него были манеры. Я ставила в гостиной три кресла, он стоял, пока мы садились, и потом занимал свое среднее. Мы смотрели американские фильмы. Комедии. В них его тоже волновало одно: «Кто тут еврей?» В веселом «Обмене местами» дедушка зорко вглядывался в Эдди Мерфи и, повернувшись к бабушке, спрашивал: «Аид?»

Гришу раз в месяц возили на осмотр к врачу-геронтологу – имела место такая профилактика для стариков. За ним приезжала машина, в ней сидел медбрат из наших, квинсовских. В первый приезд медбрат доброжелательно-доверительно спросил: «Гриша, вы пописали перед дорогой?» Гриша, остановился, повернулся к медбрата, поднял брови: «Простите, а вам какое дело?» Пораженный

медбрат, открывая дверь, поклонился. Шофер, который курил рядом, сказал восторженное «ха!» Да, Гриша умел произвести впечатление на окружающих. Неудивительно, что геронтолог находил его здоровым, и, похлопав на прощание по прямой спине, говорил: «Таких бы, как вы, да побольше, Гриша!»

Память оставляет человека поэтапно. Она, как космическая ракета, сначала отбрасывает нижнюю часть – это настоящее, нынешнее время. Дедушка входил в кухню, где мы с бабушкой курили, как паровозы. Он смотрел по сторонам, как человек, который забыл, зачем он пришел, и, махнув рукой, уходил. Сумасшедший чародей Илон Рив Маск научился делать космические корабли с таким устройством, которое после отхода нижней ступени ракеты возвращает ее обратно на землю в целостности и невредимости. Если бы память возвращалась так!

Потом Гриша стал подзабывать, что было в середине жизни. Он стал забывать Кишинев, и это было грустно, потому что в Кишиневе протекли его лучшие годы. Он вернулся из сибирской ссылки, устроился на хорошую работу и стал выходить в свет, как он это называл. Как мужчина он был неотразим – высокий, с темными, слегка посолонными сединой волосами и зелеными глазами. За ним охотились все одинокие красивые еврейки Кишинева. Но Гриша встретил Цилю, и всё былое, как сказал поэт. Произошло это на свадьбе, выходила замуж дочь Цилиной подруги молодости. Циля по этому поводу приехала из Ленинграда. На ней был кремового цвета кримпленовый костюм. У нее были тонкие шутки, прелестная улыбка, фигура, бюст. Она поразила вольноотпущенного с каторги в самое что ни есть сердце. После свадьбы она уехала обратно в Ленинград. Что бы сделал другой на Гришином месте? Он бы ничего не сделал, потому что Циля любила свою работу в северной столице. Она преподавала французский язык и вела театральную секцию в Герценовском институте. Она увлекла молодежь Расином и Вольтером. Она дружила с Ефимом Эткиндом, она была популярна среди студентов. Другой бы на месте Гриши раздавил с приятелем бутылку водки и успокоил сердце с какой-нибудь местной дамой. Гриша же взял чемодан, бросил в него пару новых рубашек, костюмный комплект и поехал в Ленинград делать Цилю предложение. И она его приняла.

Жизнь новых эмигрантов нелегка. Особенно стариков. Есть пособие, но оно маленькое. Квартира во Флашинге была темной, с окнами в дворовой колодец. Пожарная лестница, мусорные баки, ругань соседей за стеной. Нет, не сахар эмигрантская жизнь. Субсидированное жилье, где для жильцов организуют мероприятия. По утрам они съезжают в лифтах на первый этаж в аудиторию под названием «детский сад» – большую комнату со столами и стульями. В углу – расстроенный рояль. На стенах гирлянда из идиотских бумажных вымпелов и флажков. Входит массовик-затейник и фальшиво-радостно спрашивает: «А что мы такие невеселые?» Для моих посещение «детского садика» исключалось. Два старика, они в прошлом были уважаемыми людьми. И опять же – манеры; память уходит, а они остаются. Моим было тяжело общаться с постояльцами субсидированного дома. Тут бывали интриги и склоки за лучшую квартиру с видом на бульвар. Тут бывало все, что люди привезли с собой из Союза, где жизнь – битва за место в столовой, за подарочную курицу к Новому году. Пожав плечами в первый же приход в актовый зал, они ушли. И мы смотрели телевизор, комедии.

В фильме с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном «Белые мужчины не умеют прыгать» дедушка Гриша понял почти все, кроме того, почему хорошая еврейская женщина – на самом деле она «латино» – так кричит из-за каких-то денег. Он сказал: «Цилечка никогда не была мелочной!» Надо сказать, что Цилечка к тому времени стала подслеповата. Надо было добиваться, чтобы дали сиделку, надо было ходить, просить, унижаться. Ничего такого они не умели. Одна радость – они были друг у друга.

И тут я должна рассказать самое главное.

Дело в том, что они познакомились очень давно. Нет, не на свадьбе в Кишиневе, а гораздо раньше, когда были еще юными. Тогда они жили и учились в Бухаресте... Румыния была королевством. Да, так вот они жили в румынском королевстве, учились в университете и иногда встречались на студенческих балах. В Цилю влюбились сразу двое – Гриша и его лучший друг Исаак. Она была приветлива с обоими, танцевала вальсы с каждым из них по очереди. Двое друзей провожали ее вечерами домой. Они страдали по ней, как страдают все семнадцатилетние юноши, они терялись в догадках, в кого из них она влюблена. Между собой они не говорили о чувствах. Однажды Гриша

пригласил ее в кафе. Они поговорили. После разговора он пришел к Исааку: «Я объяснился с ней, но она сказала, что любит тебя! Иди к ней!» Исаак, как ошалелый, помчался к Циле, нашел ее в университетской библиотеке и признался в любви. Он говорил страстно и красиво, что никогда не знал, что может быть так счастлив. Он попросил ее руки, и она ответила согласием. Молодые поженились и уехали в свадебное путешествие в Константинополь. Оттуда они решили поехать в Россию. Они были юными и наивными, и они сочувствовали угнетенному классу. Инициатором являлась она. Тогда, в тридцатые годы двадцатого века, женщины, как будто проснувшись от многовекового плена, во всём были впереди мужчин, включая стиль жизни, моды, желание много учиться. У нее была стрижка под мальчика, на ней здорово смотрелись турецкие шаровары и блуза. Они приплыли из эмигрантского Константинополя в Одессу, оттуда поехали на поезде в Москву. Циля поступила в Первый институт иностранных языков и продолжала учиться на лингвиста. Исаак устроился на работу в конструкторское бюро. Молодой инженер, специалист по строительству мостов, он получил от КБ квартиру. Счастье длилось до тридцать седьмого года. В октябре тридцать седьмого Исаак, как обычно, отправился на работу и не вернулся. «Он исчез, как в воду канул!» - рассказывала бабушка. Она искала. В одном ведомстве ей сказали, что Исаак арестован как румынский шпион. Его поместили в одну из тех тюрем под Москвой, в которых содержали ученых, крупных специалистов, техников. Официально заведение называлось «особое конструкторское бюро», в народе же говорили «шаражка», и в нем заключенные продолжали работать над своими проектами. Шло время. Циля окончила университет и устроилась на работу. Она слала мужу посылки и деньги. Потом началась война, Циля уехала в Ижевск. Она преподавала и писала письма в Органы, добиваясь правды для Исаака. В один из приездов в Москву она побывала в НКВД, и там ей сказали, что дело Исаака рассмотрено: его участие в шпионской деятельности не подтверждено - его скоро отпустят. Она вернулась в Ижевск и стала ждать. Она больше его никогда не видела. Уже в пятьдесят шестом она получила извещение, что Исаака расстреляли в сорок первом, когда немцы подходили к Москве: тогда Сталин отдал приказ уничтожить людей в спецтюрьмах, чтобы они не достались врагам. Этот расстрелянный Сталиным Исаак и был моим

настоящим двоюродным дедом, которого я никогда не видела.

- Расскажи, как все было дальше! – попросила я Цилю.

- Ну что сказать? Я опять встретила Гришу на свадьбе после тридцати пяти лет разлуки. Он приехал в Ленинград и сделал мне предложение! Я ведь с самого начала из них двоих любила только его!

- С самого начала?

- Да!

- С самого-самого?

- С самого-самого.

- Зачем же ты скрыла от него?

- Ничего я от него не скрыла! – обиженно воскликнула она.

- В тот самый день в Бухаресте, когда он пригласил меня в кафе и спросил, кого я люблю, я прямо ответила, что люблю его! Не в моей привычке было кокетничать!

- Расскажи!

- Там было так празднично, в этом французском кафе, самом лучшем в городе на тот день! Помню столики с мраморными столешницами, на каждом – ваза с цветами. Помню эти цветы – розы и синие колокольчики. Пол был в черно-белую шашечку. Да... Так вот, я сказала, что люблю, и он обрадовался, но через полторы минуты его лицо потемнело. Он вскочил, пожал мне руку и бросился куда-то... До сих пор не могу забыть перемены, происходившие в нем.

В момент рассказа она была далеко от меня, и, глядя вслед ее взгляду, я тоже видела нарядную площадь в Бухаресте, французское кафе с шашечным полом... Меж тем она продолжала:

- О дальнейшем я узнала позже от Исаака. Гриша пришел к нему, сказал, что объяснился со мной, и будто я сказала, что люблю Исаака. Ох, уж эти мальчишки-марксисты! – закончила она и как-то странно улыбнулась в пустоту.

- Но ты-то могла объяснить потом! Так почему, почему ты вышла за Исаака?

Она пожала плечами.

- Во-первых, не могла, потому что не знала про Гришу. Во-вторых, Исаак был так счастлив в тот день и так красиво говорил! И в конце концов я ведь его полюбила тоже!

Я почувствовала, что она не договаривает чего-то. И, вправду, качнув головой, она сказала:

- В-третьих, это в каком-то смысле была судьба! Ведь, благодаря всему, Гриша спасся.

...Срок моего пребывания в Нью-Йорке заканчивался. Я поступала в Бостоне в университет, и, когда меня приняли, объявила своим, что должна уехать. «А как же мы?» - спросил Гриша. Я пообещала:

- Буду приезжать на выходные, а на другие дни найдем сиделку!

Когда память оставляет человека, он часто делается грустным. Но не всегда. Бывают странные случаи, когда на чистой сланцевой доске, с которой стерли все, что жизнь написала, проступают природные линии. В природе Гриши было – счастье. И оно уцелело. Может быть, счастью вообще ничего не может помешать. Но что-то надо было делать, однако. Надо было, чтобы врач дал письмо, что Грише нужна постоянная помощь. В следующий визит к геронтологу мы с бабушкой набились в провожатые. «Он немощен, и бабушка не справляется!» - шепнула я доктору, чтобы мои гордецы не слышали. «Хорошо, хорошо, сейчас посмотрим!» - деловито ответил он. Мы ожидали в коридорчике, пока доктор Меклин беседовал с Гришей. Наконец голоса стихли, дверь открылась, мужчины вышли к нам. Доктор доложил о результате: «Понимаете, Циля, при всем желании, я не могу дать письмо, что Грише нужна постоянная помощь. Гриша мне рассказал все. Да, это правда, ему стало труднее справляться с обязанностями. Но все-таки он справляется! Таких бы людей, как ваш Гриша, да побольше! Мы живем в Америке! Я уважаю это страну за честность! Я давал присягу! А Гриша тоже не хочет никого! Он полон достоинства. Он сам ходит в магазин, приносит продукты не только в дом, но помогает своей сестре Бете и ее больному племяннику!» Доктор посверкивал очками от собственного благородства. Циля слушала с улыбкой, иногда кивала. Когда доктор окончил речь, она сказала:

- Да, да! А теперь спросите его, доктор, в каком городе он живет?

Доктор, хмыкнув, спросил:

- Гриша, в каком городе вы сейчас живете?

Гриша поднял брови.

- В Леово, доктор!

Доктор Меклин кивнул.

- Понятно.

Мы поехали домой, снова смотрели кино, выясняли, кто тут еврей. А на следующее утро пришла сиделка Яна.

Роджер и его модели

Роджер – сорокапятiletний врач-физиотерапевт, я учу его русскому языку. Он полон рвения, и он безнадежен. Занимаемся мы третий год, но он по-прежнему говорит «Россия». Иногда мне хочется взять учебник и бить его этим учебником по голове, но я этого не делаю. Роджер – мой единственный источник дохода. Единственный и надежный; до тех пор, пока он будет говорить «Россия», я буду получать свои двадцать пять долларов в час. А он будет говорить «Россия» всегда.

Он от природы рассеян, при этом во время урока ему обязательно звонит кто-нибудь из пациентов, и тогда он совсем теряет голову. Даже я в другом конце комнаты слышу, что женщина на грани истерики. Когда крик в трубке становится нестерпимым, Роджер начинает бегать по комнате кругами. Разговор оканчивается его свешенной головой. Он садится и жалуется мне:

- О-о! О-о! Больной Джанет Браун опять хотел наркотики!

За три года я привыкла к тому, что все пациенты Роджера грамматически мужского пола, все они требуют наркотики и время от времени кричат на него. Рассказывая мне о них, он, наверное, нарушает клятву Гиппократата. Но давал он ее не мне, поэтому я выслушиваю все от начала до конца:

- Год назад, - начинает Роджер, нервно крутя пальцами, - Джанет Браун был в тяжелой аварии, есть большая проблема со спиной. Она хочет много наркотиков. Это нельзя, и я не давал. Она тогда кричал на меня, кричал на секретаршу, кричал на аптеку!

Я сочувствую. Я понимаю Джанет Браун, я понимаю Роджера. В принципе, мне нужно было стать психиатром, а не филологом. Психиатры и получают больше.

Помимо медицины, Роджер ведет два бизнеса. Первый бизнес Роджера – жилые дома в Оклахоме. Всем заведует менеджер Рони. Иногда Рони звонит Роджеру и тоже кричит на него.

- Рони опять звонил и просил сто тысяч! – говорит Роджер после разговора с ним.

- Сто тысяч!

- Сто тысяч будет хватить только на три месяца. Рони купил землю и строил дворец с мраморными колоннами.

- На что сто тысяч?

- Рони нанял рабочих год назад, они ничего не делали. Я сказал Рони: это еще хуже, чем в России.

Я изредка поправляю его, но, на самом деле, я уже отчаялась.

Все-таки мы иногда и занимаемся. За три года мы прочли несколько рассказов. Больше всего Роджеру понравился Толстой. Иван Ильич был «очень большой хороший человек». Сейчас мы читаем «Героя нашего времени». Печорин Роджеру не нравится. Он обижает женщин. Роджер их от Печорина защищает:

- Я не понимаю, что его проблема! – восклицает Роджер, бегая вокруг меня кругами. – Женщины лучше мужчин. Они очень верные. У больной Мэри-Энн у мужа есть проблема. Ему отрезали ноги. Она его не бросил. Я знаю, что он бы ее бросил, если б ей отрезали ноги. Если бы вашему мужу отрезали ноги, я знаю, что вы бы его тоже не бросили.

- Типун тебе на язык!

- Что есть «типун на язык»? – спрашивает Роджер и достает карточки.

На карточках мы записываем новые слова и выражения. Роджер обещает повторить их дома, но тут же забывает карточки на столе. Я бегу за ним по коридору:

- А карточки?

- О-о! Типичная история. Я забыл.

Разумеется, Роджер живет один.

- Я хочу опять найти жену! – говорит он мне.

- Почему опять?

- Трудно поверить, но у меня уже был жена.

- Как ее звали?

Жену Роджера звали... Впрочем, это неважно, как ее звали, потому что к тому времени, как мы с ним познакомились, она сбежала от него к танцору аргентинского танго. Жена была профессиональной танцовщицей из «России». Роджер оставил ей трехкомнатную квартиру, которую она теперь ему же и сдает за полторы тысячи в месяц. Все это похоже на аргентинскую мыльную оперу. Запасной комплект ключей от квартиры бывшей жены Роджера хранится у меня дома в ящичке стола. Два раза в месяц он теряет свой комплект и приходит ко мне за ключами. Еще несколько раз в месяц Роджер теряет портфель, шапку и кожаные перчатки.

- О-о! Есть большой проблема, - говорит он с порога.

- Что случилось?

- Типичная история, потерял перчатки.

Мы садимся в его «тойоту» и едем на Ньюбери-стрит. В машине тяжелый запах.

- Чем, прости, у тебя так пахнет?

Роджер вертит головой и принохивается:

- Нищим, - отвечает он через несколько минут.

- Нищим?

- Ни-щим, - подтверждает Роджер.

Я оборачиваюсь. Я бы не удивилась, обнаружив под сиденьем нищего. Но там только пустые бутылки из-под имбирного пива. Имбирное пиво Роджер пьет перед уроком русского языка, чтобы в голове был сахар.

- У тебя в машине кто-то ночевал?

Он поворачивает ко мне худое серое лицо.

- Ни-щем не пахнет. Ни-кто не ночевал.

Перед магазином «Армани» Роджер приосанивается.

- Там есть красивая девушка! Почти модель, - говорит он.

- Посмотри в зеркало! – говорю я, но Роджер не понимает намеков и флиртует с девушкой:

- Вы – самая красивая девушка на Ньюбери-стрит, и у вас есть хороший вкус, - говорит он ей по-русски.

Не понимая его, девушка краснеет.

- Вы можете перевести? – спрашивает она меня.

Я толкаю Роджера в спину:

- Очнись!

- О-о! – отвечает он, - Извините!

Продолжая отпускать неуклюжие комплименты, он просит девушку помочь ему выбрать перчатки.

Через две недели, когда он их потеряет, мы снова поедem в тот же магазин.

- Зачем непременно туда, есть места поближе и подешевле?

Роджер не сегодня родился, он это знает, но он хочет «Армани». Друг Роджера Боб сказал ему, что, когда у человека нет вкуса, ему лучше одеваться в «Армани».

- Это было давно, - говорю я. – А теперь есть я, и я могла бы помочь выбрать что-то в другом магазине и сэкономить твоё время и деньги. К тому же, ты ведь их все равно скоро потеряешь!

К сожалению, Роджер может потерять все, кроме привычек:

- Нет, «Армани» лучше! – упрямо говорит он.

Роджер занимается русским пять дней в неделю. Я наблюдаю в окно, как он паркует свою «тойоту» на противоположной стороне улицы. Три года в капоте зияет

вмятина, треснувшие окна подклеены грязной серебряной изоляцией. Он выходит из машины, поочередно роняя в грязь перчатки, портфель, шапку. Из кармана пиджака торчит изумрудного цвета галстук.

- Это тоже из «Армани», - хвастается он. - Это красивый?

- Цвет веселенький, - говорю я.

- Что такое «цвет веселенький»?

- Анекдот есть такой.

- Я хотел слушать анекдот по-русски!

Я рассказываю ему анекдот, заранее зная, что он не поймет. Дело в том, что Роджер совершенно не способен к языкам... Я терпеливо пересказываю анекдот своими словами. В пересказе юмор пропадает. Ладно, пусть будет чем-то вроде культурной справки, урока страноведения.

Короче, говорю я, звонит простой советский человек в магазин и спрашивает у продавщицы, есть ли ситец на шторы. Продавщица отвечает, что ситец есть, и вешает трубку. Но человек снова звонит. Он хочет убедиться, что не ослышался. Продавщица отвечает, что не ослышался. Но потом он звонит в третий раз. Ему хочется купить не просто ситец, а такой, чтобы был веселенького цвета.

- Понимаешь, - объясняю я Роджеру, - жизнь у советского человека серая и безрадостная, и поэтому он хочет, чтобы хоть занавески у него были «веселенького цвета». Но когда он звонит в третий раз, продавщица – грубая и вульгарная женщина - не просто отвечает на вопрос, а называет человека «сукой». «Приезжай, сука, обхохочешься!» - говорит она.

Роджер смеется.

- А что такое ситец? – спрашивает он, досмеявшись. - Это такой собака?

«Над чем он, собственно, смеялся?» - думаю я и объясняю все снова и по порядку, что сука - это как раз собака... Ну, и так далее.

Мы записываем на карточках новые слова: сука, ситец, веселенький.

- Это очень грустный, - говорит Роджер.

Второй бизнес Роджера - в России, почему он и учит язык. Его партнер Боб, который живет в Москве уже пять лет, прекрасно обходится без русского.

- Все деловые люди в Москве говорят по-английски, - говорю я Роджеру.

Он пожимает плечами: бизнес не есть проблема.

- А что есть проблема?

- Хотел найти красивый русский девушка, и жить с ней в Москве! – отвечает он.

- Понятно. А почему в Москве? Может, лучше привезти ее сюда?

Он колеблется.

- Нет, тут она убежит.

- А там?

- Там тоже убежит, но не сразу! Сначала у нее будет квартира, как у Боба, и ей будет нравиться!

Роджер завидует Бобу. Роджер ходил в частную школу, Боб – в обычную, государственную. После школы Роджер получил медицинское образование в Стэнфорде, Боб закончил городской колледж в Чикаго и открыл небольшой бизнес. Роджер принимал участие в исследованиях по изучению работы мозга. Боб торговал рыбой с Китаем. Роджер переехал в Бостон и стал врачевать в пригороде. Его клиентура - бедняки, которым другие врачи отказали в своих услугах. Иногда он спохватывается:

- О-о! Звонил больной Джанет Браун, у которой болит спина, и опять кричал на меня.

- Из-за чего?

- Хотел еще наркотики. Платить не мог.

- Ну?

- Деньги не есть проблема, но я не дал. Я ей уже выписывал на этой неделе.

- Ты ей это сказал?

- Сказал. У меня все записано.

- А она?

- Она кричал, что потерял рецепт.

- Может, действительно потеряла?

- Нет, врет, как сука, - отвечает Роджер, гордый тем, что все-таки что-то запомнил из моих уроков.

Боб стал крупным экспортером рыбы и взял Роджера партнером. Но деньги контролирует Боб. Боб купил в Москве квартиру в стиле «арт деко», его любят девушки, назначают свидания. Он спокойно оставляет в ресторане тысячу долларов. Роджеру звонят из Второго медицинского института и просят помочь с оборудованием. Роджер дает деньги. Роджеру звонит партнер Боб и кричит на него. Еще ему звонит Рони и требует сто тысяч.

- Рони звонил опять!

- Колонны упали?

- Еще хуже проблема. Рони негде жить. Хотел жить у меня.

- Что случилось?

- Мишель выгонял Рони на улицу. Я должен ехать в Лос-Анжелес говорить с Рони и Мишелем.

- А кто такой Мишель?

- Жена.

Две недели Роджер отсутствует. Достаяю из-под стола и с чистой совестью выбрасываю в мусор огрызки карандашей, карточки, обрывки магазинных счетов, оставленные им, выпавшие у него из кармана. Под столом и его кредитная карточка. Ее я прячу в ящик, где лежат его ключи.

Роджер звонит из Лос-Анжелеса и спрашивает, не оставил ли он у меня «кредитка».

- Оставил. Что с ней делать? Может, выслать?

- Сохранить в ящике стола. Там надежней, чем в моем кармане.

- Ладно, сохраню. Как Рони?

- О-о, есть большая проблема! Люди, которые ремонтировали дом, исчезли. Есть очень-очень плохой ситуация. Рони хотел переехать ко мне. Я буду нанять семь румынских рабочих строить его дом.

По возвращении Роджер звонит мне прямо из аэропорта:

- Я хочу урок.

- Но сейчас десять часов вечера!

- В Лос-Анжелесе только семь. Это очень хорошее время. Я буду ждать в десять тридцать пять в ресторане «Париж».

В ресторан «Париж» в джинсах и майке не заявишься, а переодеваться мне лень.

Мы едим рыбу и читаем рассказ «Максим Максимыч». Максим Максимыч Роджеру нравится. Он хороший, немного глупый. Как все нормальные люди.

- Что Рони? – интересуюсь я после урока.

- Рони будет жить у меня, - говорит он неожиданную правильную фразу. И тут же поправляется. – Рони жить у меня, пока рабочие сделают его с Мишелем дом.

Роджер завидует даже Рони. У Рони жена – красавица и бывшая французская модель. Роджеру нравятся красавицы, которым нравятся спокойные, говорящие низкими голосами мужчины, а не тощие гиперактивные типы в грязных кроссовках.

- И вообще, где твои туфли? – спрашиваю я его.

- О-о, есть большая проблема! Потерял туфли в самолете!

- Как можно потерять туфли в самолете? Ты что же, босиком шел по трапу?

- Я не знаю.

- И где ты взял эти ужасные кроссовки?

- В портфеле. На всякий случай носил кроссовки с собой. Чтобы потом тоже их потерять. Рони еще хуже, он потерял сто тысяч, - оправдывается Роджер.

- Зачем Рони приехал с тобой? Он разве не мог пожить у каких-нибудь родственников? Ведь у каждого человека есть родственники.

Это не совсем так. У самого Роджера, например, родственников нет. То есть, они есть, но они уже отчаялись.

- Родственники не хотят Рони. Он бросал деньги на воздух.

- На ветер.

- На ветер. Бросал деньги на ветер. И любовался, как они летят! – говорит Роджер без осуждения.

- Где ты нашел такого партнера?

- Что?

- Как Рони стал твоим партнером?

- В Стэнфорде. Его старший брат Сэм был очень хороший математик. Он был еще лучше, чем я. И окончила Стэнфорд в восемнадцать лет.

- Вундеркинд?

- Очень-очень умный. Лучше всех.

- Где он сейчас?

- В могиле, - говорит Роджер, доедая рыбу.

Кстати, за что они дерут такие деньги в этих своих французских ресторанах?

- Типичная история! – продолжает Роджер, подзывая официантку. - Жизнь несправедливый, жестокий. Как сказал сфинкс у Ницше: человеку лучше не рождаться, а если уж родился, то лучше быстрее умереть. Их родители были евреи из России. Рони знает по-русски «хочу жареный картошка» и «на здоровье». Рони – умный и сумасшедший, как многие евреи.

Помимо женщин, Роджер любит евреев.

- Почему в Европе так не любят евреев? – говорит он на парковке.

Здесь мы проведем много времени, попытаюсь завести его машину.

- Брат Рония был умный непрактический еврей, Рони умный и непрактический, ты еще хуже. Еще я знаю доктора Левия. Он очень сумасшедший и добрый, работает для бедных. Евреи умные и непрактические. Я думаю,

французы и немцы завидуют евреям. Это несправедливый. Евреи всегда помогали Европе.

- Это несправедливо.

- Очень несправедливо. Среди евреев больше всего нобелевских лауреатов. Мой профессор в Стэнфорде был еврей, и он был нобелевский лауреат. Он отдавал все деньги на науку. Я знаю, что когда ты получишь нобелевскую премию, ты тоже будешь отдавать деньги.

- Там видно будет, - скромно отвечаю я.

...Рони, беззаботный крупный человек, живет у Роджера третью неделю. Домой его по-прежнему не пускают. Мишель звонит и говорит, что румыны требуют тридцать тысяч. Без задатка румыны не начнут.

- Я буду послать румынам тридцать тысяч. Они очень хорошие и честные рабочие, - говорит Роджер.

- Ты уверен? Бисмарк говорил, что румын – это смычок и отмычка!

- У Бисмарка не было моя проблема.

- Что еще за проблема?

- Мой бывший жена. Хочет жить в моей квартире с мужем Педро. Я думаю: о-о.

- Действительно! Не жить же вам втроем!

- С другой стороны, почему нет? Я неприятный, очень раздражал всех, они скоро убегут.

Утром Рони и Роджер, и я с ними, завтракаем в корейском кафе, где Рони, не скупясь, заказывает все подряд. Нам приносят корейские соевые пирожные, шоколад и кофе в глиняных чашках ручной работы. Корейцы не умеют варить кофе, но хорошо делают чашки. Потом мы с Роджером проводим урок. Солнце выплывает из-за туч, сигаретный дым вытекает из-за газеты, которую читает Рони. Он – легкий постоялец. И зачем ему дом с колоннами? Он прекрасно мог бы жить на кухне у Роджера. После урока Роджер сообщает мне свежую новость:

- Я буду скоро ехать в Россию! Мне звонил Боб, чтобы опять кричать на меня. Боб делал бизнес, я не помогал. Я буду помогать!

- Что за бизнес?

- Брать в России трансплант для Европы.

- Франкенштейн. Какой еще трансплант?

- Россия имела много аварий, очень много людей умирали молодыми. Боб хотел брать их органы и продать во Францию. Ты знаешь французский. Это - очень хорошее дело. Я буду щедро платить!

- Я лучше буду преподавать русский.
- Это - не бизнес, это - шутка.
- У меня есть и другая идея.
- Что?
- Писать рассказы.
- За это хорошо платят?
- За это не платят ничего.
- Про что ты хотел написать? Кто твой герой?
- Еще не знаю.

Это – действительно серьезный вопрос. Или большая проблема, как говорит Роджер. Трудно найти современного героя. Начнем с того, что он негероичен. Он ходит по кругу, на нем нелепый костюм из «Армани» и на ногах грязные кроссовки. И он говорит, говорит, сводя меня с ума! Жена ушла, партнер обобрал.

Я написала рассказ и послала в один журнал. Пришел отказ, всего пара предложений. «Недостатком рассказа является зацикленность автора на каких-то человеческих отбросах. Своеобразный внутренний мир героя выражается в бессмысленной болтовне». Заканчивалось все фразой: «Пусть автор поищет настоящего человека - наверняка такой есть и в Америке».

Ольга Минская

В поисках себя

Когда я смотрю на себя в зеркало, ...а когда я смотрю на себя в зеркало? Моя жизнь забита до отказа, как чемодан сестры, когда она навещает нас из Америки, привозя все на всех, а нас, слава Богу, не мало. У меня семья и работа, мама, собака, подружки. У меня коллеги, продавец овощей и те, кого я ежедневно встречаю, когда иду по своим дорогам. Мои мысли и дни принадлежат людям, составляющим мою жизнь. По вечерам я смотрю в зеркало и думаю о своем муже. О том, что спустя столько лет он мне по-прежнему нравится. Нравится, как он улыбается, когда спешит ко мне. Нравится гулять с ним по чужому городу или просто по берегу моря. Выпивать с ним виски и устраивать редкие совместные ужины для нас двоих. Когда я думаю о нем, я вижу в зеркале женщину с огромными влажными глазами, в которые он падает, если не успевает вовремя отвести взгляд. Он барахтается там, как рыба в сети, запутываясь все сильнее. Он забывает, о чем думал, или запинаясь на фразе, которую говорил, обсуждая последнюю статью коллеги. Он смотрит восторженно и выглядит беззащитным. А потом говорит, чтобы я ничего не произносила еще пару минут, чтобы он не потерял мысль окончательно. А потом - что ему нравится смотреть на мои губы, улыбающиеся ему, и что движение моих бедер завораживает его. Он повторяет это много лет подряд. И, глядя на себя его глазами, я вижу красавицу. Красавицу с обольстительной улыбкой и очаровательным ртом, движение рук которой отключает его разум.

Когда я смотрю на себя глазами своего сына, я вижу львицу, играющую со львенком. Ее тело налитое силой, ее мышцы напряжены, она готова в любую минуту встать между детенышем и миром. Львица ловкая, сильная, сытая, упругая. Она катает его лапой по земле, и он смеется. Он прыгает вокруг радостный и беззаботный, а она полна уверенности, что может противостоять всем ради него. Он смотрит на нее восторженно, принюхивается к ее запаху и говорит, как прекрасно она пахнет. Он – ее маленький щенок. Существо, ради которого она сумеет разорвать мир.

Она учит его охотиться и остерегаться. Оценивать ситуацию и вовремя уходить в сторону, но в нужный момент разворачиваться и идти вперед, навстречу угрозе. Я вижу в зеркале женщину, умеющую выживать и побеждать. Она, как пружина, как акробат под куполом цирка. Ей все по плечу.

Я смотрю на себя глазами взрослеющей дочери. И вижу каждую новую морщину, готовую появиться на моем лице. Вижу отсутствие румянца там, где он еще был пару лет тому назад. Вижу усталость, которая разливается на лице различными оттенками серого. Вижу лишние килограммы и вялые руки. Обращаю внимание на то, что пришло время покрасить волосы. Но при этом от меня идет тепло, которое согревает ее и дает ощущение безопасности. Оно создает мир, в котором можно решиться на все и все пробовать. Она, конечно, волнуется, будет ли она красивой, но, глядя на меня, сквозь проявившиеся морщины, видит ту красоту, которая станет ее, когда она еще немного подрастет. А я вижу в себе огонь, который раньше пылал, а теперь стал очагом, огромным и мощным: на нем можно приготовить еду и обогреть помещение. Рядом с ним ей не о чем волноваться, и у нее все, несомненно, получится.

В глазах моей сестры я всегда восторжена и влюблена. В нее, в ее женственность, в покой и в сказки, которые она раскидывает около нас. Я мягкая, как пластилин, из которого можно вылепить любую фигуру. Я беззаботная, потому что мир вокруг меня искрится, как южное море. Потому что рядом с сестрой время течет иначе, и завтрак перетекает в ужин, а воздух пахнет свежее испеченным хлебом. И мне хорошо от того, что мы есть друг у друга. И тогда я вижу нас, как древних мойр, плетущих бесконечные истории. Наши истории радостны и легки, и неизбежны, как мощный поток судьбы, несущий наших любимых через случайности к неотвратимости счастья.

В глазах моей мамы я все еще девочка. Девочка, которой совсем не важно, есть ли морщины и лишние килограммы. Устала ли она и вообще, как она выглядит. В глазах мамы я всегда окутана теплом, и у меня дурацкие тонкие косички. Я могу уткнуться лбом в ее руку, ощутить ее тепло и поверить снова, что все в жизни будет хорошо. Что у меня все сложится и получится. Что я самая прекрасная, и она так рада, что я к ней пришла. Что она меня всегда ждет, что я - самое важное, что у нее есть. Что я - самая умная и необыкновенная. Самая сильная и надежная. Что

невозможно меня не любить. Что я обязательно буду счастливой. Что я счастливая уже сейчас. Потому что иначе и быть-то не может. Потому что я - ее дочь. И тогда я смотрю на себя с уверенностью, радостью, надеждой и покоем.

Папа давно смотрит на меня издалека. Того, из которого нет возврата. Когда я вспоминаю себя в его глазах, я вижу радостное и защищенное существо. Существо, которому всегда рассказывают захватывающие истории. С которым слушают музыку и разбирают спектакли. Я вижу девочку, у которой есть бесконечно преданный мужчина. Они вместе ходят на прогулки по городу, по улицам, построенным в XIX веке. Они читают стихи. Папа говорит, какая я умная и как много знаю. Говорит, что в моем возрасте не был так образован. Говорит, что чтобы ни случилось, он всегда поможет мне. Что я должна быть сильной и независимой. А потом говорит мне: «Лапуля». И я не вижу себя, потому что слезы застилают глаза. Я не вижу себя, я чувствую его любовь.

В глазах моих подруг я элегантна и жизнерадостна. Полна энергии и оптимизма. В глазах моих подруг я та, с кем так приятно быть рядом. Я надежна и верна. Не мелочна и смешлива.

Иногда утром я смотрю на себя своими глазами. Смотрю на себя из мутного пространства Внутренней Монголии. И не вижу там никого. А только бесконечную вытопанную дорогу и чьи-то юрты вдали. Восходит грязное невнятное солнце, и минута тянется бесконечно. И чтобы рассеять эту пыль, застилающую свет, приходится садиться за компьютер и набирать буквы, которые потом сложатся в слова. А слова, может быть, смогут развеять тьму, или, наоборот, призвать бесконечный ужас, который даже страшно выпустить наружу. И тогда приходится жить в этой жуткой бездне, пока кто-нибудь не придет. Кто-нибудь, глазами которого я смогу снова увидеть себя.

Зеркала

В детстве Лия очень любила бывать в старинных особняках. В городе, где она родилась и росла, многие старые, еще дореволюционные здания остались целы и невредимы. В них расположились поликлиники, библиотеки, школы, какие-то учреждения типа жилконтор. Город Лииногo детства не был столицей, а потому никаких жемчужин архитектуры там и в помине не было. Особняки и здания эти были довольно просто декорированы. Да и содержались не самым лучшим образом. Но все равно, имелись в них двойные полированные двери, высокие окна, затертые посетителями цветные паркетные полы и белый мрамор лестниц с коваными перилами. И гулкое эхо в холлах, и изразцы печей, и лепнина на потолках и в арках. А главное, самое главное, в них сохранились зеркала. Зеркала, как ничто другое, привлекали внимание маленькой девочки. Высокие зеркала парадных лестниц, в пышных резных или алебастровых рамах с потертой позолотой. Квадратные, висят в простенках и над каминами, в простых багетах в тон дверям. Зеркала шкафов и прихожих, вделанные в карельскую березу или мореный дуб мебели. В толстом старинном стекле с настоящей серебряной амальгамой подложки, облупившейся по углам, мир отражался совершенно иначе. Любые очертания смягчались, краски получали дополнительную глубину. Отраженные предметы казались красивей и дороже, люди – загадочней и благородней.

Маленькая девочка обнаружила этот феномен случайно, поднимаясь с мамой по беломраморной лестнице в особняке каких-то купцов, где теперь была детская поликлиника. По мере подъема в высоком парадном зеркале отразилась сначала мама, необычайно статная и величавая, а потом четырехлетняя кудрявая девочка, похожая на маленькую принцессу из сказки. Принцесса в зеркале сначала выглядела чуть удивленно, но потом заулыбалась и протянула Лие руку. Лия протянула и свою руку в ответ, но под пальцами прохладно отозвалось стекло. Лия замороженно застыла, любясь своим отражением, а зеркало, между тем, отразило и холл,

полный света, и зелень лип за высокими окнами, и завитушки перил. Вокруг девочки был настоящий дворец, собранный из света, бликов и фрагментов обстановки. Лия, не отрывая глаз от своего сказочного двойника за стеклом, поправила волосы и разгладила юбку таким жестом, точно была светской красавицей и направлялась на бал. Наверное, таким жестом поправляла кринолин хозяйка этого дома, для которой и заказали великолепное зеркало граненого хрустального стекла за 120 лет до посещения Лией детской поликлиники.

Побыть принцессой удалось недолго. Мама дернула Лию и поволокла по коридору в кабинет окулиста. Проверять зрение.

С этого дня Лия стала наведываться в поликлинику часто, благо, особняк был близко от дома родителей, а в регистратуре работала двоюродная тетушка, которая охотно брала тихую нешкودливую племянку с собой. Лия ходила поглядеться в то самое зеркало. В бабушкином трюмо она видела толстенькую кудрявую девочку с конопатым носом. Совсем обычную. То ли дело было смотреться в зеркало из особняка. Лия часами разглядывала свое отражение, играла с красивой девочкой из серебряной глубины в гляделки и прятки.

Со временем обнаружили зеркала, подобные первому, еще в нескольких местах. Все они умели делать разное. Зеркало с прихожей библиотеки делало всех выше ростом. Каминное зеркало в бухгалтерии, где работала бабушка, умело отражать уютный свет и комфорт в комнате, где стояли четыре канцелярских стола и сейф, а на окнах висели пыльные рыжие гардины. Пара овальных ростовых зеркал в гардеробе городского театра отражали всех смотрящихся с блестящими глазами и широкими улыбками. В общем, все они были волшебными, это же ясно! Лия засматривалась в них каждый раз, и каждый раз влюблялась заново.

Через год или около того бабушка взяла Лию к портнихе, жившей во флигеле старинного особняка, который теперь занимала какая то официальная контора. Пока бабушка примеряла платье, а портниха с булавками подворачивала манжеты на рукавах, соскучившаяся девочка вышла из флигеля и, перебежав усыпанный окурками двор, вошла в пустой полутемный холл особняка. В конторе не было, похоже, ни души. Где-то в глубине дома бормотала радиоточка. Пахло пылью и мастикой. Под ногами у Лии

оказался наборный паркет, натертый до блеска. Любопытная и неробкая, Лия огляделась и немедленно увидела старинное зеркало в резной раме темного дерева в углу холла, под лестницей. Подойдя, опытная охотница за новыми впечатлениями вначале внимательно осмотрела раму. Гроздь винограда и крупные цветы переплетались с ветвями и пучками трав. Резьба была грубая. Дерево темное и растрескавшееся. Да и само зеркало было мутноватым, со звездочками потемневшего фона и облезлыми изнутри углами. Лия встала против зеркала, и по стеклу прошло что-то вроде ряби, как бывает на воде от легкого ветерка. Никакой Лии старинное стекло не отразило. Из зеркала, прямо на Лию смотрел мальчик. Неулыбчивый серьезный мальчик ее примерно возраста или чуть старше, с довольно длинными волосами, смуглый и пухлощекий, одетый в курточку со стоячим воротником. Он пристально глядел сквозь желтоватую муть стекла. Позади него отражались часть холла, дверь и круглая обшарпанная тумба с вазоном. Сколько времени они смотрели друг на друга, Лия не знала...

Хлопнула входная дверь, Лия оглянулась и увидела пожилого мужчину, торопливо идущего внутрь здания. Проводив его взглядом, она еще раз взглянула в зеркало. Теперь в нем все было правильно. Часть холла, дверь, тумба с вазоном и растрепанная девочка в цветастом сарафанчике. Мальчик исчез. Девочка еще немного потопталась у резной рамы и побежала обратно во флигель. Бабушка и портниха пили чай, отсутствия Лии никто не заметил.

Маленькие дети, особенно из хороших крепких семей, верят в волшебство. А потому Лия не испугалась, скорее, удивилась этому странному происшествию. По дороге домой маленькая любительница старинных особняков рассказала бабушке про мальчика в зеркале. Бабушка покивала, погладила рассказчицу по голове и велела выкинуть глупости из головы. В семье Лия слыла выдумщицей и фантазеркой. Так что, - что мальчик из зеркала, что чудовище под кроватью – все списали на детские фантазии.

За несколько следующих лет мальчик возникал в зеркалах не часто, но достаточно регулярно. Она свыклась с его присутствием. Несколько секунд в месяц или два была возможность рассматривать в подробностях его странные куртки со стоячим воротником и сначала длинные, а потом

коротко стриженные темные волосы. Он рос и менялся вместе с Лией. В лице его постепенно пропала детская пухлость. К 11 годам из зеркала смотрел уже подросток, серьезный и невеселый. Только глаза, светло карие, искрящиеся как звезды, были неизменны. Он был частью Лиинной жизни, но ей и в голову не приходило рассказать об этом кому-нибудь. С некоторых пор было понятно, что такими вещами ни с кем нельзя делиться. Не поймут. А потом внезапно все прекратилось, и Лия разлюбила смотреться в зеркало. Никто не любит быть угловатым подростком неправильных пропорций с прыщами на лбу. Что и показывали ей простые домашние зеркала, лишенные волшебной силы приукрасить действительность.

На самом деле родители назвали Лию совсем другим именем. Но никто никогда не употреблял это имя, ни друзья, ни учителя, а Лия была к нему совершенно равнодушна. Она его попросту игнорировала, не ассоциировала себя с бессмысленным набором букв, случайно вписанным в ее документы. Достигнув совершеннолетия, девушка немедленно убрала из своей жизни унылую кличку, придуманную ей матерью. И выбрала себе то имя, которым звала себя с самого начала. Это было хорошее имя, пригодное для настоящей жизни. Жизни, в которой есть место любви, славе и сказочным приключениям. Жизни, полной волшебства.

Жизнь, полная волшебства, должна была наступить совсем скоро. А пока Лия вышла замуж, родила детей и стала строить карьеру. Все как у всех. Дом, работа, гости, детские праздники или болячки. Босс с претензиями, подчиненные-идиоты. Семь кругов бытия белки в колесе. День за днем, год за годом, много лет. Однажды, возвращаясь с работы в один из особенно трудных дней, совершенно разбитая от усталости молодая женщина вдобавок ко всему поссорилась по телефону с мужем. Да так серьезно, что разрыдалась. Ехать, заливаясь злыми слезами, было небезопасно. Лия вырулила на обочину и заглушила мотор, чтобы немного успокоиться. И вдруг, всхлипывая и сморкаясь, совершенно четко, без всякого зеркала, увидела того самого мальчика. То есть молодого мужчину, в которого с годами превратился тот мальчик, глядевший на нее из старинных стекол с серебряной подложкой.

Почти не дыша, Лия старалась удержать видение. Молодой ясноглазый мужчина, смуглый и темноволосый,

сидел на охряном диване, на фоне желтой стены. Откуда-то сбоку бил яркий солнечный свет, почти такой, какой бил в окно Линой машины. Мужчина с улыбкой протягивал руку женщине. Лия видела ее со спины. Вот женщина делает шаг навстречу мужчине. Вот наклоняется к нему для поцелуя. Тут Лия почувствовала укол ревности и сама удивилась тому, как чувствителен был этот укол. Видение исчезло. В лобовое стекло машины лился предвечерний свет летнего солнца. Нужно было спешить домой. Мириться с мужем, готовить ужин детям, отвечать на рабочие письма.

Теперь она видела Его довольно часто. Иногда, засыпая или просыпаясь, на тонкой грани между сном и явью, Лия видела и его, засыпающего или просыпающегося. Иногда с ним была женщина, иногда он был один. Она теперь знала и цвет его простыней, и легкую занавеску на окне со странными ставнями в его спальне. И охряной диван в его гостиной, и проем балконной двери. Он был красив, весел и уверен в себе. Для Лии он был гораздо реальней и важней всех неприятностей и перипетий настоящей ее жизни. Как невидимый якорь, его улыбка держала Лию на плаву в самые сильные бури и шторма. Пока он вдруг внезапно не исчез. То ли в жизни нашей героини все постепенно сложилось и успокоилось. То ли с возрастом исчезло у нее умение так сфокусировать взгляд, чтобы увидеть невидимое. Но к сорока годам Лия совсем забыла всю эту странную историю. Из любых зеркал на нее всегда смотрела полненькая невысокая брюнетка с усталым взглядом. Из маленькой принцессы не выросла королева. Обычная женщина с обычными проблемами. Заурядная внешность, заурядная жизнь. Ничего волшебного. Только и осталось от прежней девочки, ожидающей чуда, коллекция старинных пудрениц. Коллекция с годами росла, в круглых зеркалах иногда мелькали тени их прежних хозяек. Но в этом не было ничего удивительного. Раньше женщины пользовались пудреницей по многу лет, эти важные безделушки сопровождали своих владелиц в горе и радости. Бал ли, разбитое ли сердце – женщина гляделась в зеркальце и приводила себя в порядок. Если уж где и мелькнуть тенью через сто лет, то уж точно в пудренице.

В ту поездку в Испанию Лию потащила подруга. Какая-то дамская организация устраивала тур для искусствоведов. Кто-то отменился внезапно, и Лию впихнули в последний момент. Хотя она не была искусствоведом. Как раз наоборот. Выезжать надо было почти немедленно.

Торопливо собрав чемодан и суматошно пихая в дорожную сумку всякие мелочи, Лия с недоумением обнаружила, что взяла с собой одну из коллекционных пудрениц. Самую первую, любимую, купленную на блошином рынке в Яффо много лет назад. Тяжелого серебра начала прошлого века. С затертыми гравированными инициалами на крышке. Совершенно не нужную в поездке, на самом деле. Повертела еще раз в руках, и дивясь себе, снова сунула в сумку. Пусть будет.

На третий день путешествия Лия ускользнула от группы, битый час пялившейся на статую Мадонны Альмудена под бубнеж профессора-искусствоведа, который вел экскурсию, и углубилась в переулки, ведущие подальше от Оружейной площади, полной туристов и продавцов сувениров. В переулках было потише, в крошечных кафе пустовали круглые столики, выставленные прямо на тротуары. За один из них Лея и плюхнулась. Заказала бокал белого вина со льдом и немедленно стала проверять рабочую переписку в смартфоне. Благо, в безымянной кафешке был резвый вайфай. Милая официантка принесла заказ и жестами стала показывать, что у Лии что-то не так с лицом. Не говорящая на испанском Лия улыбнулась, покивала и достала из сумочки пудреницу, чтобы взглянуть в зеркало. В желтоватом мутном зеркальце мелькнула и исчезла тень, отразилась раскрасневшаяся от жары женщина с поплывшей под глазами тушью. Лия стала подтирать черные брызги и услышала, что к ней на недурном английском обращается приятный мужской голос.

- Простите, - сказал голос, прежде чем Лия оторвала глаза от зеркала, – как к вам попала пудреница моей прабабки?

Опешив, Лия подняла взгляд и обмерла. За столиком прямо напротив нее сидел мужчина лет пятидесяти. Лысый, поджарый, смуглый и ясноглазый. Тот самый! Тот мальчик, тот юноша! Он!!

Он что-то еще говорил, глядя на нее растерянно и удивленно. Он назвался Марком. Пытался объяснить про инициалы, про вензель, про ее необычайно знакомую ему внешность, но Лия практически ничего не слыхала. Ничего. Она почти и не дышала, глядя в его лицо и боясь, отчаянно боясь, что сейчас он исчезнет, пропадет, растворится в переплетении солнечных пятен и ажурных теней за его спиной. И когда он решительно поднялся, подавая ей руку, она без малейшего колебания вложила свою ладонь в его и пошла, оскальзываясь и спотыкаясь, по булыжникам

средневековой мостовой вверх по переулку, до самых дверей его дома.

Он отпер дверь и провел ее в просторную гостиную с желтыми стенами, залитую белым солнечным светом. Лия села на знакомый диван цвета охры и увидела на стене напротив портрет в простой рамке темного дерева. На пожелтевшем листе плотного картона была нарисована карандашом кудрявая растрепанная девочка в цветастом сарафане, стоящая перед круглой тумбой с вазоном. У Лии закружилась голова

- Я нарисовал тебя тогда, в первый раз, чтобы не забыть, – просто объяснил Марк и выложил на столик пухлую папку карандашных рисунков. – Я все время рисовал тебя. Но этот портрет самый лучший. Я рад, что ты нашлась, Лия.

Яков Шехтер
комментарии и пояснения
Анны Файн

САМОУЧИТЕЛЬ КАББАЛЫ

Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковины и удивительные происшествия - не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.

Самоучитель предлагает читателю освоить несколько главных понятий каббалы. Методика обучения такова: после объяснения разбираемого понятия, следует рассказ, который художественными средствами иллюстрирует, как это понятие проявляется в жизни. Затем следуют вопросы, отвечая на которые, читатель сможет проверить и закрепить полученные знания.

Заказ книги по адресу: articeda@gmail.com

Елена Дьячкова

Костюм дяди Джозефа

Дядя Джозеф умер внезапно. Вернее, о том, что дела плохи, было известно давно, но насколько, никто не интересовался. В нашей традиционной еврейской семье дядя Джозеф считался отщепенцем. Он не ходил в синагогу, не чурался работать по субботам, любил выпить. Каждого из этих грехов было достаточно, чтобы мы с мамой смотрели на него искоса.

Утренний звонок из больницы показал, что даже если мы и не считали его за близкого родственника, он относился к нам именно так.

– Надо заняться похоронами, – сказала мне мать, придя в себя.

Стоял конец квартала. Для бухгалтера – самое занятое время, и поэтому до больницы я добрался лишь после обеда.

– Одежду принесли? – спросил меня суровый медбрат.

– Нет, только документы.

Приемная морга, в которой мы стояли, была стерильно пуста. Один гудящий люминисцентный светильник над головой и ведущая вовнутрь металлическая дверь. Обстановка совсем не в стиле моего дяди.

– Можно, я сначала посмотрю на тело? – заподозрил я ошибку.

Медбрат провел меня в помещение с холодильными камерами и открыл одну из них. Откинул накрывающую лицо простыню.

Передо мной лежал дядя Джозеф. За время болезни он сильно похудел и стал еще больше похож на своего покойного брата – моего отца. Я узнал эти высокие выпуклые скулы, гордый горбатый нос. На осунувшемся лице он выступал устремившимся в небо обелиском. Памятник каким победам? Мой взгляд остановился на его шикарных, густых, как обувная щетка, усах. По центру они были окрашены желтым: страстный курильщик, дядя не бросил курить даже после того, как ему диагностировали рак.

– Скоро вернусь, – пообещал я. В квартире дяди пахло лекарствами и табачным дымом. Шкаф в спальне был полон одежды, но мой выбор ограничивался черной. Любой другой цвет – и у мамы бы случился инфаркт. Я нашёл подходящий костюм, подготовил нужные вещи и, когда уже готов был уходить, заметил висящий в углу шкафа яркосиний в крупную серую клетку костюм. Он выглядел щегольским и полностью в духе дяди Джозефа. Только он мог позволить себе такую экстравагантность – еще чуть-чуть и перебор.

Не знаю, что побудило меня достать его. Но я достал и приложил костюм к себе. Взглянул в зеркало: синий цвет шёл к моим уже успевшим поседеть вискам.

– Примерь! – раздался у меня над ухом чей-то охрипший голос. От неожиданности я даже оглянулся, настолько явственно он прозвучал. Кто-то должен был стоять прямо у меня за спиной. Но нет: одна плывущая в воздухе пыль.

Первой мыслью было убраться восвояси, но собственные руки поступили иначе. Послушно сняв пиджак с вешалки, они нырнули в его рукава. Это был мой размер: плечи, длина — все. Не соображая, что делаю, я надел на себя остальное: белоснежную рубашку, брюки, галстук. Непривычно узкие ботинки из тонкой кожи сжали стопу, как обняли, золотые запонки плавно вошли в тугие прорези манжет. Из нагрудного кармана торчал край платка. Я слегка потянул его — и он лёг на груди полураскрытым бутоном. Когда я снова посмотрел на себя в зеркало, это был уже не я. Импозантный мужчина в отражении был мне незнаком.

Собственное преобразование вызвало улыбку. Вспомнив старые кинофильмы, я по-донжуански откинул голову немного в сторону и назад. Заложил ладонь в карман пиджака. Там нащупал бумажку. Это была квитанция из ювелирной лавки.

– Черт побери, совсем забыл! – снова раздался голос.

В этот раз я его узнал. Раз в году, на Хануку, этот голос говорил со мной по телефону. Это был дядя Джозеф. Сейчас дядя лежал, вальяжно раскинувшись, на кровати. Его могучее голое тело было прозрачно. Небритое лицо освещала знакомая ироничная улыбка.

– Что ты здесь делаешь? Ты же умер! – скорее возмутился, нежели удивился я.

– Оканчиваю незаконченные дела. Идем, заберем перстень!

– Тебя увидят!

– Где им!

Мы вышли из квартиры. На улице вальсировало бабье лето. Дядя Джордж уверенно вёл меня в нужном направлении. Я шёл нехарактерным для себя летящим шагом. Было впечатление, что за спиной у меня выросли крылья. Перед тем, как зайти в салон, я заглянул вовнутрь. В маленьком помещении не было никого, кроме продавщицы. Красивая молодая женщина, она раскладывала что-то на прилавке. У нее было открытое лицо, волнистые русые волосы и полные, по локоть оголенные руки.

Мой опыт отношений с противоположным полом был невелик. В свои сорок лет я тянулся к женщинам и одновременно боялся их. Сейчас я готов был ретироваться и, наверно, так бы и сделал, если бы костюм буквально не внёс меня в магазин.

– Вот, – протянул я квитанцию.

– Да, заказ готов,

Продавщица достала из-под прилавка небольшую коробочку и вынула оттуда аккуратный золотой перстень с наложенными один поверх другого инициалами.

– Примерите?

Я протянул ей левую руку, и она надела мне на мизинец кольцо. От ее прикосновения задрожало в груди.

– Какие у вас красивые руки! – не своим голосом заметил я. Никогда раньше я не знал за собой такой мягкости тембра. – И глаза, и улыбка!

С моих уст слетали банальности, но женщине, кажется, они нравились.

– Пригласи ее на свидание, — шепнул мне голос.

Это было уже чересчур: дядя Джозеф прекрасно знал о моих трудностях! Я хотел было проигнорировать его совет, но костюм сдавил мои рёбра с такой силой, что у меня перехватило дыхание.

– В котором часу вы заканчиваете? – выдавил я из себя.

– Через полчаса.

– Хотите со мной поужинать?

– Да.

Дядя довольно хохотнул за моим плечом: «Я знал, что она не откажет!»

Из салона я выскочил, как ужаленный: какое свидание – вернуться меня не заставила бы даже угроза расстрела!

Однако надетая на меня одежда имела на этот счёт другое мнение. Элегантнейшие, ручной работы ботинки вдруг обернулись инквизиторскими сапогами и резко затормозили мой ход. Я чуть не загремел лицом об асфальт. Я хотел было их скинуть, но налившиеся гипсом рукава пиджака не позволили даже согнуть руку. Под внешней мягкостью костюма скрывался своенравный характер его владельца. Тот самый, которому я так завидовал.

Сопrotивление было бесполезно. Я повернул назад. С каждым шагом давление ослабевало, к обуви возвращалась былая мягкость. Когда, купив по дороге букет роз, я остановился напротив магазина, одежда снова облегла меня как золотое руно.

Женщина выпорхнула ровно в означенное время. Я заметил, что она подвела губы. В оранжевом свете вечернего солнца она была еще красивее. Я повёл ее в ресторан. Вернее, вёл нас обоим мой костюм, он же и говорил. Я знал за собой, что могу и пошутить, и поддержать беседу, но никогда моя речь не лилась еще так свободно. Мы смеялись втроем — остроумный голос дяди Джозефа теперь звучал во мне, не умолкая.

Конечно, ресторан оказался дорогим. Я прикинул, сколько у меня с собой денег.

– Во внутреннем кармане пиджака лежит кредитка, — подсказал дядя.

Женщина хотела, чтобы я рассказал, чем занимаюсь, но костюм ее перебил:

– Обо мне неинтересно, лучше расскажите о себе!

И она начала. Я слушал и представлял, что знаю ее всю жизнь. Представлял наши свидания, поцелуи, первую близость. Скромную свадьбу, общий дом. Я видел наших сыновей — сначала крох, потом прекрасных молодых мужчин. Я представлял, как соединяются воедино кровеносные системы наших родов, как незаметно скрещиваются, переплетаются наши привычки, как мы становимся единым целым и вступаем в старость, успев срастись до неделимости. При таком раскладе смерть одного из нас должна была стать концом другого. Переходом из бренного в вечное.

– Вы меня не слушаете! — заметила женщина мой отсутствующий взгляд. — О чем вы думаете?

– Извините, я на секунду отлучусь.

В уборной я оперся о край умывальника и взгляделся в своё отражение в зеркале. Теперь я видел, что не только

мой отец был похож на своего брата, но и я сам был его копией. На моем лбу лежали те же неровные, изломанные характером и обстоятельствами морщины, в центре лица выступал тот же дерзкий еврейский нос. Он символизировал собой одиночество — гордое состояние, сопровождающее человека в ключевые моменты жизни.

– Я был тебе паршивым дядей, – заметил с другой стороны зеркала Джозеф. Передние пряди его обычно зачёсанных назад волос свисали по бокам тонкими нитями.

– Как я — племянником.

Перед глазами всплыл мой день бар-мицвы. Ресторан, гости, музыка. Дядя Джозеф появился, когда праздник уже заканчивался. Он отодвинул меня от остальных и вручил подарок: пару высоких желтых рыбацких сапог. Они были гулливерского размера. Я примерил их, и, сделав шаг, упал. Все вокруг засмеялись, а дядя поставил меня на ноги и раскатисто сказал:

– Не падает лишь тот, кто не рискует. Дерзай!

Я готов был провалиться сквозь землю. Дядино пожелание прошло мимо. Оглядываясь назад, я мог смело признаться, что забыл его не только моментально, но и навсегда. Я никогда не рисковал!

– Ладно, идём! Девушки не любят ждать! – римирительно заметил дядя.

Он был прав: моя спутница уже нервничала.

– По коньяку и десерту? – непьющий, я уверенно заказал до этого неведомый мне бренд коньяка. Первую рюмку мы выпили с дядей залпом и молча, после второй я посмотрел на свою спутницу: – Разрешите, я провожу вас домой?

В фиолете сумерек мы шли, держась за руки. Наши плечи то и дело соприкасались. Я слышал тягучий древесный запах зажженных в домах каминов. В этом запахе мне чудилось счастье. Не подвластное времени, большее, чем смерть. Мы с моей спутницей держали к нему ключи. Возможно, единственные во Вселенной. При этом сердце сжимала грусть: я уже знал, чем все закончится.

– Кофе? – предложила она, когда мы остановились перед ее домом.

– Нет, – отказался я.

Силы костюма были безграничны. Я мог притвориться кем-то другим сегодня, но уже завтра я был бы вынужден ее разочаровать. Тому мужчине, за которого она меня приняла, я приходился всего лишь племянником.

– Но мы же ещё увидимся?

– Вряд ли.

Ее недоумение осталось без ответа. Я подождал, пока за ней закроется дверь. Оглянулся на дядю Джозефа. Тот выглядел смущенным:

–Надеюсь, это не из-за меня?

В молчании мы побрели по направлению к его дому. Дядя шёл медленно, словно каждый шаг давался ему тяжелее, чем предыдущий. У него проявилась одышка, несколько раз он останавливался, чтобы откашляться. При этом его сильное тело таяло на глазах. До этого сидящий как влитой костюм теперь висел на мне, как на вешалке.

На углу его улицы мы остановились около ночного минимаркета.

– Покурим?

При первой моей затяжке дядя зажмурился, на второй – глубоко вздохнул. Собравшиеся вокруг глаз морщины разгладились, и на осунувшемся лице проявился покой. Дядя закинул голову наверх и долго-долго смотрел в темное небо: на чёрном покрывале бытия холодные звёзды складывались в вечно изменяющиеся рисунки. Каждый раз прекрасные. Каждый раз - безразличные к разворачивающимся под их светом драмам.

– Куда с большой охотой я бы отправился к звёздам, чем в землю! – после долгой паузы выдохнул дядя Джозеф. Его голос был уже еле слышен. – Полагаю, шансов на кремацию нет?

Я не ответил. Во рту было солоно.

До больницы я добрался уже глубокой ночью. Домой - еще позже. На следующий день по возвращению с кладбища мама устроила мне скандал: мы похоронили дядю Джозефа одетым в ярко-синий, в крупную серую клетку костюм.

Александр Климов-Южин

От дома до Дона

От Лебедяни до станции Лев Толстой, бывшей Астапово, ходит по узкоколейке столыпинский вагон. Купив билет и придя к положенному времени, двое путешественников, обозначим их так, обнаружили, что паровозик стоит в тупике и, по всей вероятности, ехать никуда не собирается.

- Как же так, у нас и билеты на руках.

Начальник станции выглянул из окна.

- Ну, чего взбаламутились, не уедете сегодня, так завтра утром точно. Вот бригада таджиков подойдет, тогда и поедем, не отправлять же вас двоих.

Пришлось заночевать на станционных лавочках. Утром разбудил русский мат вперемежку с иноплеменной тарабарщиной. Кучка гастарбайтеров уже стояла у вагона. Начальник, он же отправитель, заспанный, вышел из здания вокзала в трусах, но в форменной фуражке, залез на вышку, дал отмашку флажком машинисту; свистнул в свисток, поезд тронулся.

Возвращаясь из центра, куда был послан женой за хлебом, ещё издали у школы я заметил две фигурки. Было в них неуловимое, но что-то странно знакомое, и по мере приближения я, наконец, убедился, что двое скитальцев направляются к моему дому, и объектом их поиска являюсь, по-видимому, никто другой, как я. Наконец пути наши пересеклись.

- Ты чего, с биноклем, нас поджидал, что ли?

- А как же, вот с хлебом вас встречаю, уж, извините, без соли.

На следующее утро, запасясь провизией, прихватив из запасов теста две «Украинских степных» и водку «Русская», запечатанную сургучом, стоящих непочатыми в погребе ещё с советского времени и уже вполне перешедшими в разряд коллекционных, мы отправились обозрывать чернавские окрестности.

Вел я моих скитальцев к Дону, откуда они собственно, только что вернулись. От дома до Дона – километров

десять, но бешеной собаке и семь вёрст не крюк. Для Геннадия, имеющего репутацию монаха в миру за то, что свято соблюдал все посты и отстаивал все службы, это было вообще не расстояние. Автостопом он исколесил всю Европу, побывал на пяти континентах, сплавлялся по великим рекам, например, по Амазонке, - короче, побывал там, куда Макар телят не гонял. Другое дело Андрей Яныч, или Андрияныч – рафинированный сибарит, гедонист, как он вообще решился на хождение по Руси?! Не иначе, как на спор, другого объяснения я просто не находил.

Вот эдакой компанией дошли мы до росстани дорог, самой высокой точки в степном пространстве местности. Посолонь, на все четыре стороны, ничем не загороженный был виден горизонт, насколько глаз хватало; узкой щелью смыкающийся у небоземи. В промежутках, в низинах, зеленели островки леса. Между рядками вётел, спускающимися к Дону лесозащитной полосой, желтели в основном уже покошенные поля. Косматые стога, словно мамонты, брели за Дон, сверкнувший вдали едва видимой водой. Ни одной деревушки, ни единой души не просматривалось в этой бескрайней широте. Есть ещё где разгуляться человеку на нашем честном просторе. Каждый раз, проезжая или проходя здесь, я невольно останавливался, и сердце колотилось от восторга и счастья обретения свободы. Вот и сейчас по лазури неба плыли неторопливо облака, время от времени поглощая зефирной мягкостью солнце. И тогда на освещённые нивы отбрасывалась тень, переходящая с одного участка на другой. Взгляд уставал от невозможности запечатлеть всю эту круговую панораму во всех подробностях.

Сзади затарахтел мотор. Два местных паренька – Саша-белобрыс со другом, кажется, датенькие, ехали к Дону освежиться.

– Подвезти?

– Да нас трое.

– Ты чего, первый раз замужем, да хоть четверо.

Андрияныча посадили в коляску, Геннадий сел сзади на запаску, я, как на кобыле Яша, болтался спереди. Никому не советую повторять этаким эксперимент; не перевернулись мы чудом: Бог хранит дураков и пьяниц. Только выехав на крутой берег, я долго недоумевал, как мог так бездумно согласиться на этот адский спуск.

Распрощавшись с ребятами, направились к месту, где предположительно раньше стояла первая Чернава, и берег был более отлогий. Прилегли на травку, Андрей закурил беломорину.

– А почему Чернава первая и вторая?

– Потому что первую сожгли татары. Ведь было как? Ближе к весне они шли по ледоставу. Рекой по льду идти куда сподручней, чем через леса и буераки. Останавливались улусами в низинах Дона. Откармливали коней, грабили окрестности, а дальше совершали набеги на Русь. Так вот, первым поселением по реке на их пути и была Чернава, которую они стёрли с лица земли: кого убили, кого забрали в полон, тем же, кому посчастливилось спастись, позднее основали в междуречье между Доном и Окой Чернаву-два. Кстати, будем возвращаться – дорога в основном вся на подъём. Увидите, что Чернавы почти совсем не видно. Вся она отстроилась заново, как бы в природной котловине. Думаю, в том был умысел – сокрытую, её могли пройти мимо и не заметить.

Солнце стояло в небе высоко, как жаворонок.

– А не искупаться ли нам?

Андрияныч почесал потный с заплешинами затылок.

– Хорошо бы, только вот я плавать не умею.

– Ну, ты совсем, как моя жена: дом около Паники, а плавает как топор – сразу на дно. Так что ты не один такой, Руднев вон тоже не умел плавать, но герой ушёл на дно вместе с «Варягом». Да и кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Не дадим мы тебе утонуть: видишь, где осока, там лягушатник, мель – воды по пояс, только дно илистое.

– Вот, в самый раз, заодно и грязи примем.

Сняв с себя трусы, дружки подошли к берегу и зашвырнули их на сколько могли дальше.

– Смотри, мои-то плывут, а твои сразу на дно грехи тянут. А я хоть в церковь не хожу, и не ем в пост репку, у меня даже в трусах святость.

Выбрались на берег действительно по колени в иле, черпали ладошкой воду, смывали остатки грязи. Наконец отмывшись, надели сменку.

– Ну, вот самое время причаститься, что ли.

Геннадий выплеснул остатки «Украинской степной» из стакана.

- Как ты сказал, Паника? Это что, река, что ли?
- Да, течёт за домом.
- Название какое-то странное.
- Это местные краеведы выдумали, что князья перед Куликовской битвой собрались в беседке и держали совет, переходить Дон или принять сражение с этой стороны. И случилась между ними паника, отсюда и Паника. На самом же деле дружины русские объединились около Коломны, намного ниже. Сначала переправились через Оку, а уж потом через Дон. А Паника от глагола «поникати», в значении «опускаться скрываться»; она и впрямь в своём течении в некоторых местах уходит под землю. Вот такая гидрология. Вообще, название рек – это истоки русского языка. А что касается остального, так тут и не такие байки слагают. Вот, например: я тут недавно прочитал в местной газетёнке, якобы Пушкин на пути в усадьбу Грибоедова (случайно не проходили такую?) остановился в Чернаве на постоялом дворе и оставил запись в книге постояльцев, что Чернава славится своими жирными гусями и не менее жирными клопами. Где сей бесценный артефакт? Где грибоедовская усадьба – неведомо. Короче, Чернава – родина слонов.
- Геннадий выплеснул из стакана остатки «русской».
- А не сходить ли нам на днях до Куликова поля?
- Угу, чего я там не видел, это ты после пятого резвый такой. Нет уж, у меня на этой стороне свой Мамай и свой ковыль. Разницы никакой – всё та же рожь, пшеница и овёс, только вместо обелиска – водокачка. И потом, что значит на днях, два дня вам на сборы и проваливайте.
- Так мы же гости!
- Вы гости?! Вы – месячные. Мне тёща и так всю плешь проела, надолго ли?
- Ну, тогда в Скопин, там даже Ленин побывал.
- Точно, только советую после двадцати одного не выходить, иначе вам быстро бока намнут, очень уж любят москвичей, а у вас это на рожах написано.

Солнце давно перекаатило за наши хмельные головы и опасно опускалось всё ниже к заклону. Наконец я взглянул на часы, впрочем, можно было и не смотреть. Опорожнённые бутылки просвечивали пустотой, дай Бог добраться к полуночи. Идти от Дона до дома предстояло исключительно на подъём. Темнело быстро, поначалу первую треть пути ковыляли ни шатко ни валко. Полная

луна в первой своей фазе поднималась над степью, дивно освещая покосы, золотые стога и стерню, всё преображалось и выглядело не как днём. Освещённой змейкой, уходила вдаль дорога, перешёптывались придорожные кусты. Глаза влажнели, удивлённые таинством неузнаваемости мест. Лёгкая дымка над землёй, словно неведомый обман, вела нас в страну, откуда нет возврата – в ночь.

Только Андрияныч не вписывался в эту умиротворяющую картину, его совсем развезло. Пройдя зигзагом до ближайшей скирды, он рухнул в солому и козлиным голосом орал: «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок, с ненаглядной певуньей в стогу ночевал...».

– Геночка, приди ко мне, ты где.

Я прикинул, дело совсем швах. Конечно, можно было заночевать и в стогу, но родственники мои переполошатся. Дав Янычу проораться, вылил на него оставшуюся в бутылке воду. Подхватив его с Геннадием под белые рученьки, мы продолжили путь. «Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной», - так под стихи Блока, отягчённые ношей Яныча-тараканыча, геройски проделали половину пути.

Оставив тело на моё попечение, Гена отошёл в сторону и стал читать «Отче наш». Сзади два пучка света прорезали темноту.

– Вот что делает молитва, – в приступе экзальтации успел произнести Геннадий.

Тесть вылез из машины.

– Ну, и где вас черти носят? Мы уже три дороги исколесили.

Много лет прошло. Случалось ли вам восстановить в памяти хоть один день во всех его подробностях в череде многих тысяч? Я не имею в виду дни с какими-то исключительными событиями, самый рядовой день в линейной последовательности, в череде многих. Вспомнить до мельчайших песчинок, налипших между пальцами ног, до слепого дождичка, до запаха кумарина после покоса травы, до самого пустяшного разговора, до стебелька ржи, зажатой в зубах. До... мало ли чего до. Реставрировать через толщу времени новым проживанием: вернуть себя молодым, призвать к жизни дорогих вам людей, давно ушедших в мир иной; так, как будто вы живёте сегодня и сейчас, так, как будто день только что подошёл к ужину, а

летом вечерееет долго, и завтра наступит завтра, а не через двадцать лет. Три приятеля всё ещё идут вдоль сжатых нив по лунной дорожке.

Отче наш, иже еси на небеси!..

НОВИНКА

Эстер Кей из Цфата разработала концепции лурианской каббалы в форме романа "Я, Хаим Виталь" и повести "Запретное имя - Рахав", в которых показана связь душ и жизненных циклов ученого-каббалиста раби Хаима Виталя (Р. Х. В.) и Рахав библейских времен.

Книга вышла в Иерусалиме, цена 50 шек. Заказ по эл. почте kfamily770@gmail.com.

Аудиокнига "Иерихон" - по ссылке:

<https://dl.orangedox.com/UMxarD>

Сериял по книге представлен на канале Esther Kaye on YouTube.

Сергей Катиков

С точки зрения вечности

Конечно, нет ничего проще, чем очки. Изящная мельхиоровая оправа. Дужки толщиной с паучью ножку вытянулись и готовы шагнуть навстречу, чтобы поставить перед глазами дивный, словно промытый алмазным дождём мир. Тем более чудесны новые, ещё безгрешные и доверчивые очки. Кажется, пока никто не надел их, мир хранится в их линзах чистым и честным и помнит о своих платоновых началах.

И теперь всё это было всмятку.

Иван Алексеевич напрасно разводил руками. Полчаса он искал очки и вот нашёл в продавленной ложбинке дивана, в том месте, где сидел. Оправа сварилась в колтун мельхиоровой лапши. Одна линза выпала прозрачной скорлупой, другая треснула по краю, и ледяная отколовшаяся слеза остро глядела в мир.

Очки были совсем новые, подаренные на день рождения. Итальянская оправа выдержала всего три дня и стояла жене Надежде немалых денег. Иван Алексеевич накрыл ладонью и бережно собрал скелетик в горсть.

В старых очках он просидел на работе целый день, и когда забирал из детсада дочь, она спросила, где новые папины очки. Юленька, позднее дитя, росла пронзительным, преждевременно взрослеющим ребёнком. Такие дети, кажется, угадывают те вечерние разговоры своих родителей, произошедшие до них, с поглаживанием живота, прислушиванием к новой жизни. Голубые глаза Юленьки будто знали это и видели Ивана Алексеевича стареньким добрым папенькой, на котором вдруг вспыхнула и пропала новая дорогая вещь. А эта, старая, безрадостная, была похожа на другую, старую и безрадостную, с подслеповатыми стёклышками глаз – на самого Ивана Алексеевича.

На следующий день в переходе метро Иван Алексеевич остановился перед павильоном оптики. Раньше он всегда проходил мимо. И тем более удивился увиденной на витрине дорогой итальянской модели. Очки были точно такие же, что подарила Надежда, но стоили совсем дёшево.

«Не могла же Наденька купить те очки здесь – мне – на день рождения!»

Продавщица заметила знакомый потребительский блеск в глазах покупателя и протянула ему очки.

- Примерьте, – сказала она. - Ваши до слепоты вытерлись.

Иван Алексеевич увидел холодную игру тонкого металла, искренность девственных стёкол. Мир вспыхнул в них ледяной безукоризненной чёткостью и чуткостью. За пределами оправы остались дряблые приблизительные подобию, а внутри всё преобразалось до подлинности, до незыблемых оригиналов. Была в глазах Ивана Алексеевича от этих очков несказанная неземная прелесть.

«Изумительно... – подумал он. – Какая прелесть!»

Они были даже лучше прежних.

Но Иван Алексеевич скривил лицо.

- Хотите, уступлю?

Продавщица отобрала очки. Иван Алексеевич не успел и кивнуть, как получил в руки чёрный футляр. Очки оказались совсем дешёвыми.

- Футляр бесплатно, - сказала продавщица как-то укоровизненно, мол, берите уж, чего вы как ребёнок. - Сегодня по акции.

Иван Алексеевич сунул футляр во внутренний карман пальто, словно мешочек с ворованными алмазами, словно прятал под сердцем крошечную чёрную дыру, и на душе у него стало темно и тяжело.

Надежда вечером не заметила новых очков, а Иван Алексеевич специально нацепил их и стоял напоказ, туда-сюда разглядывая кухню. Ему казалось, будто его разум опьянел от несказанного сияния, придаваемого очками. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть – бесконечным», – вспомнил Иван Алексеевич Блейка.

Опустив голову, Надежда ходила по квартире в одном тапке, ища второй, который был у неё в руке. Восковым нагаром набухшие веки тяжело наплывали на близорукие глаза, всю жизнь смотревшие вниз.

- Наденька, как дела? Что на работе?

- Всё то же, - буркнула она и стала перечислять свои библиотечные сплетни невнятным, желатиновым языком, словно однородные комки нанизывались на её жалующийся голос. Ивану Алексеевичу почудились засушенные сморщенные уши, продёрнутые шнурком и подвешенные перевернутыми арками в тёмном забитом чулане. Таким чуланом было Надино сознание.

«Как ты некрасива, – думал Иван Алексеевич, глядя на Наденьку, шарившую слепой ногой в углу прихожей. – Ведь ты ещё молода, чуть за сорок, но уже состарилась в своём библиотечном архиве, в этом подвальном подполье, где, придавленные академическим камнем, живут и теряют зрение, нормальный цвет лица, теряют глаза, волосы, вкус к жизни такие же, как ты, вытертые до бесцветности книжные мокрицы. Кожа в морщинах, как мешковатая ткань... Как ты некрасива».

- Суп греть? - спросила Наденька.

Укладывая Юленьку спать, Иван Алексеевич почитал ей сказку Андерсена, самое начало, про то, что прислужники тролля разбили злое зеркало, которое искажало любое отражение, и что некоторые осколки зеркала попали в очки. Юленька быстро уснула, и Иван Алексеевич, подоткнув одеялко, ушёл на балкон, не накинув куртки.

За дверью осталась вторая жена, второй поздний ребёнок, которого ещё очень долго растить и как бы приводить в чувства из зачаточного детского состояния, а здесь, на влажном мартовском морозе смотрело на жизнь немигающее алмазное божество Вселенной. Иван Алексеевич вместе с ним смотрел на город, быт за спиной и жизнь внизу, и казалось, будто он опьянён новым познанием, безупречным и способным рассекать окружающее такой наглой анестезирующей новизной, что вещи не успевали пустить кровь, и тонкие слои реальности, на мгновение подсвеченные алмазным зрением Ивана Алексеевича, падали и пропадали во тьме. А над ней наклонялось некое новое существо, прозревшее, переросшее этот быт, этот город, там стоял на канате ницшеанский плясун, который уничтожает сверхчеловека и скачет далее к звезде и видит это головокружительное падение подсвеченных феноменов.

«Sub specie aeternitatis – кажется, так? - прошептал Иван Алексеевич. – С точки зрения вечности. Если где-то и есть эфирные существа, обитающие в космосе или на околоземной орбите, то именно в таком сиянии они видят истинное бытие. А всё некрасивое, всё это человеческое копошение они, как за скобки оправы, выставляют на периферию зрения».

Краем глаза Иван Алексеевич увидел, как в комнате погас свет, и ещё один феномен отслоился во тьму.

Иван Алексеевич сказал, чтобы Юленьку в детсад вела Надежда. Он чихал, жаловался на ломоту в теле. Сказал, что на работу не пойдёт, а в аптеку ходит сам, чуть позже.

Он стал искать в шкафах, перебирать старые вещи и постоянно думал: «Какое всё некрасивое... А сколько было планов, сколько дорог? Вчера я вспомнил это».

Он ходил по квартире в очках, выдвигал ящики и выбрасывал из них, что попадалось под руку. В прихожей он столкнулся взглядом с зеркалом и увидел себя.

- Я посмотрел на нас, - сказал он в каком-то дурмане. – В кого превратился я? В кого превратилась ты?

Во вмятине на зеркале, в этой крошечной овальной комнате, в искажённой перспективе, стоял разбитый, вдавленный, смятый Иван Алексеевич, растрёпанный, непохожий на себя, с перевернутым лицом.

- Ничто не идеально, - говорил Иван Алексеевич себе. Он сидел где-то в углу, ударяя молотком по замотанным в тряпочку очкам. - Желая прекрасного, - говорил он, – идеального, абсолютного, мы отслаиваемся от обыкновенного мира. Всё кажется не так. Вещи слишком прекрасны, глубоки, бесконечны, оттенены несовершенством их реальных проекций. Высокомерие точки зрения вечности садится на тебя, давит и раздавит, и душа, хрупко примята, храпит... Наденька, – говорил он, – кажется, я заболел, – над ним склонялась большая голова, в которой два близоруких глаза пытались отыскать прежнего Ивана Алексеевича. – А ничто не идеально, Наденька. И, пожалуйста, не дай мне смотреть на Юленьку. Не дай смотреть на Юленьку.

Losing my religion

Они расстались на «Таганской». Антон пошёл к переходу на «Марксистскую», а за его спиной стояла и плакала Соня. Настроение было прекрасное. Пусть страдает и мучается она. А он будет дышать полной грудью. Пусть у всех людей в метро будет такое же отчаяние, такая же немая мольба на лице, как у Сони.

Под ноги летели рекламки с изображением женских губ, и хотелось топтать их как можно больше – сочных, ярких, в дорогой помаде. От подходившего состава шло тихое

отработанное дыхание метрополитена. Словно уставшее море выдыхало: всё, это последняя волна.

В школе Антон мечтал, чтобы из-за него повесились. Не обязательно самая красивая в классе. Подошла бы и такая, как Соня. Когда-то в Чертаново восьмиклассница из-за несчастной любви вскрыла вены. И он фантазировал, как из-за него вешались, а если и выживали, то чтобы нести дальше – шрамы на шее, изодранные души, а Антон чтобы шёл в неоновом сиянии и улыбался, как сейчас он улыбается навстречу редющей толпе.

Незаметно переход закончился и начался другой. Антон шёл, погружённый в свои мысли, ловя себя на том, что что-то не так. Спускаясь по лестнице, догадался: никто не писал в личку, соцсети молчали. А что если это – это – случится? Как зашевелятся все эти участливые френды: ах, бедняжка, она же думала, что Антон не знает про её беременность. Что она жила с Мишей, который её тоже бросил. Что она взяла академ, и был аборт, и она хотела вернуться к Антону. А он на самом деле всё знал. И просто подглядывал, как она мучается. Сегодня тень прежней Сони, обмылок этой Сони, встретила с ним и умоляла его. И, наконец, сказала: хочешь, чтобы... я уже повесилась?

Антон поднимался по лестнице и улыбался, разглядывая свою новую обувь. Такая удобная, дельная, очень красивая. Своей особенной красотой. Не такой, как у всех. Уютная, будто он уже дома. Разделся, разулся, входит в спальню, бросает на диван плюшевую подушку...

Соня, конечно, ничего такого не сделает. Забудет, выйдет замуж. Но счастья у неё не будет. Так хотел Антон.

Он остановился. Направо эскалатор вёл на поверхность. Налево был длинный с изогнутым потолком переход. Пустой, суженный в темноту. Как на «Павелецкой». Антон оглянулся. Пусто. Подумал, откуда здесь этот переход. И выбрал его.

Переход длился и длился, вытягивался, втягивал в себя Антона. Сколько он так уже идёт? Минут пятнадцать? И где люди, где шум поездов? Очень душно. Антон снял шапку и рюкзак. Из-за поворота пахнуло тёплым дыханием подземки. Позвякивая, работал эскалатор. Ступеньки узкой, единственной дорожки двигались вниз. Антон постоял некоторое время, оглядываясь, подойдёт ли ещё кто-нибудь. И вступил на дорожку.

Прошло минут десять. Антон зевнул и сел на ступеньку. В шутку подумал, что даже с такой скоростью уже можно было доехать в ад. Плафоны уходили в бесконечность, словно отражения поставленных друг против друга зеркал. Антон зевнул и сел на ступеньку. Достал мобильник, посмотрел время. Получалось, что в метро он уже полтора часа. До сих пор ни одного уведомления. Индикатор связи на мгновение высветился и, уменьшаясь, сошёл на нет. Антон зевнул и сел на ступеньку. Почему всё время как будто нечем дышать? Будто спишь на животе или когда сонный паралич. Не можешь вздохнуть и не понимаешь, в чём дело. Антон помассировал шею, посмотрел вверх, в начало туннеля. Вдалеке на эскалаторе стоял мужчина в плаще, очень худой и высокий. Антон прищурился: уж не касается тот потолка? Резкий шум заставил посмотреть вперёд. Дорожка наконец-то въезжала в пол, Антон встал, закинул за спину рюкзак и побежал к платформе.

Это снова была как будто «Таганская». Напротив перрона, где обычно название станции, не было ничего. Не было рельсов. Слепыми квадратами в обе стороны уходил туннель. Не было камер видеонаблюдения, стенда с кнопкой экстренного вызова. По концам платформы не было помещений для персонала.

Он сел на скамейку и проверил сеть. Пусто. Осталось меньше трети заряда. Засыпая, он бессознательно подложил под голову рюкзак и шапку. Всё приминал и приминал рюкзак и шапку, пока его кто-то чуть не сбил с ног, но он удержался и в последний момент втянулся в отходящий вагон. Было светло и, наконец, работал кондиционер. Антон хотел сделать глубокий вздох, но его позвали:

- Антон!

Лена и Артур выбежали из прихожей, Миша хлопнул его по плечу:

- Антон, ты что, уснул?

Он побежал за остальными через вагоны, которые становились комнатами. Вот комната Мишки. Они сидят и обсуждают Люсю.

- Пойдёшь к ней на днюху?

- Она не приглашала.

- Она всех пригласила. Ты чего, стесняешься? Влюбился, что ли?

В следующем вагоне морозно и темно. Антон стоит под фонарём. Идёт снег. В руках букет роз. Антон что-то говорит, но губы плохо слушаются, замёрзли, наверное.

«Ладно. Как дурак, репетирую. На месте придумаю». Он выпил для храбрости.

- Антон, ты что, уснул?

Включили музыку. Громче, ещё громче, чтобы заглушить грохот вагона.

Oh life, is bigger,
It's bigger than you...

Люся стояла возле окна. Длинные чёрные волосы до лопаток. Сияющая в ледяной измороси стёкол, такая необыкновенная, что хотелось умереть. Вверх по шее бежали мурашки. В глазах слёзы, он слишком много выпил.

Oh life, is bigger,
It's bigger than you...

- Ну, типа... с днём рождения... вот... это тебе...

Люся посмотрела Антону прямо в глаза. Голубые лунные горы. Кончики её губ дрогнули. Она прошла сквозь него, оставляя внутри его тела ощущение близости. Сухих складок губ, запах волос, движение талии и лопаток. В дверном проёме стояла она и целовалась с высоким парнем в плаще.

That's me in the corner,
That's me in the spot-light...

Антон бросил букет на стол. Бутылка упала на фужер, ножка его подломилась и на скатерти вспыхнуло винное пятно.

Lo-o-o-sing my religion...

Антон сбежал по лестнице и под густым снегом метнулся к метро. Вестибюль, эскалатор, в последний момент втянуться в вагон, зайти в ванную, взять полотенце, выключить свет в спальне и лечь на кровать. В вагоне душно и темно. Один конец полотенца привязан к грядущке кровати, другой – вокруг шеи. И медленно, упрямо вползает в ненависть, в духоту, в...

Антон выпал из последнего вагона и побежал на мерцающий свет. Ему казалось, что это выход, что он всё ближе и ближе. Антон бежал и бежал. Только бы хватило воздуха. Но воздуха уже давно не было. Целую вечность он будет бежать, вдыхая пустоту.

Все последующие эскалаторы везли его только вниз.

София Сеницкая

Хроника Горбатого

(Приведённые здесь события – игра воображения скучающего автора. Они не имеют никакого отношения к ходу действительной истории человечества).

**Погашен в лампе свет, и ночь спокойна и ясна,
На памяти моей встают былые времена.**

3. Топелиус. «Млечный путь»

**«...Мы – умерли,
Мы – поверья:
Нас кроют столетий рвы».**

Пошёл...

(Закачались

Перья

Вкруг его стальной головы.)

Андрей Белый. «Перед старой картиной»

Пролог. «Тармо»

Первое воспоминание Анны Канерва – это гигантский «Тармо», его нос с круглыми ноздрями и глыбы развороченного льда. Мужчины в котелках, с тросточками разбегаются перед ледоколом, словно тараканы. Смельчак на велосипеде чуть не провалился в чёрную воду. «Тармо» мощно идёт вперёд. Люди кричат от возбуждения, лёд трещит и качается под ногами, у всех мокрые штаны и ботинки.

Анна с матерью гостила у бабушки в Хельсинки. Соседи видели, как Урсула с ребёнком в руках кинулась на лёд и принялась метаться в толпе мужчин перед «Тармо», - это вместо того, чтобы спокойно погулять по набережной, съесть мороженое, показать малышке коллекцию финляндских птиц на Правительственной или сходить на Бульварную, 29, в музей горных пород и метеоритов. У Анны было пальтишко, яркое, как с хрустом откушенный огурец. Все всё видели, донесли старухе, был скандал.

Задыхаясь, женщина бегала под носом у смерти, Анна чувствовала, как колотится материнское сердце, обе визжали от ужаса и восторга. Художник Райконен сделал

молниеносный набросок с боком корабля, мамой и девочкой, прекрасно передал движение, рыжие локоны, зелёное пятно. Эта работа по сей день хранится в запасниках Национальной галереи. Подслеповатый поэт Сурво подумал, что ледокол символизирует ход истории, безжалостную силу Времени, неукротимую власть Рока, и назвать его следовало не «Тармо», а «Фатум». Дама же с букетом, или что там у неё в руках, – это бабочка, летящая к своей гибели. Чихнул, утёрся бородой и пошёл в кондитерскую.

Старуха Канерва сидела под пальмой и глухо ругалась, Урсула плакала, она не могла объяснить, что понесло её на лёд. Печка была очень горячая. Изразцы с геометрическим рисунком напоминали распахнутые глаза. После прогулки и всей этой странной беготни девочка заснула прямо на ковре, к ней под бок с урчанием привалился Илмари. Вечером были гости, подавали пирог с черникой. Мама и бабушка, румяные, весёлые, пили портвейн. Кто-то усатенький играл на рояле.

Ещё Анне запомнилась страшная история, рассказанная кем-то в бабушкиной гостиной, в этот вечер или в другой, такой же тёплый и музыкальный, - про молодого парня, который ломом уколошил своего дядю Юхана. Юхан Лойс был пасечником, одиноко жил в избушке на краю леса. Бабушка признавала мёд только от Лойса. Это был тёмно-зелёный, пахнувший ёлкой мёд, старуха мазала себе им голову, чтобы волосы росли лучше. Однажды у бабушки от ужаса облысела макушка - это когда к ней в окно забрался вор, но она героически спугнула его револьвером своего покойного мужа, то есть Анниного дедушки. Шкатулка с фамильными драгоценностями была спасена, зато выпали волосы. Врачи прописали бабушке кучу дорогих лекарств, от которых начал лысеть и затылок. В газете бабушка искала объявления о продаже париков и к счастью наткнулась на статью о волшебных свойствах елового мёда с пасеки господина Лойса.

Бабушка стала его главной клиенткой. Каждую пятницу госпожа Канерва отправляла на пасеку мальчика Матти, который за тридцать пять марок в месяц служил у неё на посылках. Матти приносил от Лойса корзину, забитую банками с еловым мёдом, воском и пылью. Всем этим старуха полностью обмазывалась на ночь, утром принимала ванну и уверяла, что чувствует себя прекрасно: мёд согревал её тело, запах убаюкивал, невидимые пчёлы

рассказывали сказки леса и насылали приятные сны. А потом господина Лойса прикончил его племянник – за сто марок наличными и партию папирос.

Все знали этого племянника, иногда он помогал Матти таскать тяжёлые корзины. Был он спокойный и любезный, а потом в него словно чёрт вселился: стал говорить людям, что дядя колдун, заговаривает пчёл на убийство, взял лом, шарахнул Юхана по голове, выпотрошил кошелек и убёг на болото. Там его нашли полицейские собаки. В суде убийцу защищал талантливый адвокат Розенблюм. Взрослые говорили, что если бы парень не взял деньги, его бы оправдали: пчёлы Юхана, хоть и не были агрессивными, но, действительно, вели себя как-то странно, а народ подвержен суевериям - при желании можно понять и простить.

Бабушка Канерва была матерью отца Анны. Отец служил в архитектурном бюро, придумывал красивые и полезные здания, однажды помог Аспелину построить банк в виде итальянского дворца. Банк удался на славу, был забит железными ящиками с золотом, их охраняли грифоны и гномы, которых вызвали из недр Папулы. Толстая башня на рыночной площади заслоняла собой палаццо. Она была похожа на закутанную в платки торговку овощами Кати Мякинен. Аспелин хотел, чтобы её снесли. Все считают, что Уно Ульберг защитил «Толстую Катерину», но это, конечно, маленькая Анна убедила господ архитекторов не трогать башню, так как она – единственное прибежище рускеальских троллей, которые лишились своих мерцающих малиновым светом волшебных домов из-за людей, устроивших каменоломню.

Вальдемар Аспелин умер спокойно – ему перед смертью кто-то добрый шепнул, что уродину всё же решили взорвать. Молодые виipurские архитекторы сделали мэтру весёлые поминки в «Толстой Катерине» – ели винегрет и жареную селёдку, пили отличное пиво из местной пивоварни. Они и не думали рушить башню, переделали её под шикарный ресторан и на поминках так отплясывали, что старые бока «Катерины» стали крошиться, а фундамент просел. Когда все уже были пьяные и усталые, скрипач заиграл песню «Над озером». Урсула запела про таинственный шелест камыша, рябь на воде, хмурые тучи и отважных пловцов, которым иногда всё-таки лучше посидеть на берегу. В застеклённые бойницы стучалась

метель, рыночную площадь замело, архитекторы утирали слёзы и жарко хлопали рыжеволосой красавице.

У Анны было самое богатое собрание сказок в Виипури, три книжных шкафа, сказки на русском, немецком, финском, на шведском, французском, английском, с картинками и без. Были Андерсен, Топелиус, братья Гримм, сказки Афанасьева и Шарля Перро, несколько изданий «Калевалы», даже самое старое и ценное, с кислым запахом жёлтых страниц. Тома «Тысячи и одной ночи» стояли на верхней полке, в десять лет Анна добралась до них по приставной лесенке и потом долго недоумевала – что за радость бегать до тех пор, пока не поднимется какой-то «уд», и «сосать друг другу языки»?

Библиотеку собрал для Анны отец, он обзавёлся семьёй в почтенном возрасте, но выпивал, веселился и взбирался на скалы, как молодой. Господин Канерва был большой романтик и патриот, рассказывал детям про душу народа, жестокий рок и родимый край, который на самом-то деле является центром мира, но об этом пока не все догадываются.

У Анны был брат-близнец Эйно, у него болела спина, он хропал и не любил путешествовать, к бабушке не ездил, сидел с отцом, читал и рисовал.

*- О, край! Многоозёрный край!
Где песням нет числа!
От бурь оплот! Надежды рай!
Наш старый! Край! Наш вечный! Край!
И нищета твоя светла!
Смелей! Не хмурь чела!*

С сыном на закорках, декламируя Рунеберга, господин Канерва бежал по тропинкам и прыгал по камням в поисках «прекрасного вида». За ним бежали и прыгали жена, дочка и коллеги. Вот лучшее место - плоские красные камни плавно уходят в воду. Ночью на них, любясь луной, отдыхали русалки, днём устраивали пикник господа из архитектурного бюро.

Закрыв глаза, прижавшись щекой к тёплому камню, дети слушали плеск воды и весёлые крики взрослых. Никакой «светлой нищеты» на пикнике не наблюдалось – была куча самой вкусной еды, пиво и вино лилось рекой.

После грандиозного заката собирались домой. Обратный путь Эйно держал на спине у матери. В таинственном свете белой ночи деревья шевелились и перешёптывались, мать шла широким шагом, Анна показывала брату, как бегает по

черничнику лисы и медвежата. Очень хотелось, чтобы мать вдруг превратилась в медведицу. Сзади орали песни наклюкавшиеся господа.

Выбравшись из леса, Урсула возьмёт извозчика, проедет через мост мимо замка, отвезёт детей домой, уложит в чистые постельки, потрёт Эйно больную спину и сядет плести чёрный платок со снежным узором, - у неё триста пар коклюшек и никакого сколка, весь узор в голове. Папаня с коллегами зарулит в пивную, потом в биллиардную датского посла и, совершенно счастливый, притащится уже на восходе.

Руна первая. Вглубь веков. Крещение в Нуолях

Давным-давно была похожая история с беготнёй по льду: прародительница Урсулы, которую звали Медведица, с дочкой в руках металась по застывшему озеру, соседи видели, донесли, свекровь пришла в ярость, но тут дело обстояло хуже – мать в полынью полезла с малышкой, с головой окунулись в воду.

За месяц до этого, тёплым осенним днём к ним в поганые Нуоли на берегу озера Малью приехал с онежского погоста священник Наум Кулотка, у него не было правой кисти, рука заканчивалась культёй, потерял, видимо, в страшном сражении. Его сопровождали чернецы Илья Говен и Николай Дрочила. Они проповедовали единое крещение во оставление грехов, а так были похожи на купцов: в теле, весёлые, разговорчивые, в крепкой одежде, на сытых конях.

Кулотка объяснял деревенщинам, что нет нужды пихать в могилы горшки, ножи, рыболовные снасти: после смерти людей встречает Иисус Христос и снабжает всем необходимым для загробного существования. Надо дунуть и плюнуть, дружить и торговать с Новгородом и, главное, не пускать в Нуоли латинскую гниду Фому Горбатого, который хочет всех поиметь и чужое добро захапать, так что, если увидите, гоните кольями, а детей и скотину одна Богородица лечит лучше, чем все ваши полевые и лесовые вместе взятые.

Кулотка неделю гостил в Нуолях, веселился, ел-пил, что-то продал, что-то купил во славу Божию ко всеобщему удовлетворению, перетёр со старейшинами и с утречка

крестил местное население. Махал крестом и лил воду левой целой рукой, а слепней отгонял культёй.

Кулотка сказал Медведице, что ей подошло бы имя Ириния, и купил у неё непромокаемый плащ - самый дорогой из выставленных на продажу.

Погода была прекрасная, обедали на улице. Обглодав до последней косточки жареную утку, Кулотка рыгнул, перекрестился правым своим огрызком, достал мешочек с кусочками бересты и письменными принадлежностями в тряпочке и аккуратно записал, стараясь, чтобы буквы ровно стояли на тёмных чёрточках: «Спасли двести душ в Нуолях, это Стрелково по-нашему, деревня у Малью, то есть Лохань-озера, хороший у них брусничный соус и морошковый с мёдом исключительный, обязательно покупать плащи у Медведицы Иринии, выяснить, чем пропитывает, почему не промокают. Припугнуть Горбатого, чтобы не пакостил, пусть к убытку готовится, сука».

Под столом кто-то дёргал Кулотку за одежду и со смехом уползал на четвереньках. Священник зевнул, лёг на лавку и сквозь сон немного поговорил с Чудиком, маленьким сыном Медведицы.

- Как твоя мать делает непромокаемые плащи?
- Ей болотный мужик помогает.
- Нет никаких болотных. Есть Святой Дух. Шерсть в моче вываривает?
- В травах.
- Каких?
- Надо у болотного спросить.
- Не выдумывай. Всё-хх, я сплю.

Чудик остался единственным некрещёным жителем Нуолей. Он спрятался, родители видели, но ничего не сказали, им вся эта затея онежских не очень-то нравилась - почему нельзя спокойно дружить и торговать без привлечения потусторонних сил? Заговаривать воду они и сами умеют. Духи леса с ними в хороших отношениях. Дети сытые, весёлые. Зачем жизнь усложнять?

Кулотка дремал, закрывшись новым непромокаемым плащом. Он был очень плотный, но мягкий и не тяжёлый, насыщенного травяного цвета, пах мёдом, дёгтем и болотцем, одним словом – вещь! Через некоторое время, когда первый мороз сковал реки и озёра, в этом прекрасном плаще вернулся в Нуоли уже не Кулотка, а чернец Говен с отрядом шведских крестоносцев. Впереди ехал горбун на великолепном белом коне.

Горбун приказал своим воинам собрать деревенских жителей. Судя по всему, это была та самая гнида, которую следовало встречать кольями. Он говорил с людьми через Говена. Торжественно сообщалось, что крещение, произведённое Кулоткой, недействительно – петь и бормотать надо было на латыни, махать правой рукой, а не левой, и вообще зломудрствующим безручкам таинства совершать строго воспрещается.

Горбун крикнул, что человек мёртв до тех пор, пока его правильно не покрестят. Рыцари воткнули мечи в землю, уставились на рукоятки и заголосили: «Дома кости лезут грызть собаки, амен!» (так детям слышалось). Горбун привёл священника - толстого человечка с птичьим лицом. Он выглядел не столь представительно, как Кулотка. Человечек завёл гнусавые заклинания: всех нуольских срочно перекрещивали, снова поливали святой водой. Чудик опять спрятался. Его отец, бабушка, дяди, тёти и соседи покорно ждали, когда всё это кончится, мать хотела уйти, увести дочку, но ей не дали.

Рыцари ночевали в деревне. В избе Медведицы были на постое Говен и Олаф, последний поссорился с юным оруженосцем Горбатого, дело кончилось дракой, сцепившись, парни катались по земле, шведы смеялись, местные не вмешивались. Ночью Олаф не мог заснуть, кряхтел и ворочался, - кажется, Йон сломал ему ребро. Сделали примочку по рецепту болотного, стало легче. Олаф рассказывал сказки про сову, которая летает задом наперёд, и свирепого единорога – его может усмирить лишь девушка с голой грудью. Этот зверь всех ненавидит. Он очень сильный, похож на горбатую лошадь или корову, может замочить льва и вуивра:

- А вуивр - это водяной змей, приполз из Бургундии, очень большой и могучий, у него во лбу глаз – сверкающий драгоценный камень, Говен, помоги объяснить, как поихнему вуивр? Когда вуивр спит, камень тускнеет. Можно подкрасться, камень этот вынуть и продать задорого в Упсале. Только сразу бежать надо. Льва не видел, ничего сказать не могу, врать не буду. Говорят, от его рыка скалы крошатся. А вам, женщина, подошло бы имя Ингегерд.

- Слишком много имён за последнее время. Говен, ты убил Кулотку? Что пыхтишь? Думал, я тебя в другой одежде не узнаю? Олаф, где водится единорог?

- В Чёрном лесу и баварских горах. Людей ненавидит. Зря его Ной на борт взял. Теперь неприятности, на прохожих

кидается. Если нет девушки – плохо дело, всех поднимет на рог или затопчет. Девушка должна показать единорогу свою грудь и сказать пару ласковых - сразу впадёт в ступор и отбросит копыта. Вы дочь предупредите.

- Она не пойдёт в Чёрный лес.

- Может, внучек ваших занесёт, не забудьте им объяснить, когда родятся.

- Я скажу моим внукам, чтобы сидели дома. Спокойной ночи!

- И вы спокойно спите. Да, забыл сказать: кровь единорога спасает от любой напасти. Ею можно самую глубокую рану помазать – тут же затянется. Кровь надо в скляночке с собой носить. Если кровью единорога во время боя землю окропить, ваши враги тут же сами себя перебьют.

На бревенчатых стенах и потолке плясали красные тени огненных саламандр, которые резвились в догорающих поленьях. Мать прижала к себе дочку под одеялом, муж давно храпел, Чудик умолял Олафа рассказывать дальше, Говен бормотал, что не убивал Кулотку, плащ взял, чтобы добро не пропадало.

Утром, когда шведы уехали, Медведица почувствовала, что всё тело у неё горит, особенно жгло лицо и шею – там, куда попала во время вчерашнего крещения заговорённая вода. В глазах у неё темно стало. Кинулась к дочке, показалось, что у ребёнка почернели волосы.

Вот тогда-то и увидели соседи, как бежит по заледенелому Малью Медведица с ребёнком. Ей нужно было окунуться и смыть чужое колдовство. Она выросла на берегу этого озера, всю жизнь пила его свежую воду, все болячки мазала донной глиной, сын и дочка с рождения пахли кувшинками, самым мощным её оберегом был перстень с крупной жемчужиной, которую прадедушка выловил здесь и подарил прабабушке.

Медведица нашла полынью недалеко от берега, подползла с дочкой к краю, залезла в воду, нащупала дно ногами, погрузилась с головой – надолго, насколько хватило дыхания, потом потянула к себе ребёнка, вместе нырнули.

Свекровь ругалась, муж-маменькин сынок за её спиной делал знаки простить и не спорить, румяная дочка спала у печки с урчащим Котиком. Медведица рыдала, но не потому, что старуха гундосит - она ведь от любви сердится, беспокоится. Было невыносимо, что чужаки ради жадности своей морочат людям голову, отнимают свободную волю,

не дают делать главный выбор - в кого и во что верить, с каким «духом» жить и умирать.

Руна вторая. Фома отправляется за чудесным плащом

«Интересно, каким снадобьем Ингерд лечила мои ушибы, и что это за способ делать шерсть непромокаемой?»

От Говена чудесный плащ Кулотки перекочевал к Олафу - возможно, швед выиграл его в кости или просто взял поносить.

Отряд Фомы Горбатого Христа ради шатался по чужой земле. Здесь что-то купят или отнимут, там продадут. Фому торговые дела не интересовали – Пречистой нужна была кровь язычников, и он проливал её при каждом удобном случае. Тела поверженных врагов, а заодно их псов поганых Фома велел развешивать на ёлках – в назидание тем, кто сомневается, что Господь нас любит бесконечно.

Весной шли дожди, промокшие до нитки рыцари утирали сопли, один Олаф был в сухе и тепле. У изделия нуольской мастерицы имелось ещё одно удивительное свойство – к нему не приставала грязь. То есть можно было в драке по земле кататься, пьяным под кустом валяться, а плащ оставался чистым. Также у Олафа возникло подозрение, что ткань эту сложно пробить оружием. Оно подтвердилось во время стычки с новгородцами: купчины везли пушнину и клетки с соколами, делиться с бедными рыцарями добром своим не захотели, пришлось их потрясти, побеспокоить. Олаф сцепился с двумя толстяками и завалил обоих, несмотря на то, что они одновременно молотили его булавой и хорошим таким аккуратным топориком.

Горбатый Фома видел, как оружие отскакивает от плаща, и не верил своим глазам. Когда всё улеглось, купцы расплзлись, разбежались, а рыцари распихали по своим мешкам беличьи шкурки и поделили, не без драки, охотничьих птиц, Горбатый стянул с Олафа плащ и присмотрелся. Он был как новый - ни одной дырки, ни одной вытянутой ниточки!

Фома больше всего на свете любил жареную селёдку, святого Зигфрида и Деву Марию. Вернувшись на родину, он пообещал Небесной Царице снова пойти к северным нехристям, чтобы дальше вразумлять их словом Божиим и

ей в подарок привезти наимоднейший плащ. А Зигфриду посулил бочку с отрубленными головами язычников.

Люди говорят, что первый крестовый поход шведы устроили в середине двенадцатого века – тогда финский крестьянин зарубил топором одного англичанина, который пролез в шведские епископы, шатался там, где закончилась «Христова земля», не платил за постой, обижал богов, водоплавающих птиц, колдунов и предков. По слухам, он ещё и пиратствовал – взял на абордаж и разграбил три новгородских торговых ладьи.

Второй раз шведы полезли к русичам и карелам в тринадцатом веке, когда зловредный римский папа Григорий разжигал религиозную ненависть и обложил Новгородскую санкциями. Но мы-то знаем, что во второй половине двенадцатого века шведы предприняли ещё один маленький походик, официальной целью которого было проверить, правильному ли Богу деревенщины молятся, а неофициальной – добыть секрет Медведицы, узнать и освоить технику изготовления непромокаемых непробиваемых плащей.

Горбатый Фома убедил архиепископа и городские власти Упсалы снарядить скорее три кораблика и отправить к карельской мастерице отряд из рыцарей, священников и ткачей. Последними славился город Сигтуна на берегу Мелар-озера. Трём лучшим ткачам предписывалось во славу Божию освоить чужеземную технику изготовления чудо-плащей. Священники должны были экзаменовать жителей Нуолей и соседних деревень на знание «Pater Noster». Благородные рыцари собирались крошить на мелкие кусочки тех, кто не в курсе или сомневается, что Святой Дух вылезает как из Отца, так и из Сына, торговать надо со шведами, а новгородских слать подальше.

Сигтунским ткачам не нравилось, что их отрывают от дела. У всех троих в мастерских под ткацкими станками следили за ходом работы деревянные и глиняные девушки – то ли Фригг, то ли Фрейи, домовые за чашку молока распутывали пряжу, бабкины заговоры делали ткань крепче, чем всякие инвизибилиумы и пекаторисы. Но карельский плащ поразил их воображение, он двинулись за горбатым крестоносцем Фомой.

Шведы явились в Нуоли, когда лес, озеро и весь карельский мир были скованны первым морозом, покрыты самым непробиваемым белым плащом. Йоны и Бенедикты, сказочник Олаф, предатель Говен тряслись от холода.

Лязгая зубами и оружием, стеноя, завывая, незваные гости влезли в тёплые нуольские дома, сели около печек и потребовали раскрыть немедленно секрет волшебного плаща.

В кипятке прыгали яйца, на сковородке сало стреляло, подскакивало. Говен не сводил глаз с Медведицы, он был назначен её главным сторожем, молодой Олаф бредил и разговаривал со своей оставленной в Упсале женой. Рыцарь был совершенно простужен, ведь Фома Горбатый отобрал у него плащ.

- Бригитта, ты опять ходила к пекарю? Зачем два раза в день ходить в пекарню? Тебе пекарь нравится? А я тебе уже не нравлюсь? От него, наверно, пахнет лучше, чем от меня. От него пахнет мёдом, а от меня лошадиным говном, да, Бригитта?

- Олаф, это я, Медведица, Ингегерд. Твою жену Бригиттой зовут? Она ждёт тебя дома. У тебя голова горит. Все спят, успокойся. У тебя на лбу тесто, не открывай глаза. Тесто вытягивает боль.

- Ингегерд, а ведь я пришёл за новым непромокаемым плащом. Я отнял у Говена, Горбатый отнял у меня.

- Говен тоже отнял. Это не ваше добро. Будет тебе плащ. И штаны непромокаемые. Говен, зачем ты опять их привёл?

- Это не я. Их Господь сюда приводит.

- Господь Горбатого или Кулотки?

- Горбатого.

- А твой где?

- Отвяжись.

- Ты мне больше в рясе нравился.

- В ней скакать неудобно.

- Лучше бы ты, Говен, пешком ходил.

Медведица пела, шептала, разговаривала с домовым, который, видимо, прятался за печкой, поила рыцаря клюквенной водой, обкладывала голову заквашенным тестом. Когда тесто, впитав болезнь, разбухало и расплзлось, женщина его снимала, бросала в огонь и приносила свежее - плотное, холодное.

Олаф затих, заснул, зато Говену стало беспокойно. Он вдруг увидел, что к нему приближается ряса – да-да, ряса, но сама по себе или будто надетая на монаха-невидимку. Ряса подошла к трясущемуся от ужаса Говену и грозно подняла левый рукав. Говен взвизгнул и выскочил на двор, ряса - следом. Она гонялась за предателем до тех пор,

пока тот не рухнул в сугроб. Последнее, что увидел Говен, - склонившееся над ним красивое бесстрастное лицо Медведицы. «Ведьма!» - крикнул он, задёргался и испустил дух.

Отъевшись и отоспавшись, святые братья разбрелись по весям проверять, правильно ли люди Христа любят и что там у них в загашниках. Пожгли деревень немало. Ткачи же сикгунские учились у Медведицы делать непромокаемую непробиваемую ткань. Горбатый Фома взял на воспитание её дочку, - то ли полюбил ребёнка, то ли держал при себе, чтобы мать не сбежала; дарил из сундучка дорогие вещички, рассказывал про Пречистую, учил бормотать на латыни. Мужу Медведицы, которому всё это не очень-то нравилось, заехал с ноги в живот и пригрозил отрубить голову. Тот затих и больше не высовывался, только просил Чудика не показываться на глаза шведам. Правда, горбатый крестоносец не обращал на мальчика никакого внимания, равнодушно смотрел, как тот улепётывает от него, словно гусёнок, в молодые лопухи.

К лету земля впитала вешние воды, дороги подсохли. Шведы решили не дожидаться, когда новгородские придут с топориками, и по-тихому убраться домой, прихватив с собой мастерицу Медведицу. Ясным утром вышли из Нуолей. Женщину никто не неволил, она сама бежала за Горбатым Фомой, который ехал на коне, держа перед собой её дочку.

Руна третья. Фома дарит плащ Богородице

На корабле Медведица слегла; чем дальше её увозили от родной земли, тем хуже становилось. Горбун жарко молился Пречистой, чтобы та спасла ткачиху Ингегерд. Её дочку он называл Трин.

Трин впервые видела море, оно её поразило своей мощью и величиной: «Сколько воды!» Снасти гудели под напором ветра. Фома говорил, что это стонут души некрещённых утопленников. Из свинцовой воды ему кивали и подмигивали чьи-то рожи, он плевал за борт и махал руками.

- Фомушка, с кем ты разговариваешь? – спрашивал ребёнок.

- С подводниками.
- Что они делают?
- Живут и не молятся.
- Под водой?
- Да, в подводном городе.
- А как дышат?
- Они хитрые, у них жабры.
- Ты хочешь их крестить?
- Деус ло вульт! И забрать подводное добро.
- Какое?
- Мешок чёрного жемчуга.
- Что ты с ним сделаешь?
- Отнесу Пречистой. Она ждёт меня в Упсале. А одну жемчужинку тебе дам.
- Ну, ныряй!
- Да не умею я. Папа Римский пошлёт к подводникам епископа.
- Он может дышать под водой?
- По высочайшему повелению научится.

Горбтому Фоме приснился сон, что Пречистая и святой Зигфрид даровали ему жабры. Он спускается под воду с факелом и мечом, рубит язычников, поджигает дома из крепкого корабельного дерева. Нехристи падают на колени. Фома каркает: «Ваде ретро, сатана!» Его голос гремит и мечется эхом, как в упсальской церкви. Подводники хором кричат: «Ты наш святой отец! Ты наш епископ!» С мешком чёрного жемчуга Фома вылезает на берег, вода мутная от крови тех, кто не хотел креститься. На песке танцует Трин в короне и синеньком платьице с красной накидочкой: «Море волнуется раз! Море волнуется два! Море волнуется три, Фома Горбатый, на месте замри!» Фома замирает и плачет от умиления: «Сальве, Регина! Матушка, Богородица, заступница, спаси меня, грешного!»

В Упсале Фома сразу пошёл в церковь, там была его любимая скульптура Богородицы – старая, выцветшая, поеденная жучком-древоточцем, но необыкновенно милая, юная, с загадочной улыбкой и весёлым младенчиком. Сто лет назад резчик Фроди из экономии и хулиганских побуждений преобразовал в Деву Марию великолепного позолоченного Фрейра, который за ненужностью стоял у дедушки в сарае. Бог света и плодородия превратился в христианскую молодую мамочку. Фома без памяти в Неё влюбился – будучи в Упсале, навещал каждый день, дарил цветы и деньги, когда никто не видел, целовал торчащие

из-под платья ступни сорок пятого размера, которые халтурщик Фроди не стал переделывать.

Пречистая ждала своего Горбатого. Крестоносец благоговейно набросил Ей на плечи чудесный карельский плащ и охнул: показалось, что Она кивнула ему и покраснела от удовольствия.

Руна четвёртая. Фома добывает клыки святителя

Медведица тяжело болела, засыхала, словно вырванный с корнем цветок. Родная карельская земля питала её жизненной силой, шла через пятки к сердцу. В шведском же королевстве вода была с ржавчиной, воздух отравлен вонью гнилой селёдки, дом Фомы при его внушительных размерах казался тесной клеткой.

Маленькая Трин тянула мать за руку: «Мама, пора вставать! Поравставай, мама!» У Медведицы не было сил вылезти из кровати, она больше недели ничего не ела.

Горбатый крестоносец от беспокойства места себе не находил: он обещал упсальским и сиггунским ткачам мастер-класс от заграничной мастерицы, даже собрал деньги и уже пожертвовал их любимой своей скульптуре, а Медведица чахла и могла в любой момент помереть с тоски по сыну и своим Нуолям.

Помолившись, Фома отправился на Пещерный остров, где, по слухам, жил знаменитый целитель, грек, который владел пятью клыками Николая чудотворца, прятал их в секретном месте, доставал в случае крайней необходимости и использовал в медицинских целях. Фома надеялся, что зубы святого спасут больную женщину.

Фома одиноко плыл в ладье два дня и две ночи. За бортом резвились треска и селёдка, подводные нехристи корчили рожи и показывали языки. На закате солнце опускалось до горизонта и тут же ползло обратно в небо.

На острове крестоносец долго тыркался по диким пещерам, прежде чем нашёл целителя. Судя по всему, в них когда-то жили колдуны, великаны и драконы: стены были покрыты непонятными знаками и рисунками. То ли воины, то ли охотники стояли возле невиданных зверей. У их ног бегали с копьями маленькие человечки. На самом верху под мокрым сводом пещеры Фома заметил страшные борозды на камне, явно следы когтей. Что за чудище могло

их оставить? Холодная капля упала на лоб. Крестоносец вздрогнул – за спиной послышался треск. Постепенно привыкшие к темноте глаза заметили ещё один рисунок. «Езус Кростус!» - простонал Фома: на ровной стене красным цветом был намалёван кто-то невероятно на него самого похожий: в профиль, с горбом, мечом, воздетыми руками. У ног наскального Фомы бегали и куда-то уплывали в лодке маленькие человечки, а рядом стояло горбатое чудо-юдо с рогом на лбу. Крестоносец вглядывался в свой портрет и понять не мог: зачем дурак-художник нарисовал два меча – один в руке, другой в ножнах? Вдруг до него дошло, что не меч это у пояса, а вздыбленный причиндал.

Крестясь и шепча молитву, Фома вышел на свет божий. Солнце припекало, гудели насекомые. Рыцарь лёг под куст и заснул. Ему приснился его предок, тоже горбатый. Он важно ходил и отдавал приказы низеньким человечкам. Вздвигал на высокие камни и звал воздушных женщин. С ним дружили два ворона, они тоже призывно каркали: «Ррр-ота! Трррруд!» И чувствовал крестоносец Фома, что этот древний воин-колдун – он сам, причём очень сильный и счастливый. Вместо Роты и Труд явилась Ингегерд – весёлая, здоровая забралась к Фоме на скалу. Море так блестит, что глаза слезятся. Крепкий ветер бьёт в грудь. Горбун обнимает женщину, плачет от радости, чихает и просыпается.

Фома нашёл грека по дыму костра. Тот жил в землянке в удобнейшем месте: с одной стороны тихая бухточка, с другой ягодное болотце. Отшельник коптил рыбу.

Грек сказал, что так оно и есть, не брешут люди, вот у него в мешочке зубы великого чудотворца, самого Николая Мирликийского. Ткачиху вылечат тридцать три восковые горошины, которые полежат пару дней в мешочке с зубами:

- Собственно они там уже есть, сотня горошин, лежат неделю, Святым Духом успели пропитаться. Сам ими лечусь от ревматизма. Их надо есть тридцать три дня по одной перед завтраком.

Рыцарь приказал раскрыть мешочек. В нём действительно были зубы и белые шарики.

- Вот, можете проверить, пять святых клыков, всё без обмана. Они мироточат, понюхайте!

Зубы пахли мёдом.

- Откуда они у тебя?

- Это грустная история. Зубы мне достались от брата Акакия. А к нему они пришли от брата Луппа, который был хранителем гробницы Николая Чудотворца в Мире. Давно это было. Свиньи из Бари украли мощи нашего святителя. Монахи хотели им воспрепятствовать, была драка. Барийцы вцепились в руки и ноги, наши пытались отстоять голову, но не получилось, силы были неравные. Во время потасовки голова несколько раз падала, челюсть треснула и чудесным образом по Божьему повелению у святителя выпали клыки. В них гораздо больше силы, чем в других мощах, сами увидите.

Брат Лупп зубки подобрал, положил в коробочку, в келье под подушку спрятал. И правильно сделал, потому что вскоре за барийскими свиньями пришли свиньи венецианские, сунулись в гробницу и все оставшиеся мощи до косточки подобрали.

Лупп хранил зубы Николая в потайном месте, не раз попадал в лапы к злодеям, которые подозревали, что он знает, где находятся выпавшие клыки чудотворца. Его и пытали, и золотом старались подкупить, но ничего не добились. Будучи уже глубоким стариком, брат Лупп передал зубы брату Акакию на хранение, а тот перед смертью – мне, с наказом увезти их в дальние края и спрятать в надёжном месте. Так я очутился здесь, на диком острове. Я жив – и это доказательство великой силы чудотворных клыков. Без них я бы давно умер от голода и холода в вашем королевстве.

- Как же они тебе помогают?

- В морозы я ношу на шее этот мешочек с зубами, они меня полностью согревают. Когда проголодаюсь, кладу один клык под язык, и тут же мой желудок наполняется кашей и пирогом. Если есть силы, сам добываю пищу, чтобы святого лишней раз не беспокоить, у него ведь и без меня дел хватает. Так что, не злоупотребляю. Ловлю и копчу себе рыбку. Грибочки жарю. Тон артонимон тон эпиусион досимин симерон! Видите, сударь, какой я плотный? Это всё зубы святителя Николая. Вот вам тридцать три горошины, будьте здоровы, не простужайтесь.

- Что это ты пробормотал?

- Это слова молитвы. Я с вами говорю на вашем языке, а молюсь на своём родном.

- Кто разрешил тебе неправильно молиться?

- Это язык Николая Чудотворца.

- Не нужен мне его язык. Подавай-ка зубы!

Горбатый Фома отнял у целителя мешочек с мощами и шариками и, довольный, отправился домой спасать Медведицу.

Руна пятая. Фома исцеляет карельскую ткачиху

С клыками святителя крестоносец спешно грёб к Упсале. Погода стояла прекрасная, был полный штиль, парус безвольно висел: «словно хозяйство архиепископа» - вертелось в Фомушкиной голове, и он мотал ею, отгоняя бесовские наваждение. Обходя подводные камни, ладья скользила вдоль шхер по тихой воде. Чайки, защищая свои гнёзда, налетали на Горбатого и норовили клюнуть в макушку. Было жарко – то ли от палящего солнца, то ли от зубов Николая, которые хранились под рубахой в мешочке среди слипшихся восковых шариков.

Рыцарь думал о пещерном рисунке. Кто эти горбуны – воин и однорогий зверь? Имеют ли они отношение к нему, крестоносцу Фоме?

Фома стал горбатым примерно в то время, когда на его щеках и подбородке стали пробиваться редкие волосины. Вдруг его позвоночник поехал куда-то в сторону и начал странно перекручиваться. Спина ныла, каждое движение причиняло страдание. Долгое время Фома провёл в постели. К двадцати годам его горб прекратил увеличиваться и будто окаменел. Боль перестала терзать Фому - то ли сама по себе утихла, то ли он научился её не замечать. Природа наградила его исключительным ростом: имея согбенную спину, он был на голову выше других.

Из семейных легенд Фома знал, что горб – наследственный: от сотворения мира он время от времени выскакивал на спине какого-нибудь предка. У бабушки вырос горб, когда она была уже старая и нянчила внучка Фомушку. После работы на огороде всё её тело болело. «Кол в спине! Кол в спине!» - вопила она вечером, но на следующий день всё равно ползла на клумбы и грядки, хотя смысла в этом никакого не было: во-первых, овощи на рынке продавались совсем недорого, во-вторых, в доме имелась прислуга. Но бабушка упрямо сама пропалывала садовую землянику, ухаживала за цветами, подвязывала горох, прореживала укроп, редиску, таскала ведра с навозной жижей. Ей необходимо было возиться с землёй.

Земля отбирала у бабушки силы физические, но при этом давала мощь духовную. Бабушка имела непростой характер, крутой нрав и большое сердце. Карельская ткачиха была чем-то на неё похожа.

Фома решил, что пещерный, красным намалёванный горбун – такой важный, вооружённый - вполне мог быть его древним дедушкой. Правда, смущал гигантский отросток и не нравились бесовские знаки - все эти таинственные колёса и переплетённые дразнящие языки.

- Неужели я смог заглянуть в прошлое и увидеть моего прародителя? Во что он верил? К чему стремился? Где он сейчас? Могу ли я за него помолиться? – думал Фома. - Он был вождём, его почитали и боялись. Он поклонялся дьяволу - одноглазому бродяге-пьянице - и множеству мелких бесов. Приносил им кровавые жертвы: ловил всех этих человечков, резал им глотки и развешивал на ёлке вниз ногами. Что ж, и я так делаю, - но во имя чего? Во имя Святой Церкви. Дедушка ничего не знал о христианской любви и всепрощении, поэтому сейчас, конечно же, варится в котле. Господи, избави нас от адского огня и приведи в рай все души!

Вечером, устав грести, Фома причалил к берегу с кострищем и тёсаным бревном, отполированным задами усталых путников. Хотелось есть, а хлеб весь кончился. Рыцарь достал из мешочка зубы святителя. Пять крепких, пощажённых временем, не тронутых гнилью клыков. Фома взял один и пихнул себе под язык: «Святой Николай, пошли мне селёдочку с душком и молоками, как я люблю, аминь!» Рыцарь преклонил колени перед воткнутым в землю мечом. Его рукоятка отбрасывала длинную крестообразную тень на восток. Прилетевший с моря ветер трепал космы Фомы, оведал обгоревшее горбоносое, покрытое преждевременными морщинами лицо.

В какой-то момент Фоме почудился запах съестного, но он быстро улетучился. Ничего не происходило. Желудок был совершенно пуст. Фома жарко молился святителю, но безрезультатно. Затошнило от голода. Может, чудотворец обиделся, что его зубы отняли у грека? Но ведь в Упсале, в надёжных руках сына Римско-католической церкви они будут в большей сохранности!

- Святой Николай, помилуй меня, бедного мореплавателя! Ничего с твоими зубами не сделается! Как же было не забрать их у византийца поганого? Греки хлеб квасной жрут во время жертвенного таинства. Попы топчут Тело

Христово, с бабами целуются и не признают удавленнику... А может, грек подсунил мне фальшивый зуб? Попробовать, что ли, другой?

Порывшись в мешочке, рыцарь достал прочие клыки, выбрал самый ровный, без щербинок, сунул под язык и тут же по пищеводу в страдальческий желудок потёк горячий суп со шкварками. Насытившись, Фома взял следующий зуб, и опять сработало – живот распёрла томлёная рулька. Прочитав благодарственную молитву, отлив, почистив зубы, рыцарь блаженно вытянул ноги. Все его мысли были с Господом, Пречистой и Медведицей. В кустах блестели глаза зверей, собравшихся посмотреть на спящего человека.

Утром Фома испытал оставшиеся клыки святителя Николая. С третьего поимел любимую свою освежающую тюрю на кислом молоке с лучком, сухариком и ошпаренными листьями щавеля и смородины. А четвёртый подарил ему воспоминание о бабушке – в желудке стопкой улеглись оладьи с яблочным вареньем. Фальшивый зуб Фома швырнул в кострище и поспешил в Упсалу спасать больную Ингегерд. Судя по всему, этот клык тоже был настоящий, только бракованный и не всегда работал, ибо следующей весной на месте кострища люди увидели роскошное персиковое дерево, покрытое цветами. В связи с этим поразительным явлением, возможно, знаком свыше, на берегу была построена часовня святого Николая – покровителя путешественников. И никто не знал, что под алтарём в земле лежит клык самого чудотворца.

Фома мощно грёб, огибая шхеры, не обращая внимания на мозоли, вскочившие на ладонях. В заводях распустились дивные кувшинки и кубышки, среди них плавали пушистые утята со своей мамочкой. Фома нарвал цветов, завернул в мокрую тряпочку. Днём подул ветер, рыцарь поднял парус и на закате был уже дома. Ничего никому не сказал про святые зубы, тихонько сунул один клык Медведице под подушку, в руки ей вложил букетик, преклонил колени и слёзно помолился. На следующий день женщина пошла на поправку.

Руна шестая. Фома рубит голову злой мельничихе

У Фомы на дворе был курятник. В те редкие времена, когда рыцарь спокойно проживал в Упсале, а не шатался по

чужой земле, укрощая язычников, его будил звон колокола и бодрый крик петуха. Чтобы пленница поскорее встала на ноги, Фома каждое утро собирал яйца и самолично жарил для неё омлет.

- Ингегерд, надо поесть.

- Фома, зачем я тебе? Отвези меня домой, в этой стране я теряю силы. Мне нужна моя земля, понимаешь? И мой сын Чудик.

- Я вернусь в Нуоли, привезу тебе Чудика.

- Он убежит, не дастся тебе в руки.

- Ешь, Ингегерд. А вот Трин здесь хорошо, слышишь, она с девочками разговаривает? Смеются! У неё две подружки постарше, они за ней проследят. Я дал им деньги. Они пойдут на площадь и купят себе всё, что захотят. Со скидкой! Ингигерд, я Божий воин, уважаемый человек и могу отрубить голову. Меня все боятся. Трин получит в лавках лучшие товары. Она будет счастлива, как принцесса, потому что люди знают, кто я такой.

Фома был прав – в Упсале все от него шарахались. Когда он въехал в город на белом коне, держа перед собой хорошенькую Трин, народ решил, что это его дочка.

- Ты должна вылечиться, чтобы ехать в Сигтуну. Там тебя ждёт сотня ткачей, пряжа готова, станки заправлены. Пора делать плащи.

- Пускай сами делают.

- Они не умеют. Нужны непромокаемые, непробиваемые, как у тебя.

- Кто сказал, что мои плащи непробиваемые?

- Я говорю! Я видел собственными глазами, что топор отскакивал, словно от камня.

- Фома, тебе померещилось.

- Ингегерд, возможно, ты сама не знаешь силу, которую тебе даровал Господь. Ты милостью Божьей мастерица. Пречистая в сумерках над тобой летает и за тебя молится.

- Фома, а может, это колдовство? Может, это покойная бабка моя, Жила Косолапая по ночам вылезает из-под кровати и шепчет мне на ухо заговоры на крепкую ткань?

- Не говори так, Ингегерд. Пречистая улыбнулась, когда я накинул на неё твой плащ. Лопни мои глаза!

- Отруби мне голову!

Божий воин размазывал слёзы и сопли. Он и сам уже не понимал, что ему нужно от жизни – чудесные плащи карельской ткачихи, которыми можно согреть деревянных и каменных святых, или же она сама – молодая, красивая,

имеющая свою тайну, особую женскую силу и притягательность.

На улице, где жил Фома, было два больших дома – его собственный, из песчаника, доставшийся от отца, и мельничихин – двухэтажный, сложенный из мощных брёвен, окружённый множеством хозяйственных пристроек: амбарчиков и сараев. Мельничиха сколотила состояние на соли – не местной, серой и мелкой, а заграничной, которая была белая, как ляжки королевы. От заморских купцов она получала специальную крупную соль, похожую на горные кристаллы, её добывали в Тулузском графстве, на прудах, где гуляют длинноногие птицы с розовым оперением.

У мельничихи была своя соляная фабрика. Несколько мельниц разной конструкции с разными жерновами намальывали кучу дорожкой соли для самых разных нужд – для еды, для умывания, для лечения, для красоты. Под строгим мельничихиным надзором работники с утра до вечера что-то толкли, заваривали, процеживали, прокаливали. Соль была розовая, жёлтая, красная: мелкая, как пыль, средняя – кристалликами, крупная – царапала язык.

В лавке у мельничихи протянулись длинные полки с коробами, склянками, жестянками, в которых была соль разных цветов и ароматов: синяя с добавлением высушенных и истолчённых цветков льна и василька, зелёная с хвоей, горькая фиолетовая – по секретному рецепту из тополиных почек, самая дорогая, «от нервов», её поставляли архиепископу. В ассортименте были представлены также соляные масла и растворы всех цветов радуги и запахов – простых и экзотических.

Под прилавком у мельничихи имелись опасные порошки и микстуры, в них соль была смешана с ядами. Соль со шпанкой на кончике ножа служила приворотным зельем, десертная ложка без горки могла убить за сутки – просто всыпьте в брусничный пирог, только сами не съешьте. Про товар под прилавком знали лишь постоянные покупатели и «друзья дома».

Кроме соли, мельничиха продавала стишки про любовь: их привозили с «белым золотом» те же заморские купцы, а переводил грамотный служака одного нарбоннского сеньора, зависшего в Упсале по каким-то своим, то ли сердечным, то ли коммерческим делам. Иногда к стишкам прилагались ноты, и можно было петь:

*Дева, в вас видна порода,
Одарила вас природа,
Словно знатного вы рода,
А совсем не дочь мужлана;
Но присуща вам свобода?
Не хотите ль, будь вы подо
Мной, заняться делом рьяно?¹*

Стишки переписывали и продавали за звонкую монету там же – в соляной лавке. Некоторые образцы трубадурской поэзии прилагались к определённому виду соли. Например, стихи о Даме хорошо сочетались с земляничной, раствор с мужественным запахом кожи и дёгтя прекрасно подходил к теме путешествий и пилигримов.

Предприимчивая мельничиха прекрасно вела торговлю, однако пробуксовывала как мать. Её единственный сын Угги был пьяницей и бродягой. Она совершенно им не интересовалась и умно, без ссор и скандалов, поставила дело так, что ему было неприятно находиться в собственном доме. Мельничиха хотела быть Прекрасной Дамой, всех поражать красотой, умом и всяческими талантами. Она завела у себя салон, там принимала мужичков: интеллектуалов, романтиков и поэтов. Угги с горечью вспоминал, как, маленьким, дни напролёт бродил по улицам, пока мать со своим носом уточкой, поджатыми губами и поросячьими глазками изображала «прекраснейшую в земной юдоли». «Сынок, иди погуляй!» Она его не любила, он ей мешал высказываться с важной рожой о готском алфавите, руническом письме и политике покойного короля Эрика. Угги чувствовал себя брошенным, никому не нужным. С досады дёргал щекой, заикался и втихаря поджигал вокруг города сухую траву. Люди прозвали его «отмороженный».

Фома мучился мигренью и ходил к мельничихе за крепким соляным раствором, настоящим на мяте. Когда боль сжимала голову, словно обруч пивную бочку, а перед глазами летали жирные слепни, рыцарь нюхал его, втирал в виски и в шею под затылком. Отправляясь в поганые земли нести слово Божие, Фома всегда брал с собой запас целебной соли.

¹Маркабрюн, отрывок из «Пастурели, в которой сеньор облазняет пастушку, но та защищается с большим достоинством и искусством». Перевод А. Наймана

Всю жизнь Фома сторонился женщин – в юности стеснялся своего горба, считал себя уродом, в зрелом возрасте возникли другие интересы: захотелось увидеть дальние страны, помахать мечом, освободить Гроб Господень. Правда, епископ не благословил Фому на Палестину, пришлось разбираться с карельскими и русскими сельджуками. В молодые годы Фома из антропологического интереса пару раз заглянул мельничихе под юбку, но свататься не захотел, не зажгла она его, остался равнодушен. Вскоре мельничиха вышла за престарелого богослова, тот через полгода женатой жизни помер, оставив её вдовой с хорошим начальным капиталом, младенцем мужского пола и запасом тем для умных разговоров. При встрече Горбатый раскланивался с мельничихой, даже отпускал неуклюжие комплименты, но не по старой памяти, а за соль: его здоровье зависело от лекарств соседки.

До знакомства с нуольской ткачихой Фома был влюблён только в одну женщину – в свою деревянную Пречистую. Обожал её, как бабушку и как маленького ребёнка, хотел защитить, порадовать, побаловать – цветочками, нежным словом, слёзной молитвой, языческой кровью. Из любви к Пречистой Фома смирял свою плоть веригами и власяницей. Крестносец полагал, что Богородица прекрасно осведомлена обо всём, творящемся в его штанах, а стояк ей оскорбителен. Почувствовав, что тело становится «слишком тёплым», натягивал на свой бедный горб и плечи фуфайку из козьей шерсти. Она жутко колола кожу, и возбуждение проходило. Летом мучимый похотью рыцарь уходил в заросли иван-чая - «к комарикам». Облепленный кровопийцами, страдальчески смотрел на закат, шептал молитвы, возвращался домой тихий, спокойный, с раздувшейся физиономией.

Когда Пречистая улыбнулась, получив в подарок карельский плащ, Горбатый решил, что ей пришлось по нраву Ингегерд, и он может, наконец, позволить себе нежное чувство к земной женщине.

Ну, а мельничиха была по уши влюблена в Фому, правда, виду не подавала - терпеливо ждала, когда рыцарь покрестит всех язычников, отрубит им головы, сожжёт их дома и вернётся, наконец, в Упсалу, чтобы зажить спокойной размеренной жизнью. Тогда можно было бы с помощью шпанской мушки на кончике ножа завоевать его и склонить к совместной жизни. Появление карельской

ткачихи поразило интеллектуальную мельничиху до глубины души: как, Фома, нетерпимый фанатик, отдал своё сердце полудикой бабе, которая поклоняется духам леса и – нет сомнений! - приносит в жертву краденых младенцев? Даже если она приняла святое крещение – всё равно ведь возьмётся за старое: напустит порчу, засушит душу и тело.

Каждый день Фома заходил в соляную лавку за целебными растворами для Ингегерд. Щедро расплачивался, говорил, что снадобье прогоняет недуг.

С горя мельничиха завела себе любовника. Им стал Ион - оруженосец Горбатого. Ион был простой, бесхитростный парень, заботился о хозяине и его коне, привязался к маленькой Трин. Мельничиха давала Иону деньги - много денег, выпивки, еды и красивой одежды. Она нашёптывала ему гадости про Ингегерд и Трин (колдуньи, чужие, нехорошие), ночью, пьяный, он с ней жарко соглашался и даже обещал удавить обеих, однако утром его воинственное настроение улетучивалось вместе с хмелем, он шёл к Горбатому, целый день был у него на посылках, возился на конюшне, болтал с ткачихой, которая встала уже на ноги и ходила тихонько по дому и двору, с удовольствием играл и гулял с Трин и её подружками. Вечером возвращался к мельничихе, она шипела и плевалась от злобы, но кормила его, поила, одаривала, снова клеветала, внушая ненависть к любимым женщинам Фомы.

Ион постепенно развращался и опускался, на хозяина работал спустя рукава. В конце концов Горбатый прогнал оруженосца. Они больше не были нужны друг другу. Фома с тех пор, как карельские женщины оказались в его доме, завязал с походами, подуспокоился насчёт язычников. Меч стоял в углу за кроватью, там же были свалены латы - ночью поблёскивали при лунном свете. А у Иона денег стало хоть отбавляй, горбатиться на Горбатого не было необходимости - он крепко засел у мельничихи, жирел и спивался. Старой греховоднице было выгодно, что парень отвык работать и бездельничает: теперь она крепко держала его в сетях – не романтических чувств, не страсти нежной, а заурядной финансовой зависимости. Иногда пьяный Ион пытался сбежать от мельничихи – прищпоривал коня и с гиканьем носился по улице, сшибая всё на своём пути. Неоднократно под копыта попадали люди, погиб крестьянский ребёнок, калекой стал кузнец – добрый мужик, у которого Горбатый чинил своё

снаряжение. Пьяница оставался безнаказанным - мельничиха знала, кому в городской управе отвалить денег.

Когда Ингегерд выздоровела, Фома предложил ей поискать для себя и Трин самую удобную комнату в его большом доме (болела она в тесной спальне). Ткачиха выбрала светёлку под крышей – оттуда был вид на город и дальний лес, за который садилось солнце. Она пришла туда с тряпкой и веником, чтобы вымыть пол и смести пыль, задумалась, глядя на полыхающий закат. Послышался шум: кто-то бежал, возился под кроватью. Показалась мышка с крошечным мышонком в пасти, посмотрела на Медведицу и кинулась в дальний угол за сундук. Через минуту снова появилась, юркнула под кровать и выглянула со следующим мышонком. Ей было очень страшно, но надо было спасать детей от чудища, которое вторглось в мышиное королевство. Третий, четвёртый, пятый!

- Ты хорошая мать! Не бойся! И у меня есть дети.

Медведица скучала по Чудику. Она два раза пыталась умереть – первый раз, когда перестала есть, но Фома сунул под подушку волшебный клык. Второй и последний раз – в лесу: с утра пошла туда с лопатой, вырыла себе могилу, (попутно обнаружила несколько шахматных фигур из слоновой кости), встала ногами на дно и той же лопатой и руками принялась сгребать на себя землю, даже камни пыталась привалить. Полежала немного, начала задыхаться, услышала голос Трин и лай. Голос дочки ей почудился, а собака оказалась настоящая, бездомная, весёлая, с острыми ушами и пушистым хвостом. Мощными лапами она рыла нору в могиле Медведицы, мешая ей умереть.

Когтистая лапа цапнула лицо. Медведица села. Собака возмущённо гавкала – что это ты делаешь? Проводила женщину до дома.

Фома искал Ингегерд во всех комнатах, во дворе, в подвалах. Увидев её грязную, с лопатой, с разодранной щекой, с бродячей собакой, ничего не понял, кроме того, что всё очень плохо. Горбатый пошёл к мельничихе, велел всем выйти вон, самолично перемолол с солью четыре зуба святителя, сыпал святое снадобье в коробочку, дома замесил с ним тесто, которое, подходя, сильно запахло

мёдом, испёк колобок, дал его возлюбленной. Женщина попробовала колобок и, не удержавшись, съела до последней крошки – такой вкусный оказался. На следующий день карельская ткачиха, взглянув на Фому, увидела не злющего горбуна, а благородного рыцаря с красивым лицом и пламенным сердцем.

Почему святая вода жгла Медведицу, а зубы Николая Чудотворца лечили? - спросите вы. Не могу ничего сказать, сама удивляюсь. Может, какая-нибудь ведьма перед крещением испортила воду, и примеси выпали в ядовитый осадок. А может, священник, который над ней бормотал, был таким страшным грешником, что Благодать Святого Духа затормозило.

С благословения архиепископа Фома собрался тихонько отвести ткачиху под венец – в расшитом золотыми нитями платье цвета варёного щавеля, без лишних глаз, без свадебной пирушки с танцами и пьяными гостями. Был в себе не уверен, с завистью вспоминал пещерного дедушку. Отправился к мельничихе за специальным снадобьем – у неё была целая полка солёных афродизиаков. Узнав, что Горбатый женится на карельской бабе, мельничиха обезумела от гнева и обиды. Она дала ему сильнодействующий яд, сказала всыпать в бобовую тюрку и съесть перед сном - только вместе с молодой женой, иначе не сработает. К отраве бонусом выдала стишки в рамочке – в спальне повесь:

*Искоркой Любовь сначала
Тлеет в саже, от запала
Сушь займётся сеновала:
- Разумей! –
И когда всего обстало
Пламя, гибнет ротозей.¹*

«Яд выжжет вам обоим кишки, - думала злая мельничиха, - а я Прекрасная Дама, у меня молодой любовник, завидуйте все!»

Связавшись священными узами брака, ротозей сварил бобы, накрошил туда лук, сунул хрен, чесночный сухарик, залил всё квасом, засыпал ядом и поднёс любимой Ингегерд. Обоих спасло звериное чутьё ткачихи, а может, вмешался дух бабки Жилы Косолапой.

- Фома, это отравленная еда!

¹Маркабрюн. Песня о превратностях любви. Перевод А. Наймана

На улице послышалась пьяная песня Йона. Горбатый вынес бывшему оруженосцу плошку с тюрей:

- Отведай, сегодня я женился на Ингегерд!

- Счастья вам желаю, сударь. У вас супруга расчудесная, дочечка маленькая, сладенькая и ещё детишки народятся. К вам Господь милостив, потому что вы прирезали тысячу тёмных язычников и двадцать бочек с золотом привезли в Его дом на корабликах. А я чем порадовал? Да ничем. Вкусная тюрька. Да благословит вас Бог. Я никто и звать меня никак. Правда, выпотрошил наглого Кулотку. Но этого недостаточно. Нужно пролить реки поганой крови, чтобы красавицу жену по милости Божьей получить. Дурак ты, Йон. Зачем ушёл от рыцаря? Зачем связался со старухой? Иди, иди к ней. Это она подговорила тебя ко всему плохому. Привык к роскошной жизни. К блинчикам привык. Теперь ты у старухи на коротком поводке, никуда от неё не денешься. Ждёт она тебя со своими стишками и блинчиками, а под юбкой у неё воняет тухлой рыбой.

Вздыхая и бормоча, на ходу подбирая ложкой отравленную тюрю, Йон пошёл к дому мельничихи.

- Подождём до завтра, - сказала Ингегерд.

Утром стало известно, что оруженосец скончался в мучениях. Без суда и следствия Горбатый отрубил мельничихе голову.

Руна седьмая. Чудик знакомится с Угги

Прошло десять лет. Чудик, сын Медведицы, вырос крепким парнем, ловким охотником. Он был хитрый, доброжелательный и старался дружить со всеми: со своими нуольскими соседями, с новгородскими и шведскими купчиками, с попами, с крестоносцами, которые шатались по карельской земле, сами не зная, что им нужно – всех правильно крестить, взять, что плохо лежит, с девушкой обняться или пива напиться.

Чудик помнил, как дважды избежал крещения, спрятавшись от Кулотки, а потом от Горбатого, и совершенно об этом не жалел. Ни в какого Христа он не верил, у него были свои заступники и авторитеты, например, сосна на скале. Это дерево пробило корнями гранит и брало жизненные силы не из земли, а из камня. Чудик обнимал сосну, она делилась с ним своей мощью.

Как-то Чудик сидел на берегу озера и жарил окуней. В волосах жужжали запутавшиеся мухи и комары. Стволы сосен были красные от закатного солнца.¹

- Хэй! – к нему по пружинящему черничнику подкрался дядька с синими глазищами и сальными жёлтыми волосами. На нём была кожаная безрукавка, шею грела лисья шкура с пышным хвостом. У пояса короткий меч.

- Что ты здесь делаешь? – судя по выговору, дядька был не местный.

- Я на своей земле ем свою рыбу. А вот ты что тут забыл? – Чудика стало не по себе. Дядька выглядел странно – губы кривила загадочная полуулыбка, глаза ничего не выражали, точнее, не выражали то, что можно было бы понять, в них была мысль о чём-то, Чудика недоступном.

- Ты здесь один?

- Тебе-то что?

- Я смогу поговорить с тобой по душам? Нам никто не помешает?

- Помешает! – Чудик совсем занервничал. У него не было при себе никакого оружия, только маленький ножик, а вот гость, судя по всему, неплохо махал мечом. – Сейчас придёт Зюзьга!

- Это твой брат?

- Нет. То есть да! Это мой старший брат.

- Где он?

- Пошёл уток бить. Он отлично стреляет, далеко и метко.

- Сильный?

- Очень. Он крутильщик бревна!

- Это как?

- Ну, берёт бревно и крутит – на спине, на шее. – Чудика очень хотелось, чтобы дядька ушёл. И он страшно жалел, что нет у него заступника – старшего брата Зюзьги.

- Можно, я тут с тобой посижу, подожду его.

- Ну, посиди. Сам-то кто?

- Упсальский я, отороженный.

- А здесь что делаешь?

- Так, погулять вышел. Это твои удочки? – у Чудика был их десяток, разной длины, с разной наживкой.

- Мои. И Зюзьгины! Хочешь попробовать, пока клюёт?

- Да не умею я. А что за леска?

¹ Здесь повествование является ремейком рассказа Юрия Коваля «Ножевик»

- Лучшая, из хвоста сивого мерина, её рыба в воде не видит. Насадить тебе шитика? Что тут сложного...

- Спасибо, я не справлюсь. Только сломаю вам удочку.

Судя по всему, упсальский рыцарь-бродяга не собирался резать Чудика, во всяком случае, до ужина. Он поглядывал на румяных окуней и глотал слюни. Чудик дал ему рыбу.

- Только соли нет.

- Есть соль.

Дядька достал из сумки коробочку с фиолетовой солью.

- Это память о матери. Горькая соль, как и моё детство, как и вся моя жизнь. Мать меня не любила. Мне достался от неё большой дом, но даже не хочется там жить, его нанимают чужие люди. Я хожу по свету, мне не сидится на месте. Вкусная рыба. А хлеб у тебя есть? Благодарю. Вообще-то я богатый человек, но сейчас не при деньгах. С матерью мне не повезло, это была холодная, развратная, расчетливая женщина. Но всё же она меня родила, грудью кормила. Я желал бы отомстить за её позорную смерть. Представляешь, ей средь бела дня отрубили голову.

- Кто? Зачем?

- Её соседка, гнида Горбатая.

- Как ты сказал? Горбатый?

- Фома Горбатый отрубил матери её злущую голову. За то, что она хотела отравить его с молодой женой в день их свадьбы.

- Послушай, а ведь и я должен отомстить Горбтому. Он украл мою мать Медведицу и младшую сестру. Если это тот Горбатый, что крестил вслед за Кулоткой наши Нуоли. Нас ведь два раза крестили: онежские, потом ваши, упсальские.

- Тот самый. Пойдём, замочим его вместе. Привяжем к коням и поскачем в разные стороны. Я много лет вынашивал планы мести, но не решался сводить с ним счёты, всё-таки он воин и неплохо владеет оружием. Правда, сейчас он почти старик и, по слухам, живёт спокойной жизнью, в драки не лезет. Самое время проколоть ему шею.

- Неплохая идея. Мне бы маму найти.

- Ну, где же твой старший брат? Позови его! – дядька вперил в Чудика свои странные глаза и тронул рукоятку меча.

- Зюзьга! – закричал Чудик. К его удивлению, кто-то ответил с другого берега: «У-у! Иду-у!»

- Там много уток. Пусть охотится. А меня зовут Угги.

- Я Чудик.

- У меня тоже есть старший брат. Он всегда со мной. Защищает, даёт мудрые советы. Мой Христорбатец.

- Христо кто?

- Христорбатец.

- Христос?

- Нет, Христос это другое. Христос высоко на небе, а это мой родной Христорбатец. Всегда где-то рядом ходит, но другим старается не попадать на глаза. Когда надо, появляется и со мной разговаривает.

- А когда надо?

- Когда мне грустно или я чего-нибудь не понимаю. Впервые он ко мне пришёл в моём детстве. Мне было лет восемь. Мать сказала идти гулять. Она ждала гостей, меня стеснялась и просто-напросто выгнала из дома. Я долго бродил по улицам, начался дождь. Я спрятался в нужнике и там заснул. А когда проснулся, рядом стоял Христорбатец. Он отвёл меня домой, гости уже разъехались, мать заперлась в своей комнате, про меня вообще забыла. Смеялась там с кем-то. Можно я у твоего костра переночую? А завтра пойдем собирать людей в поход. Фома сейчас живёт в Сигтуне. Там его жена учит наших ткачей делать волшебную одежду. У неё есть дочка из прошлой жизни и два сына-близнеца от Фомы. Не ваша ли это с Зюзьгой мать? Надо поспать. У меня боли в спине. Отдохнём и в поход. Я поведу войско в Сигтуну, порвём Горбатого, заберёшь свою мамочку. Итак, цель поставлена. С этого часа мы - походники.

Угги задремал. Чудик, поражённый всё́м услышанным, долго смотрел на пляску огневушек, потом тоже уснул. Над озером встал густой туман, в нём кто-то тихо вздыхал и похрюкивал. Из кустов вышел Христорбатец. Поворошил тлеющие угли. Сел рядом с Угги. Тот застонал во сне. Христорбатец принялся тереть ему больную спину.

Руна восьмая. Чудик отправляется в Сигтуну

Чудика разбудили лучи солнца – слепили глаза, щекотали нос, играли в листве ивы, под которой заснули «походники». Угги спал, страдальчески скривив полуоткрытый рот. Дерево роняло на него жёлтые лодочки. Он был старше Чудика, но выглядел не мужественно, было в нём что-то жалкое, детское. При этом, он, несомненно, отличался ловкостью, выносливостью: Угги любил

рассказывать о своих удивительных похождениях и с гордостью заявлял: «Я – выживатель!» Куда его только не заносило! И по альпийским ледникам гулял, и в Средиземном море купался.

- А у вас я уже два года походничаю, дошёл до Новгорода, во славу Божию зарезал трёх игуменов, спалил мост и церковь Благовещения.

- Мост-то чем помешал?

- В Новгородской змей по воздуху летал, рожь не уродилась, хлеб подорожал в три раза - купцы цену взвинтили, зерно по шесть гривен за бочку втюхивали. В Упсале у меня большой дом материнский и сундук серебра в надёжном месте. А здесь я – рыцарь бедный. Не могу хлеб втридорога покупать. Раз иду, вижу - бочки через мост катят. Я психанул, подпустил красного петуха. Народ разбежался, зерно в Волхов полетело... Потом затмение было страшное, солнце скукожилось и исчезло, все кинулись в церковь. Понял я, что Господь мне знак даёт, и поджёг траву. Люди выбежали, церквушка – дотла.

- В церкви же Христос сидит. А ты Его подпалил. Не боишься, что обидится?

- Там у них дьявол сидит. Они неправильно молятся, и гореть им в аду. А тебе лучше помалкивать. А то отрублю голову. Я же отмороженный.

- Не дурак, понял.

- А до этого в наших, свейских землях походничал. Бил язычников на торфяных болотах, на гранитных скалах. Они в свои поганые праздники знаешь, что делают?

- Пиво пьют? Песни поют? С девушками пляшут?

- Ха, не только. Они идолов ублажают кровью человеческой. Это страшное зрелище. Я ходил по их лесам, капищам и священным рощам. Моё сердце не раз сжималось от ужаса. Вот представь себе: ёлка, а на ней висят человечки.

- Живые?

- Мёртвые!

- Зачем же их на ёлку вешать?

- А для красоты. Такое у них чувство прекрасного. И я не мог пройти мимо. Моё естество противилось этой сатанинской мерзости.

- И что же ты делал?

- То, что требует Господь. Деус вульт! Принял надлежащие меры. Я был, конечно, не один. Это здесь я гуляю сам по себе пока что. А там при мне находился отряд

воинов Христовых. Мы мочили всех поганых – поганых мужчин, поганых женщин, поганых псов, поганых лошадей. Разве что поганых детей не трогали – забрали потом с собой в Упсалу. Все трупы по местному обычаю развесили на ёлках. И собак. И даже лошадей! Это было непросто. Ты попробуй на дерево лошадь вкрячить, посмотрю, как у тебя получится. Но мы справились. И детям показали в воспитательных целях – идите, смотрите, такая участь ждёт каждого, кто не любит Всеблагото Творца.

- Страшно-то как. А вот интересно, где кровушки больше льётся – в священных рощах язычников или во время ваших крестовых походов?

- Во время походов. наших ведь тоже убивают. Меня много раз ранило. По головушке попадало, по спине. Иной раз между лопатками как занозит, потом кольнёт – от боли вырубает, просто теряю сознание. Меня Христоратец лечит. Мнёт спину. У него руки мягкие, сильные, мохнатые.

- Зверь что ли? Оборотень?

- Похоже на то. Пару раз приходил в обличье большого барсука. Сидит под кустом, на лбу – белая полоска в темноте светится.

- А так-то на кого похож?

- На рыцаря, а над головой золотая тарелочка летает. Надо бы поесть.

Чудик стал разводить огонь. Угги разделся и полез в тёплую воду. У него действительно тело было покрыто белыми рубцами: не врал насчёт ранений. Одно плечо задралось к уху. Нога прихрамывала.

Мельничихин сын очень быстро набрал отряд для шведского похода – около двухсот человек. Он убалтывал и убеждал в необходимости идти на Сигтуну всех, кого встречал на своём пути. А встречались разноплеменные торговцы, карелы-охотники, новгородцы. Последним он говорил:

- Там много ваших! Ваши торгуют! А их обижают. Я по рядам ходил, ювелирка исключительная, ах, какие цапки из рыжья с синенькими вставками, висюльки с собачками и лошадками, не удержался, купил себе в уши. Зеркала из Холупьего городка, рамы резные – давка, расхватывают! И шикарная пушнина, горностай, белка. У вашей-то кунички выделка лучше. Вот шведы и обзавидовались. Карелы, мужичьё! На ваших женщин залупается Горбатый, а вы

молчите. Вот Чудик. Почему бы ему не отомстить Фоме за мать и сестру? Где они? Надо бы проверить! Фома отрубил моей родительнице голову. Но это, конечно, моё дело, вы тут ни при чём, я сам разберусь. Вообще-то Фома антихрист, его надо сварить на медленном огне.

Мстителю страшно везло: сигтунский поход организовался словно бы сам собой – нашлось множество сильных мужчин, которых достали агрессивные соседи-католики, они были готовы к ответному набегу и, казалось, лишь ждали, когда им скажут «вперёд!», нашлись деньги, чтобы вооружиться и снарядить корабли.

По дороге к отряду примыкал сброд, жадный до лёгкой добычи и приключений, а также приличные люди, которым надо было по делам в Швецию: парни с Готского двора, туристы, желающие осмотреть достопримечательности и развеяться, - они не вникали в грядущие разборки, но щедро вкладывались в общие путевые расходы.

Таким парадоксальным образом крестоносец Угги устроил военный поход карел и русичей на свою родную страну.

Правда, в какой-то момент флот Угги чуть не погиб в бурных волнах у берегов Швеции: крещёные подводники, пронюхав, что сын мельничихи хочет погубить Горбатого, задумали ему помешать и позвали на помощь святого Эразма, нашептали, что в ладьях сидят сплошные язычники и хриstopродавцы. Тот, памятуя, каким мукам предавали его злые люди при поганом Диоклетиане и поганом Максимилиане, согласился всех потопить: для начала устроил шоу со впечатляющей иллюминацией на мачтах и резонансной качкой, затем подогнал шквалистый ветер. Мореплаватели отважно противостояли стихии и святому, но что ты поделаешь с тем, кому на лебёдку внутренности наматывали?

Палубу заливало, Чудика чуть не смыло за борт, Угги бросил ему конец верёвки, подтянул, ухватил за шиворот и попросил прощения за то, что втянул в смертельную авантюру. В общей сумятице появились два незнакомца, Чудик не мог понять – кто такие: один, умный, давал указания, другой, мощный, за всё хватался. Работали слаженно - рубили мачты, непонятным образом перемещались с корабля на корабль, лили в воду тюлений жир, бросали якоря, переводили суда в пассивный дрейф.

- Угги, это кто?

- Так наши Зюзьга и Христобратец.

- Как это? Что это?

- Штормование на якоре. Христорбатец делится опытом с Зюзьгой.

- Я не про это! У меня нет брата!

- Здрасьте, приехали, а кто у нас крутильщик бревна?

- Я его выдумал!

- Видишь, какова мощь твоей мысли. Смотри, Христорбатец молится.

Умный, который руководил спасательными работами, встал на колени, воздел руки и пытался с кем-то договориться. Его заливало водой, качало, в какой-то момент стало рвать, но он продолжал молитву: «Патер меусрекс, винтер бинтержекс! Эне бене ряба, квинтер финтер жаба!» (казалось Чудику). Послышалась святая куролесица – новгородцы просили своих святых послать погоду и помочь прищучить шведов.

Зюзьга отошёл в сторонку, харкал в воду и ругался с подводниками, те оскорбительно жестикулировали зелёными руками и хамили на старошведском.

- Гнилые вонючки! Кто приютил короля Олафа, когда его свои же затравили? Новгородцы! И что? Вы Олафа святым объявили, а православных погаными ругаете. Неувязочка! Где после кончины короля сиротка Магнус проживал? В Новгороде. Кто его усыновил и воспитал? Конунг Ярислейф, если вам это имя что-нибудь говорит.

- Заткнись, сапог с говном! Шитта тебе за воротник! В твоём наплечном глиняном горшке дребезжит сухая кашка! Скажи новгородским заткнуться. Константинополь – отстой! Папа примат! Деум де Део, люмен де люмине резуррекс иттерциадие секундум скриптурас!

- Не больно-то вы в скриптурах разбираетесь, сами не понимаете, что брешете. Сразу видно, что народ неграмотный.

Наконец, до Эразма дошло, что на этих ладьях, кроме пары-тройки тайных мирных язычников, плывут натуральные, хоть и расколотые, христиане. Море успокоилось. Суда взяли прежний курс. Чудик искал Христорбатца и Зюзьгу, но они исчезли.

Угги мучили боли в спине. Чудик не раз задавался вопросом – почему его мамаша хотела отравить Горбатого и Медведицу (если это, конечно, она) в день их свадьбы? Он не видел Горбатого больше десяти лет, но запомнил его лицо и, глядя на Угги, вдруг узнавал резкие черты фанатика, одержимого своей мыслью, своей тайной мечтой. Угги часто вспоминал мать, видимо, он всё-таки

любил её и простил все обиды. Один раз вскользь упомянул отца, который помер от старости, когда сын родился. Чудик боялся делиться с Угги своими смутными сомнениями насчёт его происхождения – психанёт ещё и отрубит голову.

Ночью, овеваемый морским ветром, Угги лежал в гамаке. Сон не мог к нему прилепиться. Обычно, когда бессоница мучила, Угги считал звёзды Млечного пути - на двадцать пятой глаза смыкались, и дрёма тёплой волной окатывала тело, но в этот раз не помогало. Рядом на лавке похрапывал Чудик. Скучающий Угги дёргал товарища, приставал к нему с разговорами.

- Чудик, а есть ли у тебя душенька?

- Есть одна в Нуолях, может, женюсь на ней, когда вернусь. Если дождётся. А ты любишь кого-нибудь?

- Конечно. Но она, к большому сожалению, живёт лишь в моём воображении. Я очень хочу её встретить, денно-нощно Бога молю, чтобы послал мне её живую и тёпленькую. Твоя история со старшим братом внушает мне надежду встретить мою придуманную невесту.

- Угги, я до сих пор в смятении, не могу поверить! Как такое может быть? Но ведь все видели Зюзьгу, моего из мысли воплотившегося брата. Он пришёл на помощь в тяжёлый час и спас корабли. Я надеюсь, ты обретёшь ту, о которой мечтаешь. Какая она?

- Очень милая. Юная, нежная, непорочная. Знаешь, мне нравятся развратные опытные женщины. У меня было много женщин – грубых, сильных, пьяных. С огромными сиськами, гнилыми зубами и жарким лоном. Конечно, они не имеют ничего общего с моей Прекрасной Дамой. Мой идеал – она: бесконечно милая, почти воздушная, но всё же телесная, чтобы было что обнять, поцеловать. Она похожа на кошечку или лисичку. У неё зелёные мерцающие глаза и вздёрнутый носик. Ты рубишься?

Чудик спал и видел во сне мать – он ей по пояс, белые рукава с вышитыми птичками - и сестру, перемазанную земляникой.

На излёте 1187 лета от рождения Христова флотилия отморозенного сына мельничихи прошла через пролив, соединяющий владения балтийских подводников с древними чертогами поддонного царя Мелар-озера и бросила якоря у Сигтуны. Приличные пассажиры побежали в сторону от греха подальше, а воинственно настроенные двинулись в центр города.

Руна девятая. Угги мстит Фоме Горбатому, Чудик находит мать

Хитрый Угги приказал «походникам» не хулиганить до поры до времени и по мере сил изображать пусть потрёпанный, но добропорядочный торговый караван, который собирается кое-что продать (к примеру, такие вот хорошие кистеньки с железными билами, топорики и боевые цепи) и кое-чем затариться. Подошли к славянскому городку. Встретили отца Фафуила с подбитым глазом, тот наябедничал, что городские власти дурковатые краёв не видят, своих крышуют, православных кидают, душат налогами и дурным обращением, один Фома Горбатый им защита, но это на него карельская жена хорошо влияет.

Угги пообещал батюшке дурковатых разъяснить. Предложил походникам пообедать с православными, скоординировать действия и устроить местным небольшой погром, чтобы не забывали правила гостеприимства, а сам вместе с Чудиком пошёл в дом своего злейшего врага.

В первой же комнате их встретили два мальчика. самого красивого, с кудрями до плеч, портил горб. На высокой кровати в перинах утопал их престарелый отец, торчали худые ноги. Слышался храп и свист. Ветер трепал белые занавески. В жару каменный дом отлично держал прохладу.

Чудик сказал мальчикам, что хочет их забрать вместе с матерью. Прибежала Медведица, вывела сыновей вон. Угги обнажил меч. В задумчивости замер над Фомой – не знал, вызвать его на бой или спящим зарубить. Фома открыл левый глаз, свалился за кровать, восстал уже вооружённый – высокий, мощный, страшный. Началась беготня по дому, наконец, вывалились во двор. Угги тащил за шиворот раненого старика. Они были похожи, как две капли воды. Угги хотел предать Фому позорной казни на глазах всего народа. Но народу было не до семейных разборок Горбатого – в городе начался пожар, новгородцы и карелы громили местных. Ломиками выковыривали из церкви красивые литые ворота, кричали: «Привезём отличный сувенир!»

Медведица попросила старшего сына и покойную бабку Жилу Косолапую воспрепятствовать смертельному кровопролитию.

- Чудик, надо пожалеть Фому.

- Мама, сколько он людей загубил Христа ради!
- Он не виноват, ему Пречистая и святой Зигфрид голову морочили. Теперь он добрый, детей растит, ткать полотенца научился.

Чудик пошёл к товарищу.

- Угги, прости, что вмешиваюсь! Здравствуй, сударь. Я тот, у кого вы украли мать. Вижу, вы истекаете кровью. Угги, понимаю, что это финал очень важного для тебя дела, мы долго сюда плыли, но вот послушай, можешь и мне отрубить голову, только послушай, не торопись.

- Говори!

- Не кажется ли тебе, что господин Горбатый - твой отец, и матушка твоя из ревности отравить его хотела? Не руби с плеча, посоветуйся с Христоратцем.

- Уже советовался.

- Что он сказал?

- Простить по-христиански.

- Ну, так прости.

- Чудик, отойди в сторону, сейчас прольется кровь. Прочь! Убирайся! Дети, смотрите, как подохнет ваш отец!

Горбатый мальчик кинулся к Фоме, который сидел на земле и был похож на мешок, набитый гнилыми овощами. Угги подумал, что уместно будет зарубить ребёнка на глазах родителя, и уж затем ему самому снести голову. В этот страшный момент от мороженному явилась Прекрасная Дама – юная, нежная, непорочная: прибежала Трин. Не зная, что делать, как остановить злодея, девушка с мольбой и бранью разорвала на груди рубашку: меня, мол, тоже можешь замочить.

Угги, поражённый божественным видением, ослабил хватку и словно ооченел. Чудик взял у него меч, Фому потащили в сторону. Перед сыном мельничихи стояла его кошечка, его лисичка и повелительница:

«...высшего в ней чекана

Всё: молода, свежа, румяна,

Белокожа, уста – как рана.

Руки круглы, грудь - без изъяна,

Как у кролика выгиб стана,

А глаза – как цветы шафрана»¹

¹ Бертран де Борн. Фрагмент «Песни, обращённой к Джоффрау Бретонскому, прославляющей достоинства возлюбленной певца и обличающей низость некоторых её поклонников». Пер. А. Наймана

Эпилог

Фома скончался от ран вскоре после сигтунского погрома. Его с почестями похоронили в церкви у ног Пречистой. Отец и сын успели попросить друг у друга прощения. Горбатый поделил своё добро на семь частей. Его наследниками стали Угги, близнецы, Трин, Чудик, жена и Пречистая. А святому Зигфриду ничего не досталось.

Жена Горбатого с мальчиками вернулась в родные Нуоли. Свою часть наследства она отдала детям, сама до глубокой старости жила в низенькой избе на берегу озера и не жалела об оставленном в Упсале богатом доме и прошлой «зажиточной жизни». Бабка Жила Косолапая перестала приходить к внучке, видимо, обиделась, что та вдруг повесила в углу иконку и поставила на полочку кувшинчик со святой водой. Чудик и близнецы заботились о матери, у них были свои большие семьи. Потомки Фомы Горбатого укоренились в карельской земле. С течением времени его фамильное древо раскинулось на всю Европу – протянуло ветви к Великому Новгороду, Москве, обвило Баварские и Швейцарские Альпы, дотянулось до Безье и Монпелье.

Дальнейшая судьба Угги сложилась удачно: юная Трин укротила свирепого единорога, сделала совершенно ручным, родила ему кучу детей. Он успокоился, перестал заикаться, резать людей и устраивать поджоги. Став отцом большого семейства, сын мельничихи утратил интерес к бродяжничеству: я своё дело сделал, пускай молодые несут слово Божие. В память о борьбе с язычниками Угги в Рождество ставил дома ёлочку и с детишками вешал на неё игрушечных собачек и человечков:

- Это подарок Господу! Господь нам посылает счастье спокойной жизни. Мы сыты, здоровы, богаты. Повесьте на ёлочку человечка и помолитесь, как следует. Главное – чистое сердце, чистые помыслы и благодарность.

- Папа, вот деревянные свинки, железные курочки и раскрашенные лошадки. Детки из тряпочек! Господи, прими от нас подарок! Будь к нам милостив.

- Вешайте деток. А потом мы ёлку подожжём. Мизерере, Домине!

Угги мучили боли в спине, его позвоночник поворачивался, словно витая чугунная лестница в

виипурском доме датского дипломата. Этот дом на Екатерининской улице славился винным погребом, шикарным псевдоготическим потолком и великолепной биллиардной комнатой, в которой веселился архитектор Канерва, в то время как его супруга тёрла больную спину маленькому Эйно.

Марк Горин

Возвращение На перепутье Времени

Глава из романа

*Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большой пошлости на свете
Нет, чем кланчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять...
Александр Кушнер*

Марк Горин, главный редактор газеты «Спутник» (Тель-Авив), в русскоязычной журналистике провел уже более полувека, посвятив ей всю трудовую биографию - и до репатриации, и в Израиле. Но в последние годы стал пробовать себя в литературных жанрах - недавно в «Артикле» были опубликованы его мемуары об учебе во ВГИКЕ, вызвавшие хорошие читательские отзывы.

Предлагаемая ниже глава – первая журнальная публикация отрывка из завершенного им недавно романа, который готовится к печати.

Основной герой романа, по сути дела, Время, пришедшее в 60-х годах в СССР, когда людям показалось, что недавно наступившая «хрущевская оттепель» - это «всерьез и надолго». Сюжет начинается с того, что трое друзей, молодые специалисты, историки по образованию, выросшие на московском Арбате, стали задавать не самые простые вопросы. В результате у них появились серьезные неприятности: одного толкнули под трамвай, остальные должны были уехать из столицы. «Еврейской» теме, хоть она и не главная в романе, автор уделяет немало места и внимания. Как без этого?

Действие романа охватит значительный отрезок времени и будет проходить в разных странах, в том числе – в Израиле, о чем и идет речь в предлагаемой главе. Главный герой, журналист

Александр Пименов, после сложных жизненных коллизий уезжает в Польшу, где живет женщина, которую он полюбил, будучи в молодости в командировке в Варшаве. Писать на неродном, даже неплохо выученном языке, сложно, и он занялся фотожурналистикой.

Незаметно проходят 80-е. Мир меняется.

...Как-то, уже в самом конце 80-х, когда Саша, вернувшись из очередной журналистской поездки, сел разбирать отснятые пленки и записи в блокнотах, его работу прервал звонок. На том конце провода был знакомый функционер польского Союза журналистов, или как он у них там называется? Не затягивая преамбулу разговора, в трубке сразу перешли к делу:

- Не устал? Есть поездка в Израиль... С чего вдруг? Американские евреи финансируют – теперь все можно. Решили тебе предложить... Почему тебе? Потому, что ты – не поляк! Хороший аргумент в Польше, правда? – в трубке послышался смех. – Объясняю для непонятливых. У тебя нет комплексов по польско-еврейской истории, и у них будет меньше неприятных ассоциаций при общении с тобой. Ты чист перед этими проблемами. Ведь к нам теперь претензий не оберешься: почему обижали, почему видели и молчали, почему никто вслух не сказал о происходящем? Как будто все так просто было! Как у русских говорят, если ум сзади – все умные...

- «Задним умом все крепки», - поправил Саша по-русски, зная, что его поймут.

Он не ошибся.

- Вот-вот, - сказал невидимый собеседник и попробовал перейти на русский; ну, насколько получилось. – Я так и хотел сказать: у кого ум на заднице, тот всегда умный. Хоть бы осмотреться дали в новой жизни, самим разобраться, что же с нами происходило. Тогда и скажем... что сможем. А пока лучше тебе туда ехать. Но давай вернемся к родному польскому. Мы решили, что принимающей стороне с тобой в этом смысле тоже проще будет. Кстати, среди местных журналистов, я слышал, есть польские евреи, так что помогут... Английский там вообще у всех, у тебя же с этим нет проблем. Да и «бывшие советские» уже при делах, из тех, кто в семидесятых уехал; может, даже, знакомых встретишь. С языками проблем не будет. К тому же у них еще тепло: Средиземное море, южное солнце,

свежие фрукты, горячие девушки... Не то, что скучная Европа...

Телефонная трубка снова многозначительно хохотнула и сделала легкую паузу:

- Ну, что, готов?

Осенний день за окном словно посветлел, раздвинулся и заиграл новыми красками. В Израиль?! Да что тут думать? Это ж такая экзотика! Раз в сто лет бывает! Или, как говорят поляки, в «сто лят». Саша вспомнил русскую поговорку «Голому собратся - подпоясаться», как иногда шутила мама перед командировками на всякие «повышения квалификации».

- Уговаривать не надо. Когда лететь?

Чудо-остров...

Саша бросил сумку на пол в номере простенькой, но расположенной в центре, недалеко от моря, гостиницы. Недешевой, правда. Хотя какая разница? Не он же платит... Решил не обращать внимания на жару, а сразу рвануть в город – фотографировать Тель-Авив. Но телефонный звонок прозвучал уже через несколько минут после заселения:

- Вас ждут! - женский голос в трубке говорил по-английски грамотно, но с незнакомым акцентом.

- Момент!

«Хорошо, что переодеваться не надо», - подумал Саша, закрывая номер.

- Марек, - представился у стойки администратора маленький толстенький человек, чем-то напоминавший редактора в Азербайджане. Хотя был он ощутимо моложе не только давнего начальника, но и самого нынешнего Саши; с настоящей густой черной шевелюрой, огромными черными же глазами, в которых, казалось, плыла вся скорбь еврейского народа (как сказал бы папа).

Когда они начали свой путь по городу, то поднаторевший в путешествиях Саша увидел, что Марек ведет его стандартно-туристическим маршрутом. Но он понимал, что за считанные три с половиной дня командировки это, вероятно, единственный, многократно проверенный способ увидеть как можно больше.

- Старик... м-м-м, - Марек чуть заикался, - нич-его, что я на «ты»? Я помню, что у русских принято на «вы», но это

все давно стерлось, поскольку не пользуемся. Как будем: по-английски, по-польски, по-русски? Ты не голоден?

- Не. Успеется! А с языком – как скажешь. Хотя лучше, наверное, все-таки по-русски, если не возражаешь. Английский стал беднеть - употребляю не очень часто, только в командировках, а мой польский все же не так уж красив, разве для тренировки? Бедность языка может сказаться на объеме и качестве впечатлений. Будет жаль! Ладно, посмотрим. А откуда у тебя обращение «старик»? Это же московский сленг шестидесятых. Возникло, когда мое поколение начало взрослеть, а выглядеть такими юными рядом с фронтовиками казалось неприличным, что ли...

- Выражение «старик» появилось у нас с «русской» алией семидесятых, они много разных словечек тогда завезли. Особенно интересно было тем, кто хоть как-то знал русский. Вроде меня, - Марек улыбнулся. - Говорят, скоро опять оттуда приедет много евреев, Горби готов их выпустить за дружбу с Западом... Кстати, у нас здесь очень ждут их, все хотят увидеть новую алию...

- А что такое «алия»?

- «Алия», в данном случае, собирательное название очередной волны приехавших, если дословно - подъем. Евреи же в разных странах живут, могут начать ехать откуда угодно. Но мы здесь не такие эмигранты, как везде принято. Переехавшие в Израиль – они называются «репатрианты» - как бы возвращаются к своей родине: у нас это считается «путь вверх». Вот, мечтаем об очередной волне... На этот раз – советских. Алия – всегда хорошо! Страна становится сильнее, богаче... Но ты мне другое скажи: а готовы ли ваши евреи, выросшие при диктатуре, жить в свободном мире?

- Не знаю, я в Польше более или менее освоился. Думаю, свобода никому помешать не может.

- Польша, во-первых, тоже соцлагерь, во-вторых – славянская страна... Языки похожи. Да и отдельный случай погоды не делает. А если в маленькую страну приедут сотни тысяч со своими привычками? Может ли свобода кому-то помешать? Знаешь, у нас здесь главный праздник – Песах. От него, кстати, и ваше слово «Пасха». Песах - это дата исхода тогдашних евреев из египетского рабства, освобождение... Давно было, во времена фараонов. Так вот, предводитель тех евреев Моше сорок лет водил их по пустыне, пока не умер последний, кто родился рабом, в том

числе и он сам. Чтобы в новую для них страну вошли только свободные люди. У нас здесь спорят: ну, вытащим этих евреев из «Совка»; а сумеем ли вытащить из них «Совок»? Между прочим, слово «Совок» мы тоже от репатриантов семидесятых услышали... Ты не обижаешься за такие слова?

- Да нет, теперь чего уж? Сейчас многие так говорят, и в Польше тоже. А что касается советских евреев, так это умные, образованные люди. Практически все – с высшим образованием.

- Не может быть! При тамошнем антисемитизме?

- Может-может... Да, с тогдашними нравами им нередко трудно было пробиваться. Но многих это закаляло. И они становились элитой науки и культуры. Интеллигенция! У меня, между прочим, ближайший друг - еврей, мы вместе учились. Тоже уехал в семидесятых.

Марек искренне оживился.

- Что ж ты молчишь? Давай разыщем, встретитесь на Святой Земле!

- Встретиться, конечно, хорошо бы... Мечта!.. Но они в Америку подались... По слухам, уже профессор. Родители его жены в Израиле, но она из Минска, я с ними не знаком.

- А-а... Привычная ситуация. Тогда многие так поступали: уезжали оттуда по израильским приглашениям, а в Вене делились - сами в Штаты, а стариков сюда, их же наше государство поддерживало. Хорошо ли, плохо ли – разное говорят – но что-то давало. Известная была схема, мы знаем. Пока наши им эту дорожку недавно не перекрыли: Колумб Америку открыл, а израильтяне ее закрыли. Причем, как я слышал, тоже «русские». Теперь так: если в Израиль, значит – все в Израиль!

- А почему? Здесь же свобода.

- Свобода, конечно! Но... - Марек как-то замялся.

...Было странно ощущать в конце сентября раскаленность города. Казалось, что выжарено, дышит тяжелым зноем буквально все: здания, киоски, уличные скульптуры... Но, похоже, это не сильно смущало многочисленных прохожих, даже гуляющих стариков, детей и собак на бульварах, в переулках старого Яффо...

Яффо Атика, как объяснил Марек, древний, по сути, античный район, был особенно интересен. Сашин английский, как выяснилось, вполне позволял при желании объясняться на улице с горожанами, в большинстве владеющими языком международного общения. Марек был

не против таких контактов – в госте чувствовался журналист. «Все живут, как люди. Только нашу любимую родину изъяли из мирового пространства», - с горечью подумал Саша, но тут же и забыл об этом – слишком сильные впечатления ждали его.

Мощные мостовые в узких переходах, оказывается, помнили шаги христианских апостолов. Да-да, тех самых, которых, как им объясняли в институте, вообще не существовало, а придумал их «опиум народа». Только здесь чувствуешь, как совсем недавно они, действительно, были; почти современники. Сюда, объяснял Марек, причаливали суда древних египтян и финикийцев, которые остались, как думал студент-отличник с московского истфака, уже только в учебниках по «Древнему миру», что преподают на первом курсе. Три тысячи лет назад это было, но, надо же, здесь можно увидеть, потрогать руками дома, которые уже и тогда стояли... Мимо них проходили первые христиане! Сюда приставали галеры крестоносцев, и сам Наполеон прибыл сюда с экспедиционным корпусом, вот к этому берегу, находящемуся в нескольких сотнях метров... Подлинная история была запечатлена в камне и при этом дышала обычным сегодняшним днем... Чудеса, да и только! Поверить во все это было трудно. А как не верить? Ведь все – просто перед глазами...

- Слушай, - спохватился Марек, – я даже не спросил: тебе не жарко? Мы-то привычные, и то порой задыхаемся.

- Да нет, я когда-то после института в Азербайджане работал, - Саша, естественно, не стал вдаваться в подробности своего отъезда из Москвы. - Такая же примерно погода. Да и вообще похоже: солнце, море, веселые, улыбчивые люди – смуглые, светлые... Очень гостеприимные. Девушки – загляденье! Хотя на местных лучше не засматриваться – нравы горячие, кавказские. Зато прекрасная кухня, на редкость вкусно: фрукты, овощи, брынза... Жареное мясо всех возможных сортов и видов... А уж вино, коньяк...

- Азербайджан? Мусульмане? Ого, какая экзотика! И как? Не страшно было? А евреев там не едят?

- В Азербайджане все было замечательно, жаль, что недолго! Между прочим, мусульманская страна, еще точнее – шииты в большинстве, а антисемитизма никакого нет. Даже намека! Если что-то случайно могло проявиться, ребята-азербайджанцы сами бы за это голову оторвали!

- Ты серьезно? Не придумываешь? Поразительно! Мы и не слышали о таком! А там говорят по-русски?

- Конечно, серьезно, этим не шутят! Если время будет – расскажу. А русский язык там практически, как у нас с тобой. Как, в общем-то, и по всему Союзу. Можно услышать легкий акцент, но это естественно. А вот у тебя откуда такой русский? Ты ведь не из СССР?

- Страна исхода, как опять же говорят на израильском сленге, у меня Польша. Приехал с родителями, подростком. После еврейских погромов уже в послевоенной Польше (слышал, наверное?) наш брат, в смысле польские евреи, стали сильно обижаться на местную власть, которая не остановила антисемитов. Гомулка тогда и сказал, что в Польше живут поляки, а кто хочет быть евреем – не держим! Почти все уехали, ну, и моя семья тоже. А русский мы в школе учили, как весь соцлагерь: кто – лучше, кто – хуже. Книжки читал. Русские книжки – это, знаешь, дело серьезное!

- Да уж, не скажи!

Оба рассмеялись.

- Ну вот, я много прочел еще в детстве, - продолжал Марек, явно любитель поговорить. - А когда здесь с работой стало не очень, вдруг оказалось, что меня не так уж плохо учили! Пошел в русскую газету – они здесь появились, когда советские поехали, тогда же, в семидесятых...

Они шли, болтая, по фешенебельной Ибн-Гвириоль. В нижних этажах домов друг за другом повторялись похожие кафе с запахнутыми стеклянными стенами. Свернули на улицу Каплан...

- Вот, специально тебя привел, чтоб ты увидел наш Дом журналистов, по-местному, Бейт-Соколов, то есть Дом Соколова. Это один из первых здешних редакторов, тоже, кстати, с корнями из России; по фамилии видно. Между прочим, чуть не вся ранняя элита нашего государства была оттуда, первый язык богемы и политики, ты не поверишь, здесь когда-то был русский! Чуть подалее – Дом писателя.

Они поднялись на невысокие ступени, вошли в вестибюль Дома журналистов. «М-да, - подумал Саша, - не так, чтоб уж очень шикарно... Московский покруче!»

- Может, кофе выпьем? Я угощаю! Не стесняйся, все нормально, у тебя ведь, наверное, с валютой не очень... В соцстранах миллионеров нет, - Марек хохотнул и подмигнул

Саше. - Меня к тебе приставили именно из-за хорошего русского языка. Когда в нашем Союзе журналистов узнали, что едет фотокорреспондент из Польши, да еще с русским языком – к нам из-за «железного занавеса» пока еще не часто приезжают - сразу ко мне обратились, потому что и польский, и русский.

- За кофе – спасибо! Но, может, не будем тратить время, лучше еще погуляем?

- Ничего, главное не пропустим! Я люблю Тель-Авив, но, скорее, за характер: у нас его называют «Город без перерыва» - живет днем и ночью; а внешне он не очень богат на архитектурные впечатления, практически новый город... Ему ста лет еще нет. По сравнению с Иерусалимом – совсем «мальчик». Но об этом – завтра. Разве что «баухаус» в Тель-Авиве богатый – это немецкий архитектурный стиль. Слышал? Он здесь очень хорошо представлен, немецкие евреи привезли. Покажу. Старый Яффо мы с тобой видели. Берег моря – тоже. Ну, что еще? Высотки в центре? Есть пару интересных зданий, я бы даже сказал, очень интересных, но не так много. «Сафари»... Там у нас дикие звери почти на свободе живут, но, как по мне, так после европейских зоопарков, того же Берлинского, к примеру, жаль времени. Которого, кстати, уже не так много. Так что, если не настаиваешь... Вот завтра в Иерусалиме насмотримся, всю жизнь вспоминать будешь!

После уличной немилосердной жары прохлады вестибюля и ресторанного зала Дома журналистов давала вожаделенную возможность перевести дыхание.

- Кондиционеры? – уважительно спросил Саша, который сталкивался с этим спасительным «чудом техники» только однажды, когда с группой польских журналистов сподобился попасть в Африку.

- А к-как еще? – Марек пожал плечами.

Народу за столиками было немного. Кто-то негромко переговаривался, группы посетителей обступали склонившихся над шахматами (как везде, подумал Саша). Но были и те, кто предпочитал одиночество, некоторые – с газетой, когда сероватый дым сигареты смешивается с ароматным дымком над чашкой кофе.

- Может, ты все-таки голоден?

Вопрос Марека опять прозвучал данью вежливости. Тем более что Саша уже потянул к себе меню, в котором, конечно же, ничего не понял. Но цены (надо полагать, в

шекелях) впечатляли сразу и настолько, что он решительно покачал головой:

- Не... После такой жары ничего не хочу. Лучше вечером в номере перекушу. Давай кофе... и минералку, если можно – с лимоном. Холодную!

- В смысле с газом? По-нашему, значит - содовую? Нет проблем! - было видно, что Марек доволен выбором коллеги. – А насчет ужина в номере - погоди. Спадет жара, заскочим на шук, в смысле на рынок, возьмем по пите с шуармой...

Марек увидел непонимающие глаза Саши.

- Ну, это лепешка такая. Внутри пустая. В нее кладут жареное мясо – шуарму. Лучше всего - баранину. Если на диете, могут индюшатину предложить. Но баранина гораздо вкуснее! Туда же – чипсы (в смысле - жареную картошку), всякие соленья, зелень... Бутылочку сока или воды прихватим и... я взял с собой фляжку с неплохим виски – «Ред лейбл». Знаешь?

Саша утвердительно кивнул:

- Нормально!

- Ну вот... Берем все это и... напротив твоей гостиницы, на пляже, после купания, чтоб ты ощутил Средиземное море. Плавки с собой?

- Спрашиваешь!

- А потом там же такой банкет устроим!.. У самого синего моря! Как говорил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин... Знаешь, конечно? У вас, наверное, это все знают?

- Знаю. Я тоже Александр Сергеевич.

- Ух, ты! Здорово твои родители придумали, тебя ни с кем не перепутаешь! Нравится наш кофе?

Вечером они расставались на берегу у Сашиной гостиницы тепло во всех отношениях.

- Может, поднимемся ко мне, добавим? У меня примерно тот же репертуар в номере, - Саша, гостеприимно приобняв своего гида, тянул его к крыльцу гостиницы.

- Не, стт-аа-рик, - Марек стал заикаться еще сильнее, хотя Саша слышал, что алкоголь обычно снимает этот комплекс.

– Не... Надо рано встать, чтоб еще в редакцию заскочить, сдать кое-что. Здесь же не полный социализм, никто от работы не освобождает – манну небеса давали евреям только до выхода из пустыни, теперь трудиться приходится... Хочешь заниматься гостями – твое дело. А дневную норму все равно сдай. Ну, ничего, мне нравится с

тобой общаться! Да и Союз журналистов в благодарность потом может хорошую поездку подкинуть. Всяко бывает: и Америка, и Европа, даже – Токио... По слухам, скоро и Москва, Ленинград могут появиться... Тем более у меня русский есть. Здорово, правда? Даже не верится...

- Могут-могут, - заверил Саша нового приятеля. – Я тоже об этом слышал – у них там перестройка. Если в Москву соберешься – позвони мне, я тебе пару телефонов дам – не заскучаешь...

- Девушки? – заинтересованно переспросил Марек.

- Да нет, почему девушки? Друзья мои. Поводят, покажут, угостят... Мы тоже гостеприимный народ. - Саша увидел чуть заметное разочарование на лице коллеги и добавил с улыбкой - С девушками уж ты как-нибудь сам. Ничего, Москва – город большой, девушек много, приедешь - найдешь. Теперь, мне говорили, к иностранцам особый интерес появился.

- А ев-в-рейки есть?

- Наверное, есть, - Саша снова улыбнулся. – Я особо не приглядывался. Для меня это не важно.

- Вам проще, - вздохнул Марек. – Ну, давай, не проспи! Я часиков в одиннадцать появлюсь. Жаль времени, конечно, лучше бы пораньше выехать, но ничего не поделаешь – работа. У нас с этим строго. Да и недалеко здесь: Израиль – страна маленькая.

Саша так и не понял, что значит «недалеко»: до Иерусалима или до редакции Марека? Да и какая разница? Устав от впечатлений, он добавил в номере еще пару хороших глотков виски и быстро заснул.

Здоровый сон никак не хотел с ним расставаться... Трубку телефона он снял, еще не очень соображая, где находится и зачем его будят.

- К вам гость. Будете говорить?- сказал женский голос по-английски.

И тут же раздался голос Марека:

- Сст-аарик, ты готов? Хаваль а-зман, как у нас говорят. Жаль времени! Выкатывайся, только захвати что-нибудь теплое... Свитер, что ли...

- Теплое? С вашей жарой?

- Не валяй дурака! Иерусалим – не Тель-Авив, потом благодарить будешь.

- А-а... это... завтрак? Он же оплачен.

- Оставь! Вряд ли тебя вдохновит наша кошерная кулинария. Я захватил пару бутербродов с нормальной колбасой, колу... Можешь и в машине перекусить. Не жалею, что завтрак оплачен, все равно ведь не твои деньги, да и время дороже.

- Окей! Убедил. Спускаюсь.

Саша кинул свитерок в сумку и, не став ждать лифта, перепрыгивая через две ступеньки, моментально оказался внизу. Марек ждал его возле стойки регистрации с рюкзаком за плечами.

- А это зачем? – спросил Саша, показав глазами на рюкзак.

- Ну как?.. Шмотки, бутерброды, кола, всякая всячина... А ты свитер взял? Ладно, пошли быстрее!

У гостиницы стоял старый маленький фордик грязноватого оттенка, предполагавшего белый цвет в изначальном состоянии. Марек церемонно открыл переднюю дверцу:

- Прошу!

Саша втиснулся с трудом. Попытка отодвинуть кресло успеха не возымела. Марек величественно уселся на место водителя и начал выруливать к улице.

- Стт-аа-рик, не стт-аа-райся, - заметил он по поводу Шашиных усилий, - эта колымага давно не предоставляет других услуг, кроме самой езды. Надо бы поменять, да не на что.

Саша опять не понял двусмысленности фразы. Что значит «не на что»? Денег не хватает или подходящую машину не может найти? Ну, ладно, это, в конце концов, не столь важно.

Мысли Саши (а может, он даже чуть задремал, пока Марек старательно и молча выводил машину на шоссе Тель-Авив – Иерусалим), прервал голос коллеги:

- Ты морально готов к встрече с Великим городом? «Возраст Иерусалима более трех с половиной тысяч лет, а первые археологические свидетельства поселения на восточном склоне Храмовой горы относятся к пятому-четвертому тысячелетию до нашей эры», - так, во всяком случае, пишут в справочниках. А там, кто знает?

Саша обратил внимание на «пятое-четвертое» - до нашей эры от большего к меньшему, что выдавало прямое отношение к исторической науке, но акцентировать догадку пока не стал.

- Наизусть чешешь? Круто!

- Да, у меня память хорошая. Продолжим... «В мире немного городов, насчитывающих такой возраст и при этом живущих современной жизнью»...Конечно, азохенвэй, какой современной! Но так принято говорить. Тем более что это – столица Израиля.

- Как ты сказал? «Аз..»

- Не обращай внимания, еврейский сленг, даже, можно сказать, местечковый, вперемешку с идишем. Такое, знаешь, присловье, означает некоторую иронию по отношению к сказанному. Впрочем, евреи ко всему относятся с иронией.

- Но, чтоб понимать иронию, надо, как я думаю, общаться на одном языке, - в Саше проснулся спорщик, готовый дискутировать даже о вещах, в которых он ничего не соображал. - А в Израиле, насколько я знаю, говорят на разных языках, в первую очередь на иврите... Конечно, евреи – народ загадочный. Но все равно непонятно, как можно переносить иронию из одного языка в другой. Звучание-то разное, смысл слов, междометий – тем более.

- Ты задел очень сложную тему, в которой мы сами еще по-настоящему не разобрались и... вряд ли скоро разберемся. Ну, хорошо, давай по порядку. Во-первых, переносить иронию из одного языка в другой можно. Может, где-то и нельзя, а у нас, если хочется, то можно. Во-вторых, про «загадочный народ»... Может, евреи и загадочный народ, но не в этом главное. В Израиле живут израильтяне, граждане этого государства. А кто такие евреи, никто толком сказать не в состоянии. По каким критериям считать? Если по религии, то мы все, откуда бы ни приехали, принадлежим к иудаизму. А если по рождению – то опять путаница. У нас еврейство официально определяется по матери и вообще по женской линии. Когда-то было, как у всех, но римляне оккупировали Иудею после известного восстания, и их солдаты здесь всех женщин перетрахаили. Порой никто не мог определить, иногда даже мать, кто отец ребенка, - такое было время. И раввины решили: чтоб сохранить народ, пусть еврейство будет по матери. Здесь, как ты понимаешь, ошибка исключена.

- Это что - правда? – Саша почувствовал в себе зуд историка.

- Ну, так рассказывают. Вообще, тема непростая и весьма темная. Как к ней подойти? К примеру, приезжает из России репатриант по фамилии Маргулис там, или Бронштейн, еще

лучше - Рабинович. У него папа еврей, отсюда и фамилия, а мама – русская. Что тоже не очень точно – мало ли у вас там национальностей? Поэтому он здесь «русский» (смешно, правда?), или «неопределенной национальности», есть у нас и такое, хотя там, как мне рассказывали, был «жид пархатый» - его дразнили и во дворе, и в школе... Кстати, у вас что - так и было?

- Черт его знает! У меня ближайший друг детства, Аркашка, чистокровный еврей, я тебе о нем говорил; так если б его кто-то так обидел, мы бы этому гаду голову сразу оторвали! Но, возможно, где-то и было, дураков и подонков везде хватает.

- Ну вот...- Марек вернулся к теме, которая его, видимо, интересовала. – Короче, этот Рабинович, «русский» по маме, приехать в Израиль по Закону о возвращении может, государство не возражает, даже – поощряет. А дальше как? А если у него и жена не еврейка, тогда что? А дети? Как им семью создавать? У нас же гражданского брака нет, только религиозный. Хорошо ли, плохо ли, а так. Ну, это ладно, - взрослые люди, разберутся. А когда сыну в армию идти, или даже в школе на физкультуру, а он не обрезанный... Как ему быть в молодежном мужском коллективе? В детском – тем более, дети – жестокий народ...

- А что, обрезание – это у вас обязательно? Для всех? Почему? Я слышал, что это делают для гигиены. Традиция? У меня немало знакомых евреев, тот же Аркашка, мы друг друга никогда не стеснялись, «русскую» баню очень любили, а там – все открыто... Но никто не говорил о таком... Я и не видел ничего подобного. Зачем это?

- Ну, как сказано в старом еврейском анекдоте, «во-первых, это красиво...»

Саша, естественно, усмехнулся при этих словах. А кто бы не усмехнулся? Только тот, кто эту шутку уже слышал. Да и то...

- Понимаешь, - продолжал Марек, при этом внимательно следя за дорогой, - в наших жарких краях, где много пота и песка, это действительно лучше для гигиены. Но считается, что обрезание означает союз еврея с Богом... Хотя, некоторые говорят, мол, это раввины придумали, чтоб люди не отлынивали и не болели. А может, и правда – союз с Богом...

- Ты веришь в Бога? - Саша с интересом перебил собеседника. – Ты же еще молодой человек.

- Как тебе сказать? – Марек говорил с каким-то сомнением. – Вроде бы, евреев, которые совсем не верят в Бога, не бывает. Мне кажется, что я не верю. Но ведь, кто знает, а вдруг там, и правда, что-то есть? Или кто-то...

- Ну-ну, - нейтрально ответил Саша на странноватую для него сентенцию. Заядлый полемист, способный спорить о чем угодно, он вдруг почувствовал, что ему нечего сказать. «Что ж, - подумал Саша, - иногда и помолчать не вредно».

В салоне повисла пауза. Но Марек, видимо, не умевший держать ее долго, вскоре нарушил тишину.

- Мы почти у цели! - торжественно произнес он. – Это уже практически Иерусалим. Въезжаем в Великий город... Между прочим, советую быть осторожным и внимательным. Рассказывают, что существует так называемый «синдром Иерусалима». У человека, особенно у попавшего сюда впервые, может закружиться голова или появятся видения. Я, правда, ни разу не сталкивался, чтобы с кем-то реально такое случилось, но многие говорят, что кто-то из знакомых чувствовал. Так что, если что-нибудь вроде того ощутишь, сразу скажи – я же за тебя отвечаю... Кстати, у тебя медицинская страховка есть? А то в соцлагере, говорят, к этому еще не привыкли.

- Есть, конечно, я опытный путешественник.

- Правильно! А то медицина у нас замечательная, но для неместных весьма недешевая. Впрочем, как везде.

- Это верно.

За разговором Саша не заметил, как они оказались уже реально среди городских кварталов. Марек притормозил на знак с нарисованной открытой ладонью.

- А что это значит? – спросил Саша, как всегда обуреваемый любопытством.

- Знак, требующий внимания и остановки на несколько секунд перед поворотом или другими дорожными сложностями. Вместо слова «stop».

- А почему не «stop»?

- Видишь ли, в еврейских языках, как известно, читают справа налево. А если английское «stop» машинально так прочесть, то получится «pots»; практически поц.

- Ну...

- А поц – это... как бы тебе сказать? Ну, в общем, на идиш, то, что обрезают... Кто-то может и обидеться, приняв на свой счет, - Марек хмыкнул.

- Понятно, - Саша тоже хмыкнул. – Типа шутка? Не скучно тут у вас...

- Да уж!

Они проехали еще минут пять и, как бы в подтверждение недавних Сашиных слов, Марек явно нарушил правила движения и лихо свернул в какой-то дворик. Он уверенно припарковался возле приземистого двухэтажного здания, рядом с которым прямо под запрещающим знаком уже стояло несколько машин.

- Все, генуг! Приехали. Дальше пешком. Ездить по этому городу без особой надобности никому не советую. Водители нахальные, пробки нескончаемые... Найти парковку практически невозможно, а те, что есть, дороги настолько, что вообще приезжать не захочешь. За такие деньги можно в хорошем ресторане пообедать.

- А здесь что? – спросил Саша недоуменно. – На городскую стоянку вроде не похоже...

- Здесь типография, в которой печатается и наша газета тоже. Мы же им деньги платим, а клиентами все дорожат. Так что для хороших людей место найдется. Как говорили в Польше: «Умеет устроиться эта нация». И правильно, кстати, говорили. Ну что, в путь?

Они тронулись в путь. Великий город, о котором Саша столько читал и в учебниках, и в романах, плыл в мареве душераздирающей жары.

- Да-а, - вздохнул Марек и глотнул из бутылочки, которую непонятно откуда достал. – Денек нам достался не из легких! Казалось бы, сентябрь, а такая жара. Могло бы уже и полегчать. Ну, что делать? Не мы выбирали... Воды хочешь? Здесь надо много пить.

- Спасибо, - ответил Саша автоматически, погруженный в свои мысли: он пытался вытащить из памяти утонувшую в ней булгаковскую фразу: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город...». Почему ненавидимый, за что? Может, из-за жары?

- Ты, наверное, Булгакова вспоминаешь? «Тьма, пришедшая со Средиземного моря...» Угадал? Не удивляйся! Все русские умники, а ты явно из них, попав сюда впервые, сразу же начинают вспоминать эти строчки. Тебе нравится Булгаков? Наверное, нравится. Боюсь сказать, но мне, честно говоря, не очень. По-моему, он не понял наш Иерусалаим. То есть представил его как средоточие мистики – иудейской, зарождавшейся христианской... Может, он и был прав. Но... – Марек поднял

указательный палец, словно восклицательный знак. – Здесь же живут и всегда жили реальные люди: рождаются и умирают, трудятся и отдыхают, молятся и ругаются, любят и ненавидят, даже, извини меня, туалеты посещают... О мистике, конечно, здесь тоже не забывают, не зря же говорят, что тот, кто не верит в мистическую сущность этой страны, – тот не реалист... Как сказано?

Саша кивнул:

- Ага, здорово!

- Ну вот... - продолжал Марек, воодушевленный Сашиним одобрением. – Если б он говорил о мистических вещах на фоне этой реальной жизни, то, думаю, получилось бы гораздо лучше... Или ты так не считаешь?

Марек сделал небольшую паузу, как бы приглашая к продолжению дискуссии о Булгакове, но, не увидев встречного интереса, перешел к прямым обязанностям гида:

- Ладно, сейчас это не главное. Смотри внимательно, мы подходим к интересным местам. Вот, эти кварталы закладывал знаменитый барон Монтефиори, европейский аристократ, влюбленный в этот город, вкладывавший в него и деньги, и жизнь... Кстати, мало кто знает, но он, кажется, бывал и в России, пытался помочь тамошним евреям. Боюсь, у него это не очень получалось, не та страна. Но он старался...

Саша, при его любви к полемике, не стал ввязываться в спор о Булгакове, потому что его все сильнее охватывало странное состояние. Был ли это тот самый «синдром Иерусалима», упомянутый Марекком, или просто встреча с городом, которую так ждал, узнав о предстоящей поездке в Израиль, произвела на него столь сильное впечатление, он, конечно, сказать не мог. Саша и слышал, и не слышал рассказы Марека об улицах, по которым они шли. Иногда машинально щелкал фотоаппаратом, не забывая о главной, профессиональной цели своего путешествия. Изредка, тоже почти машинально, записывал в блокнот названия, которые Марек, увидев понятные усилия коллеги, специально повторял по нескольку раз.

Саша знал, что у него очень хорошая от природы, и, к тому же, крепко натренированная память, гордился ею, иногда, особенно в молодости, мог этим и прихвастнуть. Нередко в своей журналистской жизни он, в расчете на нее, не записывал подробности. Вот и сейчас, чтобы самим процессом записи не разрушать впечатления, он надеялся,

что коротко зафиксированные названия помогут восстановить увиденное и услышанное. Лишь изредка, когда ему казалось, что могут пропасть какие-то важные детали, включал диктофон (сорокаминутную пленку надо было экономить), который купил за немалые валютные «бумажки» в одной из загранпоездок. Ну ничего, штука того стоила. И не раз выручала. Будем надеяться, не подведет и теперь...

Все новые и новые впечатления падали на Сашу, словно большие, яркие, но тяжелые птицы, стремясь завладеть его умом, памятью и эмоциями. Впечатления-птицы сменяли друг друга, забывая куда-то в глубь подкорки увиденное ранее, всего несколько минут назад.

Они остановились у удивительно красивого, хотя и несколько аскетичного сооружения, совершенство форм которого не позволяло глазам оторваться.

- Посмотри, это так называемые Яффские ворота в Старый город. Названы так потому, что сюда шла дорога прямо из Яффского порта. Мы вчера там с тобой были, помнишь? Так что можешь себе представить... И вот эти Яффские ворота так восхитили турецкого губернатора, который был здесь абсолютный властитель, что негодяй повелел ослепить архитектора, дабы тот не смог сделать ничего подобного где-то еще. Бедняга только выговорил себе право быть похороненным вместе с женой рядом со своим замечательным детищем – вот его могила...

Слово «повелел», употребленное Марекком, не просто выдавало в Сашином собеседнике вполне небедный русский язык и приличную начитанность, но и вызвало в памяти что-то очень похожее, даже близко знакомое по другой, еще той жизни. Саша стал вытаскивать из себя когда-то глубоко запавшие строки: «...Как побил государь Золотую Орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам»... Мастерам! Ну, вот... Понятно. А как там дальше? О!.. «И велел благодетель (это ж надо, благодетель он, блин!) ...И велел благодетель, - гласит летописца сказанье, - в память оной победы да выстроят каменный храм». Выстроят....

Нет, это начало, там же было дальше еще ближе, точнее. Кажется, в конце... Вот же: «...И тогда государь повелел...» Вот оно - «повелел»!

*«...И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его Церковь*

*Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях
И в землях Рязанских и прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!»*

Саша даже вспомнил, где у Кедрина стояли заглавные буквы, которые придавали дополнительную значимость строкам не то легенды, не то подлинной истории о том, как Иван Грозный тоже велел ослепить строителей Храма Покрова или, по-московски говоря, «Церкви Василия Блаженного». После того, как ее создатели, мастера Барма и Постник из Владимира, на свою беду, утвердительно ответили на вопрос царя, могут ли они сделать другую церковь еще краше. Интересно, кто из властителей-садистов проявил такую инициативу первым? «Пооди ж ты, - подумал Саша, - ведь на другом конце земли происходило, а отношение власти к художнику, видно, везде было одинаковое».

- А в каком году это случилось? – спросил Саша.

- Про год конкретно не скажу. Хочешь, чтоб все точно было, найми себе профессионального экскурсовода, - ответил Марек чуть обиженно. – Меня же просто попросили погулять с коллегой...

- Ладно-ладно, не обижайся, это я так... Журналистская привычка добираться вопросами до печенок.

- Ты же понимаешь... Специально не учил, это другая работа – мне за экскурсии не платят.

Они шли, обмениваясь мыслями, не умолкая, останавливались у разных зданий. У входа на площадь перед Стеной Плача какие-то непривычного вида люди надели на Сашу небольшую белую шапочку («кипа», пояснил Марек) – как он понял, ритуальный еврейский головной убор, обязательный здесь. Марек напялил на голову несуразную шляпу, которую извлек из рюкзака, и спросил:

- Не хочешь написать записку?

- Кому? – оторопело спросил Саша. Своим вопросом Марек вернул его из эмоционального созерцания к реальности.

- Ну, кому-кому? Ему! Напиши свое сокровенное желание...

- И что – сбудется? Ничего, что я другого вероисповедания? Не иудей.

- Сбудется, не сбудется... Увидишь. А Бог един! То, что ты не иудей, – вообще не проблема! Во всяком случае, здесь. Мне кажется, что все люди в какой-то мере евреи. Только некоторые об этом еще не знают, а другие знают, но стесняются признаться.

- Ну, ты даешь!

- Это не так смешно, как кажется. Мы ведь очень древний народ. И какие-то частички себя, своих накопленных знаний передавали другим этносам, которые пришли позже. Это у нас называется «ор ле гоим», дословно – «свет – народам». Потом, правда, стали толковать как «свет неевреям». По смыслу понятно – другим народам. Здесь нет ничего обидного ни для кого. Как я понимаю, евреи просто обещались рассказать все, что знали, вот как я тебе сейчас, - Марек улыбнулся. - Тот же Иешуа, к примеру, Иисус, как вы его называете, видимо, додумался до Реформации, до Протестантизма в свое время. К тем истинам, которые он понял еще тогда, христиане пришли через полторы тысячи лет с окончанием Средневековья... Вернее сказать, они завершили этим Средневековье и перешли уже к Новой истории.

- Ты что, тоже историк? Впрочем, неважно, все равно интересная мысль! Здесь есть над чем подумать. Вот с Аркашей бы об этом поговорить – это тот самый мой друг, который вместо Израиля в Америку уехал.

- Все мы в каком-то смысле историки, особенно в этой стране, а уж в Иерусалиме... - ответив неопределенно, в своей манере, Марек покачал головой и многозначительно поднял вверх указательный палец. - Ладно, давай побережем время – у нас еще столько впереди!.. Вот тебе бумага и ручка. Специально захватил на этот случай.

Саша, развернув листик на левой ладони, на секунду задумался. И сразу, не выбирая, какое же желание ему представляется главным, написал: «Пусть мама и папа будут здоровы...». Секунду подумал, может, что-то добавить? Но решил не затруднять Адресата своими капризами, да и на фоне еще каких-то интересов то первое, что пришло в голову и в душу, может поблекнуть, стать менее важным, что ли. Даже сам факт того, что он подумал еще о чем-то в таком месте, в такую минуту, показался ему опасным для выраженного желания. Нет, лучше не рисковать!

- Ну, давай же, вставляй свою записку, и побежим дальше!

Саша провел рукой по гладкому камню, который был отполирован миллионами прикосновений, покрепче втиснул сложенную бумажку в узкую расщелину в стене, забитую такими же записками, и проверил, плотно ли она лежит. Смешно... Ну, не верить же во все это всерьез! Но почему-то происходящее все-таки казалось ему важным и не хотелось, чтоб его записка выпала. А с другой стороны, он предпочел бы, чтоб Марек не видел этого его жеста, который выдавал, насколько серьезно он отнесся к ритуалу. «Ну-ну... - Саша усмехнулся, - что-то действительно странное творится с людьми в этом городе. Никогда бы не подумал!»

Марек посмотрел искоса на Сашу, словно вслушиваясь в мысли гостя... и промолчал.

Они шли по людным улицам. Марек что-то рассказывал, но Саша еще оставался с ощущениями, которые родились в нем у Стены Плача, а впечатлявшие объекты и детали фиксировал, машинально щелкая фотоаппаратом. Вот прошла группа веселых молодых людей в длинных черных сюртуках, или как там называется такая одежда, похожая на то, что Саша видел в музеях Польши, где демонстрировались картины тамошнего быта прошлых веков. Сходство довершали непонятно зачем напяленные в эту погоду высокие меховые шляпы. И не жарко им в такое пекло? А вот совсем иная компания: люди с цветистыми платками на головах, похожие на фотографии палестинского вождя Ясера Арафата, которые частенько печатали в соцстранах. Где-то Саша даже слышал, что такой платок называли в Восточной Европе «арафатка».

- Смотри, ста-а-г-гик... - Саша услышал сквозь неумолчный гомон улицы голос Марека, который, тот, видимо, специально повысил для удобства восприятия; однако добавленная громкость делала заметней и легкую картавость. – Думаю, надо посетить, хоть ненадолго – надолго просто не ус-п-п-пеем – один уникальный музей. Здесь все уникальное, но тут – дело особенное. Это не очень близко, но оно того стоит. По такому поводу можно и на такси разориться... Яд Ва-Шем называется - музей Холокоста, Катастрофы европейского еврейства, моего народа... Я ведь и есть европейское еврейство.

Марек посмотрел на Сашу снизу вверх и, видимо, поняв, что гостю эти слова ничего не говорят, продолжил:

- Не волнуйся, что забудешь название. Я тебе потом запишу, а может, удастся достать проспект на русском или английском. Пошли быстрее, нам еще много надо успеть!

У входа в музей Марек спросил:

- У тебя журналистская карточка есть? Давай!

Он взял у Саши карточку, пошел вперед, кому-то показал обе карточки – Сашину и свою, потянул гостя за собой, и они пошли по длинным анфиладам залов, стены которых были увешаны музейными материалами. Саша пробовал остановиться, вчитаться в тексты на английском, но Марек тянул его дальше:

- Разбирать каждое слово нет смысла – все равно все не запомнишь, здесь миллионы подробностей. Ты лучше в свои ощущения вслушайся, сохрани их. Само название «Яд Ва-Шем» в переводе на русский означает «Память и имя». Это из слов пророка Исаии. погоди, - Марек сделал паузу, прикрыл глаза и нараспев медленно прочел наизусть: «И дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя – Марек выделит голосом два предыдущих слова, - лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится». Понял?

- Да как тебе сказать?.. А ты здорово помнишь!

- Такие слова!

Они шли от одного зала к другому, и Саша почти физически чувствовал, как обрушивается на него и обволакивает, запирает дыхание какая-то невероятная беда, как раздавливает она его, невольно заставляя отождествлять себя с людьми, взывавшими к нему со всех этих стен. Старика с изможденными, почти детскими телами, дети с лицами скорбных стариков и огромными глазами, умудренными не по возрасту адом, в котором они оказались... Саша видел, как все они тянут к нему руки сквозь колючую проволоку... Невозможно было представить себе, что весь этот ужас насилия придумали и организовали нормальные люди, которых родили и воспитали обычные мамы.

В самом деле, получается, что в любом человеке, даже самом обыкновенном, с рождения живут одновременно Бог и Дьявол, добро и зло. Нет, не так, как их учили, будто человек рождается хорошим, а потом неправильная среда делает его плохим. Чем была плоха среда этих немцев? У них были прекрасные писатели, композиторы, художники... Да, конечно, была и мировая война, Первая (в Саше проснулся историк и полемист «с самим собой», жаждущий

спора), но она была у многих народов, не все же переставали быть людьми... Не все? Тоже – интересный вопрос. Ну, и что? Значит, все-таки в каждом Бог и Дьявол? И кто когда в ком проснется? Саша вдруг поймал себя на том, что свободно, как что-то естественное, произносит про себя слово «Бог» и думает о Нем, как о субстанции неожиданно привычной и практически реально присутствующей...

Запомнились и иные фотографии, на которых, как он понял, тоже были евреи. Те, кто сопротивлялся, сражался в партизанских отрядах, воевал в армиях «союзников». Саша узнал советские знаки различия – а может, среди них был и отец Зоси?.. С этих снимков на него смотрели сильные, уверенные в себе мужчины с суровыми, не улыбочивыми, зачастую небритыми лицами, молодые и постарше, которые взяли на себя долг защитить тех, кто слабее, сокрушить зло. И сокрушили...

- Смотри, - сквозь ватную тишину в уши прорвался, будто издали, голос Марека, которого Саша, словно вынырнув из своего состояния, с удивлением обнаружил рядом с собой. – Смотри-г-ги, это – Зал Имен, его обязательно надо видеть! Здесь – память о шести миллионах евреев, погибших в Холокосте. Здесь хранится все, что удалось собрать об их судьбах. Собирают и берегут каждое свидетельство, каждую деталь, бумажку с именем, старые фото, пока ещё живы те, кто помнит. Я тоже отдал сюда фотографию, где мои родители еще детьми сидят рядом с соседями, которые не успели убежать.

...Конус высотой метров в десять отражался в зеркальной глубине каменного колодца с водой. Сверху – если поднять глаза, и снизу, если опустить их, отраженные в воде, на Сашу смотрели лица людей, что были унесены смертными ветрами чудовищной беды.

Он бывал в Освенциме, они не раз приезжали туда с Зосей и всегда молча долго ходили среди жутких стен преисподней, которая существовала в реальности. Казалось, что ничего страшнее увидеть нельзя. Здесь убедился – можно! И не потому, что сегодняшнее впечатление было вот, рядом, а то, что ближе, всегда воспринимается сильнее. Конечно, так и есть. Но не только в этом, наверное, было дело.

Увиденное здесь, понял Саша, потрясло сильнее, потому что Освенцим он воспринимал чудовищным злом, но такой «машиной смерти», которая возникла и убивала именно в

том конкретном месте. Имевшем свое географическое название – не перепутаешь! А пространство, по которому он только что прошел, ему представилось отражением вселенского обиталища зла – без конца и края. Единственно, что укрепляло в душе чувство надежды, – то, что оставалось ощущение не только самого зла, но и отчаянной борьбы с ним, даже – Победы над ним. Неимоверно, неподъемно трудной, кровавой, жертвенной и все-таки Победы!

Саша не знал, как собрать все эти мысли воедино, и, по старой привычке, решил, что над этим еще стоит поразмыслить. Но, наверное, так и были задуманы эти стены, чтоб возникало и оставалось именно такое ощущение. Такая память. «Память и имя...»

Оглушенный увиденным, он вышел из музея вслед за Марекком и удивился. Перед ним была обычная улица с обычными людьми. Вот юноша и девушка, не стесняясь никого, целуются на ходу. Не Москва! Но в Варшаве тоже можно увидеть такое. Вот пожилая пара медленно, не без труда катит перед собой коляску, в которой, видимо, расположилось новое поколение. Вот невысокая девушка в военной форме с длинной винтовкой за спиной куда-то деловито вышагивает. Надо же, как у них служба устроена! Саша прицелился и «щелкнул» девушку. Та, не останавливаясь, улыбнулась и подмигнула ему.

В общем, жизнь как жизнь, пусть и не очень привычная, но, в целом, обыденная и реальная. И тут его словно ударило: разве может жизнь быть «просто нормальной» после того, что он только что видел?

- Пошли-пошли, - Марек дернул его за рукав. – День еще не окончен.

Они продолжали свой путь по городу. Марек все время что-то рассказывал. Но Саша опять его слышал и не слышал – он не мог отрешиться от увиденного в музее Холокоста. Как Марек сказал? «Память и имя»? Да-да, конечно, память! И имена, имена...

Когда они вернулись в Старый город, то из этого состояния, после Яд Ва-Шем, Сашу не вывела даже мостовая с памятным еще по студенческим временам названием Виа Долороза. «Путь скорби», - не то законсервированная когда-то зубрежка подсказала, не то машинально перевел про себя что-то еще помнивший из латыни Саша. Да-да, потом это и называли «Крестный путь»... По ней, как он хорошо знал, шел тот самый

Христос. Там же они с Марекком нашли словно кем-то сверху заботливо выброшенную, благодатную тень посреди раскаленного дня.

Вызвали интерес, но не потрясли даже гулкие и почти прохладные своды всемирно известного Храма Гроба Господня... Да, конечно, здесь, на этом месте, как считается, провел последние минуты Иисус Христос – Иешуа. Так, наверное, звали его здесь при жизни с ударением на «у» (возможно, га-Ноцри?) – человека, которого почти полпланеты почитают Богом. На этом месте (тогда за стенами Города) его распяли и похоронили, по преданию, тут он и воскрес - единственный из земных людей...

Величайший, огромный, сверхмогущественный Рим, перед которым склонялся чуть ли не весь тогдашний мир, убил здесь во имя каких-то своих принципов невинного и незащитного еврея, весь грех которого состоял в том, что он хотел свободно думать и говорить. Так Рим сам создал этому земному человеку возможность и право стать в умах и душах людских Богом...Которому сам уже столько веков поклоняется! Чудеса... Но даже эта неожиданная мысль не привела Сашу к потрясению увиденным здесь. Что можно думать о Боге, его мудром могуществе и заступничестве после того, что он познал и почувствовал в Яд Ва-Шем?! Где же он был тогда, этот Бог?

Саша подумал, что если бы его провели в обратном порядке, то, возможно, он по-другому бы чувствовал и реагировал. Интересно, Марек специально выстроил их путь именно в такой последовательности, хотя, вероятно, логичнее было бы наоборот? Или это случайность? А может, именно так сознательно задумана и кем-то написана экскурсия? Саша и сам немного понимал в таких делах. А тем более, евреи, как сказал бы папа, народ непростой. Вряд ли они не понимают, что делают, и в этом случае тоже...

- Послушайте, маэстро, а вы еще не прог-г-голодались? По-моему, на тебя духовная составляющая нашего маленького путешествия по Великому г-г-городу произвела такое впечатление, что ты просто забыл о пище каждодневной? Время не такое раннее - мой желудок уже настоятельно напоминает о законах гостеприимства. В Израиле еще никто не умер с голоду, и если ты будешь первым, то мне не простят этого коллеги ни здесь, ни в России, ни в Польше...

Красноречивая тирада Марека и по-настоящему разыгравшийся аппетит, кажется, расшевелили все-таки Сашу и вернули его к действительности. Да, пожалуй, следовало бы перекусить. Время действительно серьезно перевалило за середину дня, а впереди было еще много интересного, и неизвестно, удастся ли утолить позже уже и сейчас весьма острый голод.

- Что-то есть в ваших словах, коллега. Голод – не тетка, как говорят в России; в смысле – не пожалеет. Если выберете приятный ресторанчик, можно в меру экзотический, для еще более тесного соития с местной действительностью, то я готов. Только не настаивай на вашем еврейском гостеприимстве! Как говорит один мой азербайджанский друг: гость в доме – праздник в доме, но только первые три дня. А поскольку я здесь всего три дня, то мы твои обязанности принимающей стороны ограничим днем вчерашним. Сегодня я вполне нормальный человек, способный не только себя накормить, но и тебя пригласить в качестве ответного хода.

- Э-э, так дела не делаются, ты здесь не дома! Поэтому... Во-первых, на ресторанчик не рассчитывай. Они у нас не очень дешевы, это не Польша, твоих командировочных не хватит. Да и экзотику, если не боишься, лучше вкушать в более свободных местах и со знающим человеком – угощу таким блюдом, какого ты не видел и вряд ли увидишь. Во-вторых, о гостеприимстве: вчера ты был мой личный гость, а сегодня я тебя принимаю за счет профессионального сообщества, мне выделили специальный бюджет – небольшой, но приятный. К тому же мы пойдем не в очень дорогое место, но такое, чтоб ты надолго запомнил. Так что пенензами будешь размахивать в Варшаве, а здесь побереги шекели для «дьюти фри» - он у нас один из самых недорогих и интересных в мире. В аэропортах люди не очень прижимисты, а евреи торговать умеют – это известно. Но...

- Что «но»? – немного насторожился Саша, которого разговоры о еде привели в состояние активного гастрономического возбуждения. – Что-то мешает нашим прекрасным планам, которым ты меня уговорил полностью подчиниться? Кстати, это место, куда мы идем, – далеко?

- Несколько минут ходьбы. А «но» - это в том смысле, что хочу тебе показать еще одну любопытную достопримечательность.

- Надолго?

- Не бойся, это по дороге. К тому же ты не пожалеешь - увидишь весьма знаменательное сооружение.

- Еще более знаменательное, чем то, что мы видели? Не может быть!

- Не надо мерить: более, менее... Здесь все необычно, каждое место знаменательно по-своему. И это – тоже! Особенно для такого человека, как ты... Впрочем, мы уже пришли. Как у вас говорят: «Разуй глаза»!

Вот оно, знаменитое Александровское подворье, также известное, как «Русские раскопки» - когда-то собственность правительства Российской империи. Здесь же церковь святого Александра Невского, археологические древности, небольшой музей... Кстати, ты «Апельсины из Марокко» Аксенова читал?

- Читал, конечно! Я вообще очень люблю Аксенова. А при чем здесь?..

- Я тоже люблю, доставал всегда, когда получалось. «При чем здесь?», - будем обедать, расскажу. Мучайся любопытством! А пока продолжим о Подворье... Построило его «Императорское Православное Палестинское общество» в 1896 году; подчеркиваю специально для любителя точных дат. Хочешь зайти? Ты же, наверное, православный?

- Да как тебе сказать? При советской власти об этом особо не задумывались, не принято было. Хотя, наверное... А какой еще? Что же касается «зайти» – так сильно есть хочется! Там что-то очень интересное?

- Интересное – не интересное: дело вкуса... Каждый сам для себя определяет. Светильники, кресты разные, подсвечники, старые монеты...

- Нет, знаешь, давай лучше к еде. Понимаю, что меня такой подход не красит, но впечатлений сегодня было столько, что, боюсь, наступит пресыщенность. Всего все равно за день не увидишь...

- Ну, может, ты и прав. Мое дело – спросить. Настаивать не буду. Лучше по дороге расскажу интересные вещи. Каких только совпадений не бывает!

Возглавлял Императорское Палестинское общество, как известно тем, кто интересуется, Великий князь Сергей Александрович. На редкость противная личность, что странно при таком приличном папе, – я Александра Второго из русских царей больше всех уважаю. Сергей был здесь паломником и как бы стал инициатором создания Александровского подворья и раскопок на этом месте, он

увлекался историей. Так со столицей еврейского государства навсегда связал свое имя один из самых больших российских антисемитов, постоянно норовивший сделать гадость иудеям. Впрочем, не только им. На нем вина за Ходынскую давку и «кровоавое воскресенье» 9 января... Есть сведения о его ответственности за эту жуть. И то, и другое события стали ступенями сперва к февральской революции, что закономерно, а потом – и к октябрьскому перевороту. Это уж – как кому... Даже его прямой родственник из царской фамилии, не помню имени, писал, что не может найти в нем ни одной положительной черты.

«Грамотный парень!» - с уважением подумал о новом знакомом Саша. Не только много знает, но еще и формулирует профессионально, а это мало кто умеет.

- Слушай, ты, наверное, все-таки, историк. Колись! В смысле признавайся, - поправил себя Саша, увидев, что Марек не очень реагирует на сленговое московское словечко. – Мы, похоже, дважды коллеги. Что заканчивал?

- Ну, историк-историк... Тель-Авивский университет, - с досадой и раздражением махнул рукой Марек. – А что толку? Я хотел заниматься русским и польским еврейством, рассчитывал, что знание языков поможет работать и исследовать всерьез. Но... В мое время противостояния между Израилем и соцлагерем здесь о России не хотели слышать ничего, кроме тамошнего государственного антисемитизма и проарабской позиции Москвы. А про Польшу – только про восстание в Варшавском гетто и послевоенные погромы. Темы, конечно, очень важные и серьезные, но не единственные же! Еврейский раздел польской истории насчитывает века! Представляешь, сколько там интересного! А на территории СССР? В корнях иврита много общего со старорусским языком, да и с современным – тоже. У идиша там вообще было свое пространство. И – немаленькое! На идише писали прекрасные писатели, поэты, исследователи, энциклопедисты.... Евреи были еще какой частью советской культуры! Какую фамилию в советском кино или в музыке ни поскреби, известно кого найдешь... А те, кто переводил на русский язык поэзию Кавказа и Средней Азии? А «жидовствующие», если знаешь...

- Слышал...

- Тем более поймешь. Там есть такие замечательные вещи, но... Кто бы в те годы хоть там, хоть здесь дал этим

заниматься? Теперь, конечно, другие времена. Но и я уже другой. Как у вас говорят, нельзя два раза войти в одну и ту же речку... Короче, моя история давно стала историей, хотя и пытаюсь чем-то интересоваться. Но удается нечасто. Газета отнимает столько, что больше ничего не остается... Да что я объясняю? Ты же тоже газетчик?

- Как тебе сказать? Примерно, как ты – историк.

- Ладно. Что было – сплыло, - я правильно говорю по-русски? Чего теперь жаловаться? Тем более, что мы уже пришли.

Марек вдруг остановился и достал из сумки фляжку.

- Ты чего? – спросил Саша удивленно. - Давай там возьмем, посидим нормально, как люди. Я угощаю! Мой бюджет вполне выдержит пару рюмок виски.

- Да не в этом дело, - улыбнулся Марек и протянул фляжку Саше. – Просто... Как бы тебе сказать? Мы идем в арабское заведение. А мусульмане не пьют алкоголь, Аллах не разрешает. Ты разве в своем Азербайджане этого не понял? Ну, начинай!..

Саша запрокинул голову, сделал большой глоток, оторвал фляжку от губ, перевел дыхание, подумал секунду и опять запрокинул голову, вливая в себя еще какие-то граммы. Наконец, он остановился, вытер губы тыльной стороной ладони, улыбнулся, тем самым выражая удовольствие вместе с благодарностью, и, передавая фляжку хозяину, ответил:

- В советском Азербайджане к этой теме было своеобразное отношение. Там говорили, что когда писали Коран, то процессов ректификации еще не знали, поэтому Аллах запретил вино, а про водку страждущие тогда вообще не слышали. Поэтому водку – можно. Что интересно: такая позиция не уменьшает интерес к вину, которое в тех краях весьма пристойное. Грузинское, конечно, поизвестней, но и азербайджанское – очень недурно.

- У нас тоже неплохое, приедешь в следующий раз – угощу.

С этой фразой Марек неожиданно нырнул в узкий проход между домами, который с улицы не так уж и разглядишь. Саша шагнул вслед, и они оказались в коридоре из столов с простыми клеенками, прямо под открытым небом. Переулок (или столовая – от слова «стол» в его прямом смысле) уходил вперед метров на 50, потом заворачивая куда-то за угол. Этот странноватый «интерьер» сверху

прикрывал голубой шарфик неба, шириной аккурат с проход между довольно высокими стенами с редкими окнами, - видимо, жилые помещения сюда не выходили. Получался довольно глубокий колодец вытянутой формы.

- Выбирай! - Марек гостеприимно, словно у себя дома, показал рукой на столики. Среди них были и совершенно свободные, и занятые полностью или частично. Здешний народ ел весело и по-простому. Посетители громко разговаривали, естественно, на непонятном Саше языке, и заразительно, от души смеялись. Многие обращались зачем-то к соседним столам, отчего создавалось впечатление, будто здесь все друг друга знают. Саше захотелось слиться с этими людьми в их простоте и веселости, и он потянул к себе стул у ближайшего столика.

- Не, - сказал Марек. - Мы пойдем ближе к кухне, понимающие люди с краю не садятся.

Они прошли несколько метров. Свободные места действительно уже не встречались, но Марек все-таки высмотрел у уступа стены, словно в углу, небольшой столик на троих.

- ...Как раз для нас. Присаживайся!

Они сели, положив рюкзак и сумку на третий стул - удобно, никто не покусится. Тут же подбежал худенький подросток с веселыми черными глазами в не очень чистом фартуке, смел полотенцем с клеенки невидимые крошки, от чего она вряд ли стала более гигиеничной. Но все вместе оставило хорошее впечатление внимания к клиенту. Паренек положил перед каждым из них простенькое меню и улыбнулся Мареку, как старому знакомому. Тот кивнул в ответ и погрузился в меню. Саша свое отодвинул, понимая, что ничего интересного он там не увидит.

- Значит, так, - Марек поднял голову. - Тебе советую хумус с курятиной, он чуть дороже, но зато очень сытно - не пренебрегай калориями, у тебя впереди непростой и не короткий вечер. Можешь просто не найти возможность перекусить. А я, как местный житель, возьму, пожалуй, что-нибудь полегче. Хумус с оливками - достаточно. А что пить будешь? Лимонад, сок? Может, апельсиновый? Мне он надоел на всю оставшуюся жизнь, но ваш брат-европеец его любит. А я, наверное, эшколиёт... Ну, грейпфрут, по-вашему.

- А пива нельзя?

- Не... Пиво ведь тоже алкоголь, у них с этим строго. Потерпи, потом компенсируем.

- Ну, если и пиво нельзя, тогда все равно. Про местное название грейпфрута мне уже в гостинице объяснили. А вот что за экзотику ты мне есть предлагаешь? Съедобно? Ты уверен, что я это переварю?

- Хумус все переваривают – и язвенники, и трезвенники, как шутили в одном вашем хорошем кино – мне однажды видеокассету привезли, клево! А хумус... Как тебе объяснить? Это – властелин ближневосточного стола, своего рода гороховая паста. Даже не знаю, с чем русским сравнить... Разве что с квашенной капустой? Тоже и вкусно, и полезно, и закуска, и гарнир, и дешево, и сердито, - ввернул Марек очередную русскую киноцитату, до которых он, видимо, был большой охотник.

Парень постарше в чистой белой рубашке принес и поставил перед ними по большой тарелке с чем-то типа каши и несколько блюдец с разноцветным наполнителем, в каждом было что-то свое.

- Это приправы. Будь осторожен, могут оказаться достаточно острыми! - заботливо пояснил Марек. – Все, приступай. Нет, погоди секунду...

Марек взял из прибора на столе бутылочку и побрызгал в тарелку и Саше, и себе чем-то зеленовато-желтым и знакомо-тягучим.

- Подсолнечное масло? - удивился Саша. – Зачем? Так полагается?

- Масло, конечно, только не подсолнечное, а оливковое. Культура оливкового масла родилась в этих краях в незапамятные времена, точнее – семь тысяч лет назад. Представляешь, насколько его за это время улучшили? Такого масла больше нигде нет!

С этими словами Марек взял со стола нечто вроде перечницы и стал густо посыпать Сашину и свою тарелку чем-то красным.

- Э-э, с перцем поосторожней! Я люблю острое, но...

Марек засмеялся.

- Не бойся, это не совсем перец, это паприка, она помягче... Попробуй!

Саша осторожно попробовал. Вкус был совершенно незнакомый, он никогда ничего подобного не ел, но весьма приятный: мягкая, чуть пряная каша обволакивала рот изнутри, а попавший на вилку кусочек курятины в этом – как его? – хумусе приобрел совсем иной вкус.

- Ну?! – Марек посмотрел на него победным взглядом, словно он лично вчера этот хумус придумал, вроде как

повар графа Строганова, вспомнил Саша папины застольные присловья. – Правда, здорово? Между прочим, это место так и называется - «хумусия», типа «место хумуса». И есть мнение, с которым я согласен, что это – лучшая хумусия в нашей столице. Когда бываю в Иерусалиме и есть время, непременно сюда заглядываю. Иногда говорят, что лучший хумус на Ближнем Востоке – в Сирии. Но я считаю, что это – антисемитская пропаганда. Лучший хумус – здесь! А ты как думаешь?

- Мне, признаться, трудно сравнивать. Но действительно недурно! А этот ваш хумус, он бывает в каких-нибудь консервных банках? Хочу с собой захватить. И правда – экзотика!

- Никаких проблем! Чего-чего, а это - в любом магазине, на каждом шагу. Успеешь, даже завтра утром, рядом с гостиницей. Пока – наслаждайся! А я тебе расскажу под это дело обещанную байку про Александровское подворье и «Апельсины из Марокко».

Так вот, говорят, когда-то, в один прекрасный день наше руководство задумалось: в столице стоит чужая и, одновременно, чуждая (во всех смыслах) собственность, и создает дополнительные кривотолки, удобные для враждебной пропаганды. Что с этим делать? Государство в те времена было небогатое, расходы и без того, особенно на войну, легкими не бывают... Так что живые деньги, чтоб выкупать эту недвижимость, никто платить, конечно, не собирался. Да и ради чего? Зачем она нам, по серьезному счету? И тогда еврейские головы придумали... рассчитывать апельсины. Их здесь – хоть заешь, и они очень дешевы. А там могут и заинтересовать. Правда, все считали, что гордая советская держава ни в жисть не возьмет поганые жидовские фрукты. Но почему не попробовать?

Короче говоря, передали по каким-то «закрытым» каналам такое смешное предложение. И оно вдруг встретило разумный отклик! Вроде, когда Хрущеву доложили, он, нормальный, в целом, мужик, сказал: «А что? Советского человека к Новому году апельсины побаловать, ребятишек порадовать - неплохо. Да и все равно Подворье это пропадает же даром. А так – хоть шерсти клок...» Понятно, с какой овцы шерсть имелась в виду... Только, добавил он, хорошо бы, чтоб не от евреев. А то позору не оберешься, по всему миру смеху будет... Мол, придумайте что-нибудь.

И придумали. Дипломаты опять побегали и договорились с марокканцами, понятно, не бесплатно - то ли оружием рассчитались, оно у нас, как известно, неплохое, то ли еще чем, врать не хочу, не знаю. Короче говоря, приплыли в марокканский порт два парохода с апельсинами, там... на каждый!.. наклеили марокканскую бирочку, чтоб никто не догадался, и вперед – на север, в Страну Советов! «Дорога-ая моя-я столи-ица»... - пропел Марек на известный мотив, опять не уточняя, какую столицу он имел в виду. – Вот тебе и апельсины из Марокко! Хочешь в кавычках, хочешь – без... Замечательный Новый год получился у советских людей и замечательная повесть замечательного писателя... Ну, как тебе байка?

Саша слушал внимательно, время от времени усмехаясь. Он, вообще-то, слышал эту историю, но, конечно, без столь веселых подробностей, да и Марек так вкусно рассказывал, что трудно было оторваться.

- Ого! - Марек вдруг озабоченно посмотрел на часы и, словно по мановению этого жеста, в природе что-то резко изменилось, потемнело (за разговорами они и не заметили, как солнце ушло куда-то за крыши домов), сразу ощутимо похолодало, и трудно было поверить, что еще несколько минут назад город плавился от жары.

- Ну, у вас и перепады...

- Конец сентября, бывает. В этом городе погода меняется просто по часам, - Марек вытащил из рюкзака и напялил на себя огромный плащ грязно-желтого цвета, вполне под стать той же несуразной шляпе, которую он так и не снимал после Стены Плача.

И удовлетворенно добавил:

- Вот, совсем другое дело!

Саша натянул вытащенный из сумки свитерок и благодарно сказал:

- Хорошо, что ты меня предупредил, а то бы замерз. Замерзнуть в Израиле – просто еврейский анекдот!

- У нас так, - неопределенно ответил Марек. – Пошли!

- А-а это?..

- Не трать время, я уже рассчитался. Шевели ногами, нас ждут!

- Кто? Где?

- Сейчас увидишь.

Они вышли на улицу. Свежий и весьма неприятный ветер гнал по ней мусор: опавшие листья, какие-то бумажки, обертки... Саша вообще обратил внимание на то, что

Великий город с такой историей, судьбой и именем, особой чистотой и гигиеничностью не отличался. Видимо, в этом он мало изменился за время своей не короткой жизни, усмехнулся про себя историк Саша. Они прошли еще несколько метров, когда рядом с ними остановилась скромная и явно не новая легковая машина неизвестной Саше модели.

Марек шлепнул ее по капоту:

- Точность – вежливость королей!

Из окошка показалась довольно крупная лысина, на которой непонятно как держалась маленькая черная кипа, предназначение которой Саша уже понял. Пол-лица занимали большие черные очки, полукругом обрамлявшие щеки.

- Залезайте! - сказала лысина, что прозвучало странно в этом пейзаже. Марек потянул на себя заднюю дверцу и галантно пропустил Сашу вперед.

- Давай быстрее, здесь нельзя стоять! У Левы могут быть неприятности.

Саша не без труда втиснул свое довольно большое тело в малогабаритное пространство заднего сидения, убрал ноги, позволяя залезть Мареку. Тот довольно проворно это сделал и сильно захлопнул дверцу.

- В своей машине хлопай! Это не самосвал! - недовольно буркнул водитель. – Мой драндулет рассыплется, если будет иметь дело с такими, как ты. Вам только дай волю... Сегодня машину чужую развалите, завтра страну, как будто она тоже не своя...

- Знакомься, это - Лева, - очень доброжелательно, нисколько не обращая внимания на услышанное, сказал Марек. – А это – Саша, наш коллега и гость, я тебе говорил. Лева тоже журналист. Мы с Левой думаем по-разному, но парень он просто золотой, и всего через три часа страшных пыток и мольб согласился предоставить нам тремп, то есть подвезти.

- Господи, какой трепач!.. Вы с ним давно знакомы?

- Второй день, - удивленно ответил Саша.

- И терпите? Еще не побили? У вас железные нервы... Блин, куда лезешь, лапоть, твою мать!.. - Лева резко дернул руль, с трудом уйдя от «подрезавшей» его большой черной машины. - Какая обида, что этот мудака не понимает по-русски, а на благородном иврите нет такого мата, которого он заслуживает. Вы, наверное, не знаете, что ездить по

Иерусалиму – все равно, что общаться с вашим гидом. Никаких нервов не хватит!

- Лева, спасибо, что сравнил меня с нашей великой столицей! Такой комплимент, да еще из твоих уст...

- Какой трепач! - снова беззлобно вздохнул Лева, и, не обращая внимания на Марека, спросил: - Вы издалека? Из Москвы? Теперь у вас становится модно к нам приезжать. Раньше вы танки и самолеты нашим соседям давали, чтоб сюда ездить... Ну, ничего, как они к нам поехали, так здесь и остались. У нас страна маленькая, но для трупов врагов место найдем.

- Трупы врагов мы обычно обмениваем, а то было бы как-то не по-людски, - отозвался Марек. – Да и места, действительно, жаль...

- Не по-людски, говоришь... - недобро усмехнулся Лева.

Саша не забыл, что эмоциональная тирада, произнесение коей не сильно мешало Леве лавировать в потоке машин, был обращена к нему, и решил уточнить.

- Нет, я из Варшавы. То есть когда-то – из Москвы, но уже давно живу в Варшаве. Так получилось.

- В Варшаве тоже антисемитов хватает. Правда, не был, но так люди говорят. Я, между прочим, и сам когда-то из Москвы... На «Соколе» жил. Знаете?

Лева умолк при этих словах, может, что-то вспомнил.

- Знаю, конечно, - ответил Саша коротко, не желая мешать водителю болтовней и отрывать его от собственных мыслей, но на всякий случай спросил: - Может, вы хотите узнать о Москве? Я слеживаю, в общем, представляю тамошнюю жизнь.

- Нет, ничего не хочу об этом знать! Нас там не жаловали, на каждом шагу доставалось... И за что? Просто за национальность! А тем, кто хотел учить язык своего народа или почитать, уж не скажу про счастье увидеть, как живет еврейская страна, вообще была одна дорога – в лагерь. Я два года в отказе просидел, уехать не мог. Прямо как бандиты, которые в заложниках держат, чтоб выпустить, последнее у семьи отняли – за гражданство, за диплом... Пропади оно пропадом, это гражданство! Чего мы сегодня должны ими интересоваться?

Саша понимал состояние Левы, но не знал, что говорить. Он не был наивен, от родителей рано пришло интуитивное, а потом и профессиональное понимание общественных проблем и тягот; разумеется, чувствовал, что происходит в стране с «еврейским вопросом». Он помнил, как, заходя в

комнату, ловил обрывки фраз родителей «на эту тему», «про дядю Борю и тетю Веру», после чего они замолкали или отправляли его погулять, заняться уроками. И у Аркашки, где его очень любили, родители порой, когда он входил, давились словами и закрывали рты, словно обсуждали что-то запретное. Да и сам Аркаша, у которого от него не было тайн, неловко отводил глаза, боясь, что друг неправильно поймет происходящее и обидится. А как он тогда перевел разговор на волейбол, когда Саша поделился с ним мыслями о «национальных проблемах» отношения учителей к Йосику Эпельбауму? Что уж тут не понять? Но, с другой стороны, напрямую это все Саши никогда не касалось, и он вспоминал о таких вещах, лишь когда что-то происходило. Мало ли других дел и тем?

Конечно, неприятно, даже гадко все это было осознавать. Ну, а что он лично мог сделать? Дать в морду хулигану, который оскорбит Аркашку? Это – без проблем! А что завтра произойдет, если его рядом не будет? Ну, от хулигана на улице он его, допустим, прикроет, хотя Аркашка и сам мог за себя постоять, – пусть не так крепко, как они с Толькой, но трусом тоже не был. А кто его от чиновников району защитит? Сашина мама? А если б у нее была другая должность?

И вдруг Сашу как обожгло: ведь и немцы потом говорили, что они не знали о происходящем в концлагерях. А может, и правда, не знали? Мы ведь тоже не все знали... Но ведь не может быть, чтоб совсем не догадывались? Он же догадывался, чего скрывать? Но разве можно сравнивать две страны – советскую и нацистскую? Можно ли сравнивать тех, кто закрывал ворота за узниками Освенцима, и тех, кто сбил с проклятого концлагеря замок, освобождая этих несчастных? Нет, конечно, вздохнув, подумал Саша, страны сравнивать все-таки нельзя. А вот молчание тех, кто знал и соглашался, такое похожее в обеих странах, наверное, сравнивать можно. Тем более что при нацистах, безусловно, страшнее было с чем-то не соглашаться, чем на его, Сашиной родине...

Его мысли прервало довольно резкое торможение, соответствующее место получило ощутимый толчок.

- Зеу, игану, - Лева звучно хлопнул по рулю. – Станция «Площадь революции». Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны...

- Лева хочет сказать, что мы приехали, - перевел и объяснил Марек.

- Во всех смыслах, - непонятно, в манере Марека, добавил Лева и, чуть обернувшись, спросил у Саши: - Ну что, понравилось у нас?

- Да, конечно! - искренне, даже немного восторженно ответил тот. - Очень понравилось! Тель-Авив – по-своему, Иерусалим – по-своему. По-моему, вообще каждый человек должен побывать в этой стране. Особенно тот, кто понимает, что здесь он найдет и ощутит что-то такое, чего в других местах не встретишь. Я еще, когда собирался – как бы предчувствовал. Много, где побывал, но здесь, конечно...

Саша запнулся.

- Даже и не знаю, как сказать...

- Ну, не знаете, так и не говорите, - отозвался Лева вдруг потеплевшим голосом. - Главное, что вы это почувствовали, а сказать словами, тем более, попав сюда первый раз, это вообще дело непростое. Некоторые здесь всю жизнь живут, а выразить то, что их охватывает в этом городе, не могут. Только чувствуют... На меня не обижайтесь. Вы, наверное, хороший человек, тем более, если оттуда сюда приехали. Да и потом, вы же сами русский, как я вижу, москвич, а почему-то в Варшаве оказались. Видать, не только нам в той жизни тесновато было... Ладно, не говорите, я такие вещи быстро понимаю... И приезжайте еще, вы не все видели. Да все и не увидишь, хотя стоит стараться...

Марек и Саша вылезли на тротуар возле пустой автобусной остановки. В потухающем закатном пространстве висела какая-то смутная тревога. Неуютный невзрачный павильончик на остановке комфорта и защиты не предлагал. Свитерок не спасал от острых порывов холодного, пронизывающего ветра, который заставлял ежиться и, кажется, гулял уже не только снаружи, но и знобил где-то в стынущем нутре. Саша почувствовал, что немного устал, захотелось в тепло и уют с горячим чаем и рюмкой чего-нибудь оживляющего.

- Это называется «тремпиада» - здесь встречаются те, кто надеется, что их подвезут, и прощаются расстающиеся, кого уже подвезли... - Марек передернул плечами, поглубже кутаясь в плащ. - Слушай, ты это, на Леву, и правда, не сердись! Он - парень на самом деле очень хороший, но твое московское происхождение всколыхнуло в нем старые комплексы. Досталось мужику когда-то.

- Я понял, - спокойно сказал Саша, пытаясь унять дрожь, но в то же время чувствуя, что, если он прервет эту тему, Марек может его неправильно понять. – А вы что, вместе работаете?

- Не, Лева пишет только на иврите. Принципиально! У него очень хороший иврит. Я приехал маленьким, он взрослым, и это серьезная фора, а язык у него богаче. Он учился в Москве на каком-то, не помню точно, престижном физфаке, увлекся иудаизмом, и на четвертом курсе отказался от допуска к секретным делам, на всякий случай, да и с военной связываться не хотел. Понятно, тут же нашли какой-то повод и отчислили. Мыл пробирки где-то, ждал разрешения на выезд в Израиль, два года мурыжили. За это время закончил подпольную ешиву, потом преподавал в ней же иврит. Здесь занялся журналистикой. Мы познакомились в милуиме...

- Чего?

- А, извини, это – ежегодная месячная армейская переподготовка. Голда Меир, знаешь?

Саша кивнул.

- Так вот, Голда Меир говорила, что израильская армия предоставляет согражданам... отпуск на 11 месяцев в году, когда они могут заниматься своими делами. Милуим обязателен, но.... до 40 лет. Леву уже по возрасту не брали, но он просил, требовал, наконец, добился. К тому же бегать и ползать его особо не заставляли, а в армейской пресс-службе, где мы оба эту переподготовку проходили, он был очень на месте, - Марек сделал небольшую паузу, словно старался четче продумать и сформулировать для незнающего конкретики, но искренне интересующегося гостя, то, что хотел сказать. – Понимаешь, мы слевой, хоть и добрые товарищи, но совершенно разные люди. Собственно, евреи вообще все разные. Нас объединяет то, что мы – евреи. А разъединяет то, что разные. В общем-то, разъединяет не сильно, но... В нашей истории, бывало, так разъединяло, что вспоминать страшно...

- Интересно у вас, - ответил Саша, чтобы хоть что-нибудь сказать, хотя ему тут же вспомнилась гражданская война, бушевавшая на его родине, как аналог неведомых ему исторических событий, упомянутых Марекком. Все постигается в сравнении с чем-то знакомым. «А кончилась ли наша гражданская война? - по привычке спросил себя Саша. - А у них закончилось то, о чем сказал Марек?»

Но вслух он сказал о другом:

- Холодно, однако... Бр-р-р... У тебя там во фляжке не осталось?

- Пару глотков наскребем, может, - ответил Марек с сомнением, достал флягу и протянул Саше. – Давай, ты первый...

В надежде согреться Саша сделал пару глотков, но почувствовал, что живительная влага заканчивается и пора остановиться. Марек оценил милосердие гостя и, благодарно кивнув, присосался к металлическому горлышку, но быстро оторвал его от себя и завинтил. Разочарованно пожал плечами:

- Абисиле... Все хорошее быстро кончается.

Заметив вопросительный Сашин взгляд, пояснил:

- Это печальное слово означает «немножко» в переводе с идиш. Обычно евреи вкладывают в него еще и надежду на то, чего в этот момент так не хватает.

Марек достал откуда-то из-под плаща белую твердую пачку сигарет и зажигалку, закурил.

- Редко курю, но ношу с собой, иногда хочется; особенно, после глотка. А тут еще погода такая...

Саша с интересом посмотрел на незнакомую пачку.

- «Тайм», - пояснил Марек, заметив его взгляд. – Наши, местные. Есть «Ноблес», они еще дешевле, но уж очень крепкие. Их предпочитают рабочий класс и поклонники острых ощущений. Американские – дороговато, а вот «Тайм» - в самый раз: средние и по цене, и по крепости... Да и патриотично, свои; здесь это ценят. А ты, я смотрю, совсем не куришь...

- Мама в далеком детстве отучила. На всю жизнь!

- Отлупила? – Марек усмехнулся. - Крепко?

- В тот раз обошлось клятвами, хотя, вообще-то, могла...

А вот друзьям – нас вместе застукали курящими – так досталось, что они неделю задницы чесали... Зато все не курил!

- И у нас в Польше такое бывало, считалось, что помогает при воспитании. Да и что удивительного? Польша исторически та же Россия. А здесь отшлепать ребенка – ни-ни! Хотя там и в еврейских семьях такое «нравоучение» нередко встречалось, но Израиль – дело другое. Иногда, говорят, так хочется своему отпрыску врезать, а нельзя; могут даже привлечь, если кто-то узнает. Бить или не бить? – философски передразнил Гамлета Марек. - «Русские», которые в 70-х приехали, кстати, мне тоже рассказывали о подобных сомнениях...

- Слушай, холодать стало не на шутку, - перебил его Саша.

- Иерусалим высок-к-ко, - с каким-то опять многосмысленным значением объяснил Марек, которого его «жестяной» плащ, видимо, как-то закрывал от совсем уж неприятных ощущений. – Может и прод-д-дуть, особенно, если кто незнаком с нашими реалиями... Ведь все уверены в жаре, а п-п-п-получается по-разному. Ничего, несколько минут, сейчас за тобой приедут. Эти люди не опаздывают. Давай прощаться, дальше о тебе будет заботиться самая ответственная часть Израиля – его армия! Не волнуйся, я тебя вверяю – как тебе мой русский?! – вверяю в гораздо более надежные и сильные руки.

- Да я и не волнуюсь, - ответил нараспев Саша, чувствуя, что его тоже неудержимо тянет начать заикаться.

Марек опять полез куда-то под плащ, видимо, в карман брюк, и достал небольшую изящную шариковую ручку, с маленькой шестиконечной звездой на тоненьком витом брелоке.

- Держи, на память! Шестиконечная звезда - «Маген Давид», Щит Давида по-русски, защищает еврея. Но, я думаю, и не еврея тоже, если от души подарен евреем. Ручка, между прочим, «Паркер»; там специально сделали на заказ какой-то израильской организации для подарков «с национальным колоритом». Мне тоже перепало...

- Спасибо! А это – тебе!

Саша снял с ключей от квартиры и протянул Мареку свой брелок – маленькую никелированную открывашку для пива.

- Вот, смотри.

Саша вывинтил из ножки открывашки витой металлический стерженек и вставил его в паз затейливого инструмента – получился штопор, небольшой, но вполне пригодный, чтобы пробки из винных бутылок вытаскивать.

- Будешь открывать – вспомнишь. Это мне папа когда-то подарил, ему какие-то умельцы сделали. Всегда его в таких случаях вспоминаю. Теперь ты будешь вспоминать.

- Ух ты, к-клево! А не жалко?

- Честно? Жалко! Но дарить надо то, что жалко. Тогда надолго запомнишь того, кому подарил.

- Ну, если так...

- Мои координаты в Варшаве у тебя есть.

- Бог даст, встретимся. Ты тоже имей в виду...

- Не сомневайся, я человек без комплексов. Секунду!

Саша полез под свитер, достал визитку, повернулся к машине и протянул ее Леве, который у открытого, несмотря на ветер, переднего стекла наблюдал за их прощанием.

- Возьмите! Будете в Варшаве – не проходите мимо. Повожу, покажу... Московский адрес не предлагаю, видимо, нет смысла.

- Спасибо! Хотя я редко выезжаю из Израиля, мне и здесь хорошо. Но, бывает. Учту. В общем, спасибо! Не поминайте лихом!

Саша обернулся к Мареку, обнял его:

- Не пропадай!

Марек посмотрел на часы. И в этот момент рядом с ними остановился большой серый джип с металлическим кузовом.

«Бронированный», - уважительно подумал Саша.

Дверца джипа открылась, и откуда-то из его глубины донеслось по-русски:

- Ну, где наш гость? Давайте-давайте!..

Саша шагнул вперед и полез в брюхо машины.

Тот же голос из полумрака произнес над ухом:

- Располагайтесь! У нас тут жестковато, зато надежно, - в голосе послышалась улыбка.

- Спасибо, понял, - ответил Саша, осторожно присаживаясь, и стал оглядываться.

Окна джипа были зарешечены, но частая металлическая сетка не мешала обзору. Двигался он наверняка вдоль границы, которая была отмечена колючей проволокой. Рядом с водителем, понял Саша, как и положено, сидел командир группы – молодой офицер лет 23-х. А напротив него расположились солдаты в касках, с длинными винтовками между коленями. «Видимо, автоматические М-16», - Саша внутренне похвалил себя за эрудицию. Рядом с гостем оказался знакомый нам тот самый Борис, что уезжал вместе с Аркашей (да-да, бывает такое!). Он явно был заместителем командира, и, видимо, получил задание выполнять роль переводчика для зарубежного журналиста.

- Первый раз в Израиле? Интересно?– спросил он у Саши.

Не переставая целиться «никоновской» фотокамерой то в солдат напротив, то в окно, Саша охотно ответил:

- Первый. – И добавил восторженно: - Потрясающе интересно! Природа, лица... Такое встречается, просто... Как гравюры Доре. А уж то, что удалось с вами в настоящий рейд вырваться, так просто удача! Я когда про эту командировку узнал, так вашу армейскую пресс-службу еще

оттуда обхаживал... Ни одну женщину так не уговаривал! И Союз журналистов ваш помогал, профессиональная солидарность! Ну, слава Богу, теперь порядок в войсках, как папа говорил.

- Порядок-порядок! Мой тоже так говорил, - ответил Борис.
- Раз уж с нами послали – не прогоним. Вас специально в наш экипаж определили, где есть офицер с русским языком. Это не каждый раз встречается. А откуда у тебя такой русский? Ты же из Польши, нам сказали.

- Сейчас из Польши. А когда-то из родной Белокаменной, я вообще-то коренной москвич. Был в командировке в Варшаве, полюбил красавицу польку, женился...

- Ты смотри! И разрешили?! В те годы?

- Конечно, не просто было, но, если очень захотеть... - Саша не стал вдаваться в подробности. – Вы, я понял, тоже из Союза? А там где жили?

- Не выкай! В Израиле нет обращения на «вы»; даже приезжие, то есть мы, от выканья быстро отвыкают. Из Союза, конечно, еще в семидесятых. А там – больше по гарнизонам: сперва с отцом, пока он погоны носил, потом сам – взводным, ротным...

- А здесь по специальности, значит?

- Да, повезло! В семидесятых с этим проще было. Я ведь о таком и мечтал! Видел советский фильм "Офицеры"? «Есть такая профессия – родину защищать»... Вот я и хотел свою новую родину защищать. Фильм, конечно, классный, отец смотрел, плакал... Шимон! - Борис, перебив себя, нагнулся к командиру, сидевшему впереди, спросил на иврите: - Нам курс менять не пора?

Тот ответил, глядя на дорогу:

- Все нормально, я контролирую. Гостем занимайся.

Борис, которому явно доставляло удовольствие болтать на родном языке, что, видимо, случалось нечасто, продолжал:

- Я, кстати, недавно узнал – этот фильм патронировал маршал Гречко, помнишь, министр обороны был в Союзе? Антисемит, говорили, еще тот, это он арабов все время на Израиль натравливал. Но фильм получился замечательный, ничего не скажешь!.. А у тебя отец воевал?

- Не то слово! Прагу брал! Это уже после Берлина было. И у друзей детства отцы – фронтовики, мы в такое время росли... У них и матери на фронте были. А моя просилась-просилась, курсы снайперов закончила и радистов-разведчиков, но все равно на фронт так и не пустили.

Отправили со школой, где она была директором, в эвакуацию - «в порядке партийной дисциплины».

- Да, - отозвался Борис, - эти слова я еще помню... А родители твои в Москве?

- Где ж еще? А вот с друзьями жизнь развела, - Сашу потянуло на откровенность, как бывает в разговоре с малознакомыми людьми, которых вряд ли потом встретишь. – Толька остался в Москве, Аркашка, между прочим, тоже еврей, в Израиль собирался. А оказался в Америке...

- Постой-постой... Аркадий, говоришь? Длинный такой? Случайно, не историк? Твоих примерно лет? В семьдесят третьем уезжал.

- Почему примерно? Мы все трое сорок первого года. А ты сильно моложе?

- Да, ощутимо. Почти десять лет разницы. А ты тоже историк по образованию или журналист?

- Нет, журналистика – призвание, а заканчивали мы все исторический. Не хотели разлучаться. Представляешь? Правда, все гуманитарии, поэтому могли себе позволить такую роскошь. В одном доме жили, в одном классе учились, вместе в институт поступали. Детская дружба – на всю жизнь! Хоть и в разных странах теперь, но все равно. А Аркашка действительно длинный, за 190 рост, верста коломенская, волейболист был очень хороший... Кажется, и правда, в 73-м эмигрировал. А ты откуда знаешь?

- Точно, волейболист! Он говорил, вроде даже кандидат в мастера. Так мы же в одном вагоне уезжали. Только он в Вене к американцам подался. Жаль, конечно, хороший парень, мог бы и здесь пригодиться. Хотя... может, он и прав был? Израиль – непростая страна. Чтоб здесь себя нормально чувствовать – ее любить надо. Не за что-то конкретное, не за удобство жизни, а просто любить. Больше, чем себя, прости за пафос; в общем, как с женщиной. А как он там, в своей Америке? Семья, дети? Боялся, что не найдет себя в Израиле. А там нашел? Виделись?

- Нормально живет, преподает историю России, так что тоже по специальности. Университет, правда, небольшой, провинциальный, зато недалеко от Нью-Йорка. Не Гарвард, конечно, но по эмигрантским меркам неплохо. Практически профессор. Монографию написал. С семьей – нормально. Двое парней растут. Американцы! А свидеться пока не получалось. Переписываемся, изредка звоним друг другу.

Польша, конечно, не совсем Совок, но тоже была соцлагерь, не все слава Богу... К буржуям только сейчас стали потихоньку выпускать. Если эти мои снимки на выставку в Нью-Йорке пройдут, в будущем году обязательно с ним увидимся. Никуда Аркашка не денется!

- Обними его от меня и рюмку на мой счет поднимите!

- Обязательно! И не одну! Скажите, а теракты здесь бывают?

- Опять ты на «вы»?

- Родимые пятна социализма. Что поделаешь?

- Давай, переучивайся быстрее... А то мне самому неловко. Теракты? Бывают, конечно, но редко. Каждого сукиного сына не просчитаешь... В Европе, между прочим, тоже бывают.

- В Европе это все-таки случайность, а здесь (не обидишься?), как я понимаю, почти закономерность. Или не так? А ты сам-то как здесь? Как жизнь в целом?

Борис, немного помрачнев при этих словах, пожал плечами:

- Ну, насчет закономерности не знаю, это не ко мне, это – к теоретикам. А мы – практики безопасности, если можно так сказать. Наше дело – солдатское. Служба... Слава Богу, что есть. Как тебе объяснить? Вот, послушай. Тут кто-то еще до моего приезда написал на манер Высоцкого:

*«Мы уходим на рассвете,
А с Синая дует ветер,
Разгоняя тучи до небес.
Позади страна родная,
Впереди пески Синая,
И тяжелый автомат наперевес...»*

Не слышал? Примерно так... Синай уже давно снова египетский, уж не знаю, к лучшему или к худшему, но смысл происходящего мало изменился.

- Нет, не слышал, конечно. Да и откуда? Но написано здорово! Действительно – израильский Высоцкий...

В это время Шимон с переднего сидения на иврите, но не без идишско-русского сленга, что отличает евреев-ашкеназов во всех странах мира, окликнул Бориса:

- Борух, генуг мит трепн. - И перешел на «чистый» иврит. – Я вижу, что ты гостем увлекся, русский вспомнил. Но не забывай и то, что мы к плохому месту подъезжаем, это сейчас важнее. Предупреди ребят, пусть оружие проверят, и сам будь внимательнее.

Борис развел руками и показал Саше глазами на командира: мол, извини. Тот понимающе кивнул, но не удержался и спросил Бориса шепотом:

- А Шимон – это переводится?

Борис ответил тоже шепотом:

- Ты будешь смеяться, но Шимон – это просто Семен, Сема. Он тоже из наших, из России... лет сто пятьдесят назад семья приехала. По-русски, конечно, не понимает, но пару словечек знает и чувствует, - наверное, от бабушки с дедушкой осталось. Так что будь осторожен! Хороший парень, но... Командир есть командир! Это в любой армии так.

Шимон, уловив свое имя, обернулся, очень хорошо улыбнулся Саше, а Борису строго погрозил пальцем:

- Борух! Займись делом! Я понимаю, что ты земляка встретил, но здесь война, а не бейт-кафе.

Глубокой ночью, уже высадив завершивших дежурство солдат на базе, Шимон и Борис привезли Сашу к его гостинице в Тель-Авиве. Все вышли из машины прощаться.

- Ну как, доволен? – спросил у Саши Борис.

Тот, со счастливой улыбкой, похлопав по своей навороченной фотокамере, показал большие пальцы двух рук:

- Просто потрясающе! Даже мечтать не мог о таком! Может, поднимитесь? У меня там есть кое-что...

- Нет, у нас еще работа, надо сдать смену, - Борис расплылся в улыбке. - Утром приедем с тобой позавтракать, может, "кое-что" и пригодится. Мы тоже захватим. Правда, Шимон не очень по этому делу, здесь как-то не сильно принято, из-за жары, наверное. А я с удовольствием вспомню молодость, в выходной не вредно.

- Борух, слиха..., - словно извиняясь, улыбнулся Шимон и тронул за плечо Бориса.

- Кен-кен... - тот понимающе, и с некоторой неловкостью в голосе сказал Саше. - Ты извини, но камеру я у тебя заберу. Пока...

Борис увидел непонимающий Сашин взгляд и вздохнул:

- Таков порядок. Пусть пресс-служба ЦАХАЛа проверит твои снимки, а утром привезем.

Саша ответил, не скрывая обиды и недоумения:

- А как же свобода слова, свобода информации? У вас же демократия!

- Свобода слова здесь ни при чем, - сказал Борис, сразу нахмурившись.- Публикуй, что хочешь и... - после

секундной паузы добавил, - что совесть позволит. Но мы должны быть уверены, что твои кадры после публикации, пусть случайно, не сообщат врагу что-то важное и секретное. Даже просто номер машины, оружие... Таков порядок.

Борис снял у Саши с плеча камеру и перевесил к себе:

- Прости, друг: на войне, как на войне...

- Но мне же улетать завтра... то есть уже сегодня! А если вы не успеете?

- Успеем-успеем, - ответил Борис, - там лаборатория круглосуточно работает. А дел здесь максимум на полчаса. Я специально дождусь, а утром привезем, не беспокойся. И посидим, и в аэропорт проводим. Не беспокойся! Это еврейская страна, здесь врагов сильно не любят и с ними не церемонятся. А друзей не бросают и не подводят. Так что иди, досыпай. Все будет в порядке! В войсках. Как твой папа говорил...

Саша вдруг снял с плеча удивленного Бориса свою камеру:

- Подождите, я щелкну пару планов ночного Тель-Авива, а то такого шанса больше не будет.

Он навел камеру на поток машин, что летели мимо сквозь синеву ночи и сверкали всеми огнями; потом на тех, кто, несмотря на поздний час, сидел за столиками небольшого кафе у гостиницы, - особенно впечатлили пожилые женщины в тяжелых, явно дорогих украшениях, пьющие кофе.

Закончив, Саша повелительно сказал Борису и Шимону, которые терпеливо ждали окончания этой спонтанной фотосессии:

- Встаньте-ка рядом! Ближе...

И жестом показал Шимону, чего он от них хочет, но это было и так понятно.

Навел камеру – вспышка, щелчок, второй...

- Снимок будет называться "Офицеры"...

Он подмигнул Борису, который, улыбнувшись, перевел его слова командиру и протянул им камеру. Тот благодарно кивнул, тоже улыбнулся в ответ, и военные направились к машине. Борис что-то говорил Шимону, наверное, объяснял ему дополнительный смысл Сашиних слов.

...Военный джип ровно шел по ночной, почти пустынной в это время, но хорошо освещенной трассе. Навстречу, пока еще вдалеке, но очень быстро сокращая расстояние, летела легковая машина. Офицеры переглянулись.

- Что-то не нравится мне этот лихач, - сказал Шимон озабоченно.

- Мне тоже, - ответил Борис. – Но...

- Я понимаю, что дежурство закончилось, и официально у нас нет полномочий. Но досмотреть все равно придется. Он же явно превышает скорость. Зачем? Да и вообще, мало ли что? В крайнем случае, отделаюсь выговором. Полицейских-то наших не видно. Ничего, это – мое решение, - твердо сказал Шимон. – Я сам, ты не встревай.

Он притормозил джип, военные вышли, перекрыли дорогу. Шимон дал знак машине остановиться. Легковушка встала. В ней сидели двое очень молодых людей.

Офицеры подошли со стороны водителя.

- Покажи документы, - строго, но беззлобно сказал Шимон тому, кто сидел за рулем.

Тот медлил.

Борис поторопил, направив на водителя автомат:

- Ну...

Водитель вышел. Совсем мальчик, как показалось, он стал что-то бормотать по-арабски, прижимая руки к груди, словно умоляя.

Борис поднял автомат на уровень лица водителя:

- Документы, и расстегни куртку. Говори на иврите. Ну...

- Борух, не надо так, - сказал Шимон негромко. - Он же тоже человек, тем более, почти ребенок. Я ж тебя просил... Отойди, опусти автомат. Я немного понимаю арабский, разберусь.

- Шимон, не рискуй! - с тревогой в голосе отозвался Борис.

- Есть инструкция по досмотру подозрительных машин

Но тот спокойно и так же негромко ответил:

- Не стоит в каждом видеть террориста. Отойди на шаг, не пугай его. В случае чего, прикроешь.

Он повернулся к водителю и сказал спокойно на плохом арабском:

- Не бойся, паренек! Мы просто должны проверить. Если все в порядке, никто тебя не тронет. Расстегни куртку и дай нам документы.

Водитель опять что-то быстро забормотал по-арабски, снова стал прижимать руки к груди.

Но Шимон, уже теряя терпение, громко приказал:

- Я тебе серьезно говорю – расстегнись и распахни куртку!

Шимон взял водителя за отворот куртки и сильно потянул. Борис увидел округлившиеся в ужасе глаза второго. Мгновенно даже не понял, а нутром, обледеневшей кожей

ощутил, что сейчас произойдет, и навел автомат. Но Шимон заслонял кабину. Им не хватило секунды.

Водитель стиснул руки на груди, раздался взрыв... Пламя полыхнуло Шимону в лицо. Он упал. Бориса отбросило, ударило головой о бордюр. Но он, окровавленный, тут же вскочил и кинулся к Шимону. Машина горела. Рядом валялись тела юных террористов. У Шимона сильно текла кровь из ран на груди и голове. Но он не потерял сознания и даже попытался приподняться, собрав все силы, которые еще жили в его полном последней энергии молодом разорванном теле.

- Шимон, Шимон... - Борис нагнулся к товарищу. - Как ты, брат?

Шимон показал глазами на Сашину фотокамеру, которая лежала рядом с ним:

- Фото... Если меня... в госпиталь... Саша...

- Не волнуйся, все в порядке! Я сейчас, сейчас...

Шимон попытался еще что-то сказать, но сознание покидало его.

Завыли сирены «скорой помощи» и полицейской машины, которые подскочили одновременно. Шимона перенесли в карету «скорой». Санитар перевязывал голову Борису, на лице которого, пониже глаза, и на руке была видна кровь. Полицейский офицер подошел к Борису, что-то спросил, тот помотал подбородком. Поднял фотокамеру и пошел к своей машине.

...Саша проснулся в номере от прямых лучей тель-авивского солнца, бивших в окно. Посмотрел на часы. Ого! Начало двенадцатого! Он поднял голову, присвистнул:

- Где же эти деятели?

Ответом ему стал телефонный звонок. Знакомый голос с непривычной глуховатостью, без красок и теплоты, сказал в трубке:

- Это Борис. Можешь спуститься? У выхода из гостиницы маленькое кафе... Где ты вчера ночью снимал...

Ох, не понравился Саше этот голос! Словно с ним говорил не вчерашний знакомец, а совсем другой человек. «Может, что-то не так? Вроде я ничего не нарушил, хотя... Черт их знает с ихней безопасностью! - подумал он. – Ладно. Разберемся...»

- Да, я помню... А может, поднимешься? Ты с Шимоном?

- Нет, спустись. Я жду...

Люди в кафе радовались клочку тени и своей вечно праздничной праздности, как это принято в веселом открытом Тель-Авиве. Пили колу, содовую, ели мороженое - южный город, что вы хотите? Саша сразу увидел Бориса. Его голова и рука, лежащая на столике, были в свежих бинтах. Сквозь них чуть просвечивала кровь, через щеку шла рваная царапина, залитая зеленкой.

- Ты что, ранен?
- Да так, царапины.
- А где Шимон?

Борис отрешенно, словно в пустоту, произнес:

- Шимона больше нет...
- Как нет? Мы же вот расстались только-только... Что случилось?

- По нашим меркам - обычное дело. Работа. Мы уже возвращались, хотели быстрее в лабораторию пресслужбы ЦАХАЛа попасть, отдать твои снимки и покомарить немного, чтоб утром тебе их завезти, а уже потом – по домам, выходной, все-таки. Едем, навстречу машина. На бешеной скорости... В такое время... Теоретически это – не наше дело. Но что-то не понравилось. Шимон решил, что надо проверить. Остановили. Подошли. Там арабы... Молодые... Фактически, совсем пацаны. Явно нас испугались...

Хорошенькая девушка-официантка принесла им кофе и содовую, заказанные Борисом. Он прервал себя, спросил у Саши:

- Может, ты есть хочешь? Или по глотку? Помянем Сему по-русски.
- Есть точно не хочу. А по глотку? Наверное, стоит. У меня есть наверху. Хочешь, поднимемся?
- Увидим... – ответил Борис и так же глухо продолжил. - Ну, вот...

Борис остановился, глотнул кофе, потом воздуха, как перед прыжком в воду, и уже хотел продолжить, но тут их отвлекла громкая незамысловатая музыка. В паре метров от них за столиком сидела ярко, по-летнему одетая молодая женщина с мальчиком лет шести, крутившим ручку явно дорогой игрушки типа «Музыкальной шкатулки», из которой громко несло: «Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто Жить на нем легко и просто, Чунга-чанга. Наше счастье постоянно! Жуй кокосы! Ешь бананы! Жуй кокосы! Ешь бананы! Чунга-чанга!»

Борис поморщился, видно было, что желание говорить о случившемся у него пропало.

- Да что тут долго рассказывать? Шимона грузили в амбуланс уже без сознания. Я потом узнавал, они его до больницы не довезли.

- Амбуланс? – переспросил Саша.

- Ну, это «скорая» по-нашему.

- Сколько ему было?

- Через пару месяцев - 23. Жена, двое детей. Погодки - мальчик и девочка. Что поделаешь? Служба... Такое время, такая профессия. У нас же здесь всегда война, фронтовики - практически сверстники, наши современники; как там было в пятидесятых. Мне один такой ветеран – он у нас преподавал на курсах командиров, тоже, между прочим, из российских – когда-то сказал: «Погибать за родину входит в профессиональные обязанности военнослужащего». Что тут добавить? Семья Шимона в Иерусалиме живет. Сейчас туда поеду. Будешь?

Борис достал из кармана металлическую фляжку.

- Мне за рулем, конечно, не рекомендуется, но... Тут, сам видишь, случай особый. Давай... все-таки помянем по-нашему... У меня сыну, Йосику, четырнадцать. Поздновато спохватились... Абсорбция, служба... Здесь не просто. Вот, все утро думаю: хочу теперь ему двойное имя записать, пусть будет Йосеф-Шимон. Как считаешь?

- Считаю, правильно!

- И еще. Твое имя было последним, что он произнес, так что ты теперь и за Шимона жить должен. И я тоже... Сколько успею. Остальное пусть Йосеф-Шимон за нас доживет, если получится. Он ведь тоже в офицеры готовится. Да, кстати, вот твоя камера. Все в порядке.

- А-а?..

- Не беспокойся, я успел в лабораторию заскочить. Еще ночью. Объяснил ребятам, что да как, они быстро все сделали. Все в порядке. За четыре часа до вылета за тобой придет наша машина. Не рано, не рано. Здесь недалеко, но... В Израиле регистрация начинается за три часа до отлета. Проверки, то-се. Безопасность требует времени. И порядка. Такая страна. Лети, выставляйся. Удачи тебе! Аркадия увидишь – обними от меня, вспомните за глотком... Да, вот, здесь адрес и телефон. Будете в наших краях – милости прошу! Дом, конечно, еврейский, но картошку на сале и кислую капусту под водочку обещаю. Если соскучились...

- И ты не пропадай, Борух... Береги себя! Вот, возьми, визитка с польскими координатами. И московские на обороте записал. Мало ли...

В эту секунду назойливая мелодия, которую они, в общем, за своей печалью уже перестали слышать, видимо, механически начавшись сначала, вновь громко и бесцеремонно ворвалась в паузу их разговора: «Чунга-чанга, синий небосвод! Чунга-чанга, лето – круглый год! Чунга-чанга, весело живем! Чунга-чанга, песенку поем! Чудо-остров, чудо-остров, Жить на нем легко и просто, Жить на нем легко и просто, Чунга-чанга. Наше счастье постоянно! Жуй кокосы! Ешь бананы! Жуй кокосы! Ешь бананы!..»

- Наверное, «новые русские», - заметил Саша. – Я слышал о таких. Недавно появились, но уже осваивают мир. Теперь можно... Если деньги есть.

Борис грустно развел руками...

- Да, не то, что у нас было... Ну, удачи тебе! Давай, что ли...

Они обнялись.

Игорь Альмечитов

Анна

- Извините, - она удивленно повернула лицо и посмотрела ему прямо в глаза, - можно к вам под крыло?

На мгновение ему показалось, что сейчас он услышит что-то резкое, но она лишь утвердительно кивнула, задержав взгляд на каплях дождя, стекающих по его лицу, поднятом воротнике сырого уже пиджака, сгорбленных от холода плечах и веселом блеске где-то в глубине глаз.

- Залазьте... - она символически подвинулась, уступая место под зонтом.

Он протянул руку:

- Давайте я понесу...

Она покорно отдала ему зонт, улыбнулась чему-то и покачала головой.

- Вам в какую сторону?

- А вам?

Он весело улыбнулся.

- Пока не знаю...

- А когда узнаете?

- Когда скажете, в какую сторону вы едете.

- С чего вы взяли, что я вам скажу?

- Ну, не скажете... Бог с вами... Значит, покажете...

- Это еще почему?

- Ну не бросите же вы меня под дождем... без зонта.

- Ну, хорошо... А как будете возвращаться?

- Возьму у вас зонт, а завтра завезу.

- Это что, шутка?

- Какая же шутка? Вполне нормальное желание – не промокнуть до нитки. Не думаете же вы, что я его у вас банально украду?

- Откуда же я знаю? Мы ведь даже не знакомы, - она снова улыбнулась, и в глазах ее, как в лужах после дождя, заиграли огни фонарей.

Он посмотрел на ее влажные губы, ямочки на щеках, и на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл, спокойным и очень серьезным голосом произнес, глядя на ее губы:

- Зря вы улыбнулись.

- Почему? – она неожиданно нахмурилась, не в силах угнаться за перепадом его настроения.

- Теперь я вас точно не брошу...

- А если меня встречает муж?
- Да не врите, никто вас не встречает...
- Вот те на! С чего это вы взяли?
- Не знаю... Только никто вас не встречает.

Она опять загадочно улыбнулась и посмотрела на пустую мокрую дорогу, уходящую вниз к реке, и огни противоположного берега, размытые серой пеленой дождя. Лужи еще мелко дрожали от падающих капель, но все сильнее пахло сырой землей и опавшими, гниющими уже листьями.

Он посмотрел на ее точеный профиль, несколько широкие скулы, коротко стриженные волосы, покрашенные в белый цвет, в каком-то ухоженном беспорядке.

- Не страшно?
- Чего?
- Ночью... Одна... Без мужа... Уже почти двенадцать.
- Нет, не страшно.
- Меня зовут Игорь.

Она опять улыбнулась:

- У вас так всегда?
- Что именно?
- Без перехода... От одного к другому.
- Не знаю... Не обращал внимания... Наверное, постоянно.
- Ну, тогда меня зовут Анна.
- И куда же вы идете ночью, Анна? К тому же совсем одна?

Она подняла на него глаза, и опять он почувствовал то же, что и пару минут назад – что влюбился и уже боится потерять то, чего еще не приобрел.

– Если не секрет, конечно, – добавил торопливо, опасаясь получить насмешливый ответ.

- С работы.
- В двенадцать ночи?!
- Да... в двенадцать ночи.
- Не хочется о работе?
- Не хочется, – она опять улыбнулась.
- Господи, и что у вас за улыбка?
- И что у меня за улыбка?

- Не знаю даже, как объяснить, – он запнулся, не в силах оторваться от бликов фонарного света в ее глазах. Она милостиво согласилась:

- Ну раз не знаете, то не объясняйте, – улыбка уже не сходила с ее губ.

Они приблизились к очередному фонарю. Теперь блики заиграли на ее губах. Он замер на мгновение, борясь с желанием без предисловий и долгих окольных фраз, здесь же, обнять ее и зарыться лицом в невообразимый беспорядок на ее голове. Затем прикусил изнутри губу и осторожно, унимая искушение, засмеялся, предчувствуя, что она не поймет. Или испугается. Да и сам он не решится. По крайней мере, прямо сейчас.

- Не буду...

Она чуть прищурила глаза, читая на его лице отголоски одолевающих его чувств.

- И откуда же вы идете так поздно? – подстраиваясь под его тон. – Игорь, – добавила насмешливо-многозначительно. И улыбнулась опять.

- Черт его знает... Шатаюсь без толку...

- Ночью?

- Ночью...

- Совсем без толку?

Он пожал плечами:

- Совсем.

Они уже стояли на пустой остановке. Редкие машины проносились мимо, разбрызгивая осколки света. Дождь почти утих, и стало ощутимо тихо.

- Простудиться не боитесь? – она вдруг протянула руку и медленно провела пальцами по его мокрым волосам.

- Нет, не боюсь.

- И успешно? – она опустила глаза, растирая между пальцев капли воды.

- Что именно?

- Шатания без толку...

- Сегодня – да.

- Это не в связи со мной?

- Да...

- Смотрите, компания из меня жалкая...

- Меня устраивает... Да, и черт с ними, с компаниями. Может, я от них и прячусь в городе по ночам.

- И часто прячетесь?

- Часто.

- И под дождем тоже?

- И под дождем...

- А почему без зонта? – она помедлила секунду и с усмешкой добавила: - Чтобы был повод под крыло попроситься?

- Нет, это случайно...

- Что именно? Без зонта? Или под крыло? – она хитро прищурилась, наблюдая за его замешательством.

- И то, и другое...

- Понятно... - она подняла глаза на пустую дорогу.

- Так куда вам, Анна?

Она назвала остановку.

- Ого!.. И как вы собирались добираться?

- На такси.

- Значит, хорошо, что я встретился.

- Почему?

- Потому что я вас и отвезу...

- Давайте лучше выпьем кофе, а доеду я сама.

- Выпьем и кофе, и доедем вместе.

- Ну вот, а потом я буду беспокоиться, как вы добрались.

- Вот уж за меня беспокоиться не надо. Со мной ничего не случится...

- Уверены?

- Да.

- Ну, хорошо, тогда идем пить кофе.

- Слушайте, Аня, давайте на “ты”, хорошо?

- Хорошо...

- Так чем вы все-таки занимаетесь? В смысле – ты... – он таки смутился оттого, что начал первым.

- Работаю...

- И кем?

Она хотела было ответить, но лишь вздохнула и улыбнулась. Глаза ее опять засияли в свете фонарей. Чувствуя, что опять тонет в ее глазах, уже боясь долгих секунд молчания, он спросил первое, что пришло в голову:

- Все еще не хочется о работе?

- Все еще не хочется...

- И часто так работаете? – он посмотрел на часы.

- Сегодня пришлось задержаться...

- И успешно?

- Успешно... – она усмехнулась, отвернулась в сторону и потянулась в карман легкого пальто за сигаретами.

- Куришь?

- Курю... Иногда.

Пока она доставала из пачку сигарету, ковырялась в сумке в поисках зажигалки, он молча пожирал ее глазами, чувствуя, что уже переигрывает со своим неумелым восхищением. Точнее, попыткой показать его намеренно наглядно.

Она глубоко затаилась и, не поднимая головы, тихо произнесла:

- Уже сентябрь...

- Да, – эхом отозвался он, – уже сентябрь.

Она подняла на него глаза, поежилась от сырости, еще раз затаилась и задумчиво посмотрела на сигарету. Он протянул руку, мягко забрал у нее сигарету и бросил ее в искрящийся поток воды, несущийся по краю дороги.

- Холодно?

- Да, прохладно...

- Держи, – он протянул ей зонт, нырнул под него и обнял ее сзади.

- Сожми кулаки...

Она покорно сделала, как он просил, не поворачивая головы, лишь спина чуть напряглась в неуверенном ожидании.

- Не бойся... – он обхватил ее кулаки своими ладонями, согревая ее руки, прижался губами к ее затылку и нежно выдохнул горячий воздух.

- Так теплее?

- Да... – он скорее почувствовал ее улыбку и осторожно поцеловал ее волосы.

- Извини...

Она мягко освободила свои руки и передала ему зонт. Потом взяла его левую руку в свои ладони, поднесла к лицу и, словно боясь нарушить зыбкое спокойствие, молча поцеловала ее.

Неожиданно зазвонил телефон. Он механически сунул руку в карман.

- Это у меня... – она потянулась к сумочке, расстегнула молнию и вытащила телефонную трубку.

- Да?... Привет... – лицо ее как-то сразу осунулось, – Все в порядке... Нет... Не могу... - она пристально посмотрела на него. – Нет, я уже около дома... Нет, не хочу... Сегодня нет... Хорошо... Ладно... Нет, не смогу... Звони... Пока... – она сложила трубку и отвернулась.

- Я покурю, хорошо?

- Хорошо...

Она положила телефон в сумку, вытащила пачку сигарет, но после секундного раздумья сунула ее обратно.

- Дождь закончился... – она подняла лицо к фонарям.

- Замерзла?

- Да... чуть-чуть.

- Иди сюда... под крыло, – он улыбнулся ей, и она осторожно придвинулась к нему. Он мягко обнял ее и выдохнул горячий воздух ей в затылок. Она поежилась, как от щекотки, и он всем телом снова почувствовал ее робкую улыбку...

...Он вернулся мыслью во вчерашний день. Вспомнил ее глаза в отсветах фонарей и от неожиданности радостно засмеялся – на некоторое время совсем забыл о ней – самом объемном воспоминании последних часов, опять заиклившись на самом себе. “Анна, – мысленно растянул слово. – Надо же... Анна...”

Он закрыл глаза и укрылся с головой одеялом. Чтобы отгородиться ото всего мира, пусть даже такой ненадежной стеной. В знакомой себе Вселенной... знакомой от края до края...

На следующее свидание он так и не пошел, боясь привыкнуть к ней... к той, которую все равно пришлось бы потерять рано или поздно...

Мечту захотелось оставить в памяти мечтой, не окуная ее в реальность... хотя удержаться от звонка и встречи с ней стоило невероятных усилий воли и душевных терзаний...

...Больше он ее не видел... Разве что единственный раз в городе, спустя почти целый год. Да и то издалека...

Михаил Певзнер

Он, она и Тель-Авив

(фрагменты повести)

За прилавком книжного магазина сидел грузный человек, лет пятидесяти, без каких-либо следов растительности на голове.

- Привет, Алексей, проходи.

- Ну что, Юра, прочитал, то, что я тебе передал? - начал Лёша с места в карьер.

- Да, есть о чём говорить.

- Ну, так может и аванс, такой малюсенький, - он показал на пальцах, - выпишешь?

Лицо человека за прилавком приобрело недовольное выражение, и он стал похож на ворчливого ребёнка, страдающего ожирением.

- Лёша, давай говорить серьёзно, потому что к работе надо относиться именно так. Ты взрослый человек и сам прекрасно понимаешь, что в теперешнем состоянии никакого аванса быть не может, ни от меня, ни от кого-либо вообще. В общем-то, сейчас нет ничего! Просто ты затронул мою больную тему, Тель-Авив, - поэтому мне хочется с тобой об этом поговорить. Поверь моему слову, в теперешнем состоянии эта рукопись не заинтересует никого, ну, естественно, кроме меня. Ту книгу, что ты задумал, сложно продавать вообще, тема не проста для маркетинга.

- То есть?

- Ну вот, например, твоя предыдущая книга о тель-авивской бирже. Её продавать легко. Всё сводится к простому тезису: «Заплати небольшие деньги за книгу, для того, чтобы научиться разбираться в бирже и нормально зарабатывать». А для того, чтобы книга о Тель-Авиве нормально продавалась, - это должна быть бомба, шедевр. А у тебя всё сухо, академично, не интересно.

- Поясни.

- Поясняю: ты описываешь интересные вещи, а читатель не сможет воспринять это так, как нужно.

- Не понял.

- Ну вот, например. Ты отлично перевёл четверостишие Бялика. Помнишь его?

- Конечно:

*Огрошую тебя
Огазированный
Омилуюсь твоей сдачей
Очарованный¹*

- Так вот, сам перевод - отличный. Во-первых, потому что других переводов не существует, а во-вторых, потому что действительно хорош. Но, кроме этого четверостишья, ничего нет. Ты не передал ту атмосферу, никак не показал, что для жителей означало это место на самом деле...

- То есть?

- Ну, смотри, 1910-й год. Ничего нет. Ещё нет ни страны, ни Тель-Авива. Есть какой-то маленький пригород арабского Яффо, населённый нелюбимыми и презираемыми местным населением евреями. Ещё нет абсолютно ничего. И вдруг, посреди этого ничего, словно фонтан в безводной пустыне, возникает место – киоск.

Он прервался на секунду, обдумывая следующее предложение.

- И сразу же, местное население понимает, что уже есть что-то!.. Люди сразу понимают, - продолжил он, - что появилось что-то совершенно замечательное. Есть место, куда можно выйти, встретиться с друзьями, других посмотреть, себя показать, куда можно пригласить девушку.

Он сделал большой глоток кофе, и Лёша с удивлением отметил, что взгляд собеседника перестал блуждать и стал одухотворённым.

- Жители вдруг осознают, что здесь будет большой красивый город, и что именно здесь и сейчас к этому городу сделан первый, маленький, но такой важный шаг, а ты этого не показал... Вот даже четверостишье Бялика. Ведь смысл очень прост: «Красавица, налей мне газировки, я тебе дам грош, а ты мне вернёшь сдачу милями²». Ты написал, что это был просто флирт с молоденькой продавщицей, но ведь это не так!

Пойми, - продолжил он, - поэты люди восторженные. Таким был и Бялик. А его восторга по поводу того, что уже

¹ Перевод Михаила Певзнера.

² Миль – мелкая монета, 1/1000 палестинского фунта. Грош – 10 миль.

есть, где посидеть с друзьями, обсудить мировые проблемы в обществе местных пикейных жилетов, увидеть девушек, прихлёбывая газировку, пофлиртовать, и всё это меньше, чем за грош... Этого ты абсолютно не показал!

Ладно, - усмехнулся он, - будем работать.

- Кстати, - Лёша глубоко затянулся сигаретой. - Ты сказал, что книгу по бирже легко продавать. Юра, мне бабки очень нужны.

Взгляд издателя потух, глаза устремились куда-то в пустоту.

- Ты забываешь, что издать книгу - это расходы. Твоя книга их ещё не окупила.

- Ну, хоть пятьсот шекелей. У меня сейчас с деньгами совсем труба.

- Сейчас триста, и это последнее слово. Не проси и не канючь. Придётся подождать где-то ещё годик. Тогда можно будет о чём-то говорить. Распишись вот здесь.

Положив деньги в кошелек, Лёша вышел из магазина. На душе было хорошо и спокойно.

По пути его глаза наткнулись на двух личностей, нетрадиционной сексуальной ориентации; на тротуаре были разбросаны бесплатные рекламные журналы, с первого взгляда на обложки которых становилось понятно, что это за продукт.

«Зазывают, как в новый ресторан, - подумал он, - а с другой стороны, что тут такого? Реклама как реклама. На самом деле, в сексе, как ты не верти и не расписывай, ничего нового быть не может. Человекообразные существа делали это еще до того, как стали людьми. Недавно появился виртуальный секс. Но на поверку оказалось, что и это старо, как мир, и даже в Торе описано, - как грех Онана. На "старую тахану"¹ сходить, что ли? Нет, слишком грязно, слишком много «сермяжной правды жизни» даже для меня. А куда же пойти?»

На душе до сих пор оставалось приятное ощущение от полученных денег.

«А, - подумалось ему, - живём один раз. Пойду в "Весёлый домик"». Такое название жители Тель-Авива дали роскошному дому терпимости, появившемуся недавно напротив «Банана бич». «Там чисто, девочки красивые,

¹Имеется в виду район старого автовокзала, где в описываемые времена было расположено множество притонов и дешёвых публичных домов.

обстановка приятная. Правда, дороговато, но оно того стоит».

Он сам не понял как, но его мысли неожиданно переключились на Лилю. «Слушай, - обратился он сам к себе, - а зачем ты её держишь у себя дома? Зачем она вообще тебе нужна? Ведь всё просто, как три копейки! У тебя дома симпатичная сексуальная девушка, а ты думаешь, к какой проститутке пойти! Так зачем она тебе нужна? Поговорить с ней абсолютно не о чем. Секса с тобой она не хочет совершенно. Когда ты на неё сильно «наезжаешь», даёт себя раздеть и лежит как бревно, - офигеть, как романтично!! А всё её либидо направлено исключительно на твои мозги. Ни помощи, ни страсти, ни удовольствия, одни проблемы. Не твоя она. Тебе вон в собственный дом возвращаться неохота, когда она там. Всё, решено, пусть валит к своей маме в Бат-Ям. Надо будет с ней поговорить сейчас, не откладывая в долгий ящик. Чем раньше свалит, тем лучше».

Занятый своими мыслями, по дороге домой он зашёл в киоск на старом автовокзале, купил сигарет и начал подниматься по Гдуд ha-иври на Алию.

По дороге его остановила симпатичная девушка:

- Извините, пожалуйста, можно воспользоваться вашим телефоном? Только на минутку, мне лишь нужно сказать пару слов, - обратилась она к нему на русском.

У неё было, открытое, искреннее, чуть-чуть раскосое лицо, а сердечная бесхитростная улыбка украсила её щёки очаровательными ямочками.

- Конечно, нет проблем.

Она быстро набрала номер. «Ну что, получил свою выручку, мудило?» - донеслось до Лёшиного уха. Реакции он не услышал, а лишь разобрал её ответ: «Отсоси, козёл!»

Она нажала на красную кнопку «END» и, улыбаясь, вернула ему телефон.

- А ты здесь работаешь?

- Сегодня уже нет, - снова улыбнулась она и быстро, весёлой, почти подпрыгивающей походкой прошла в один из пассажиров.

Он продолжил путь, погружённый в свои мысли. Вдруг «Турецкий марш» телефонного звонка прервал его шаг.

- Алё!

- Кто это? - спросил мужской голос на другом конце линии.

- Ничего себе, сам мне позвонил, а потом спрашиваешь, кто я.

- С твоего телефона только что девушка звонила. Где ты находишься?

- А тебе какое дело?

- Ты не груби, придурок. Я здесь задаю вопросы. Кто ты?

- Слышишь? Тебе же сказали, что делать, вот иди и отсасывай, козёл!

Лёша нажал красную кнопку на своём «эриксоне» и продолжил путь. Его обогнал «фиат пунто», проезжавший на малой скорости. Стоявшая неподалёку девушка подняла руку. Машина приостановилась для того, чтобы осмотреть "ночную бабочку", и вдруг один из искателей приключений изнутри машины заорал на неё раздражённым низким голосом:

-Тьфу, блин, педик вонючий! А ну, вали отсюда, коксинель¹ хренов.

Из удаляющейся машины послышался весёлый смех.

- У тебя сигареты не найдётся?

Бросив на неё внимательный взгляд, Лёша оценил могучие плечи, толстые пальцы, низкий голос, - и понял, что разозлило ночных гуляк. Конечно же, когда она родилась, это был мальчик. На неё же весь инцидент не произвёл абсолютно никакого впечатления.

- Да, пожалуйста.

Он щёлкнул по коробке «Пэл-мел» так, что одна сигарета оказалась немного поверх других, и протянул ей пачку.

- Спасибо. Тебя как зовут? Я Дина, - улыбнулась она.

- Лёша. Но знаешь, я не по этим делам.

- Да не волнуйся, я это вижу. Мне просто нужно с тобой поговорить.

- Что? - удивился он. - Именно со мной?

- Да, с тобой. Пойми, я под «трипом»². Мне нужно рассказать, мне нужно выговориться с правильным

¹ Коксинель — сценический псевдоним французской актрисы и певицы Жаклин Шарлот Дюфреснуа, рождённой мужчиной. В 1960-е годы она выступала в Израиле, после чего её псевдоним стал там нарицательным. На современном израильском сленге – это мужчина с женскими манерами.

² Трип - психоделическое состояние (англ. Trip — путешествие) — специфичные переживания в сознании человека, характеризующиеся отличным от типичного восприятием и интенсивным мыслительным процессом, как правило,

человеком, иначе это меня не отпустит. А ты и есть тот человек. Ты человек травы.

- А это что такое?

- Разделение на «людей травы» и «людей бутылки» произошло очень давно. Дело было перед Судным днём.¹

И сказал Господь Моисею так: пусть возьмет Ахарон от общества сынов Израиля двух козлов в грехоочистительную жертву.

Лёшу ошеломили перемены, произошедшие с его собеседницей. Улыбка, зовущая клиентов, исчезла, лицо приобрело неземное, отстранённое выражение, глаза устремились куда-то вверх.

И возьмет он двух козлов, и поставит их пред Богом у входа в шатер откровения. И возложит Ахарон на обоих козлов жребий: жребий один для Бога, и жребий другой для Азазеля.

И взял Ахарон двух козлов и возложил на обоих жребий: один для Бога, другой для Азазеля. И взял он козла, на которого выпал жребий для Бога, и зарезал козла жертвы грехоочистительной, которая за народ, и искупил от преступлений их, и от всех грехов.

- Я знаю эту главу², это «Ахарей мот» - после смерти. Но она звучит не так!

- Не мешай мне, - рявкнула Дина. - Ты лишь читал, что написано, а я тебе говорю даже не то, что слышу, а что проходит через меня, через мою кровь, мои вены, через каждую клеточку моего организма. Откуда тебе знать, что люди не извратили речения Всевышнего. Не смей меня перебивать во время откровения!!

Вспышка её гнева и злости была настолько неожиданной, что он не нашёл, что возразить. А она, тем временем, продолжила:

творческого плана. Психоделические состояния ума могут быть вызваны различными способами, например, приемом психоактивных веществ. Данные состояния ума заключаются в переживаниях иллюзий, галлюцинаций, измененного восприятия и ощущения внутреннего «Я», мистических состояний, а также иногда и состояний, схожих с психозом. По названию этого состояния, вещества, его вызывающие, тоже получили такое название. Обычно это таблетки, содержащие ЛСД.

¹ Имеется в виду еврейский пост «Йом Кипур».

² Речь идёт о недельных главах Торы. Каждую неделю рассматривают новую главу.

И спустилось на народ Израиля благолепие, и сошла на него Божья благодать.

А Аһарон подвёл козла живого, и возложил обе руки свои на голову живого козла, и отослал его в пустыню, чтобы понёс на себе козел все провинности их в страну крутых ущелий и оврагов.

И побежал козёл в пустыню.

И лежали люди на траве, потому, что хорошо им было и пребывали они в неге и благости, и поэтому многие стали называть их людьми травы.

И не трогали козла люди травы, потому что были очищенные и не хотели проливать ничьей крови. Но были рядом другие люди; лишь для вида признавали они Бога Всесильного, и предавались они неумеренным винным возлияниям, и кружились в отвратительных плясках, и устраивали богопротивные оргии.

И пробежал козёл, которому выпал жребий для Азазеля, мимо этих людей.

И отделился от этих людей человек – Авшалит, сын Ицһара, сын Кеһата, сын Леви, брат Кораха.

И был у него в руках кувшин с вином. И допил он вино из кувшина, и приблизился к козлу и ударил его кувшином, и умер козёл для Азазеля.

И стало общество Израиля называть этих людей людьми Азазеля и людьми кувшина, потому что кувшином они убили козла. А позже стали называть этих людей людьми бутылки.

Она замолчала. Взгляд потух, а губы снова вернулись к дежурной улыбке: «чего изволите».

- Так что, - Лёша наконец пришёл в себя от неожиданности, - первосвященник Аһарон обкурил свой народ «ганджубасом»?

- Конечно же, нет. Не ёрничай. Всё ты понял. Смесь благовоний была лишь для хорошего запаха, и не было там «плана». А на людей сошло благолепие и Божья благодать от присутствия Всевышнего в каждом из них.

- А те, ну, другие люди? Они что, не ощущали присутствия?

- Ощущали. Но у них внутри был не Всевышний, а Азазель.

- Почему же Он сразу не уничтожил «людей Азазеля» или «людей бутылки»?

- Я думала об этом. Всевышнего трудно понять, ведь у Него свой путь. «Люди травы» генерируют нужные идеи и

начинают нужные проекты. Но их надо воплощать в жизнь, а «люди травы» в чистом виде слишком наивны и беззащитны для этого. Для того, чтобы воплощать проекты в жизнь, надо хорошо знать и понимать людскую грязь, и тут без «людей бутылки» никак не обойтись. На самом деле, и «люди травы», и «люди бутылки» в чистом виде встречаются очень редко. В большинстве намешано и того, и другого в разных пропорциях. Но мне просто дано чувствовать людей, в которых присутствие Всевышнего - в большой концентрации. А «под трипом» это усиливается во много раз, и в таком состоянии я точно знаю, что такому человеку я должна сообщить откровение, и я чувствую по своему состоянию, что, если я этого не сделаю, то могу попасть в «психушку».

Офис нужной маклерской конторы располагался недалеко от нового автовокзала, на пересечении улиц Неве-Шаанан и Бней-Брак.

Жизнь тель-авивских улиц Алина условно делила по времени на три стадии: деловую, развлекательную и разгульную.

Деловая стадия начинается с первым автобусом, без пятнадцати пять. Город в один момент наполняется шумом автобусов, моющих машин, станков для уборки улиц, машин, спешащих до возникновения пробок попасть к месту назначения, и людей, спешащих на ранние автобусы, к подвозкам или к своим машинам, что невольно навеивает сравнения с большим муравейником,

Поскольку Тель-Авивскую Центральную автобусную станцию можно сравнить с сердцем, гоняющим кровь по транспортным капиллярам общественного движения страны, то здесь движение и суета городского человеичка видны особенно ярко. Район очень быстро заполняется людьми, спешащими на работу, приезжими, прибывшими решить в Тель-Авиве свои дела, тель-авивцами, едущими в другие города. Но так как этот район стал прибежищем криминала, а также изгоев и отщепенцев со всех концов Израиля, эта утренняя суета к аборигенам района имеет мало отношения.

Внутренняя жизнь района начинается позже: часов в 9-10 утра. Открывается большинство магазинов, контор оптовой торговли, офисов по продаже и съёму недвижимости, мастерских, пекарен и кафе.

Примерно в это же время начинают работать и некоторые "махоны", но у них в эти часы работы очень мало. В то же время начинают выползать из своих нор (кто из квартиры, кто из нежилого дома, а кто и из-под моста) сами жители района. Воры, "работающие" в магазинах, быстро разбредаются по остальным районам города, нищие идут со стаканом к своим перекрёсткам, кто-то спешит в Яффо, чтобы успеть получить порцию адолана¹.

Пик деловой стадии где-то от двух до четырёх часов пополудни. В это время в офисах заключается большая часть легальных сделок.

Часов с пяти-шести начинается стадия развлекательная. Открываются многочисленные пивные и ресторанчики, в которых большей частью сидят иностранные рабочие, часто с временными подругами (у кого они есть). Их женщины закупаются в продуктовых магазинах, а мужчины треплются с товарищами за бутылкой пива. Из многих ресторанов доносится музыка, причём на самый разный вкус: ближневосточная, средиземноморская (в основном греческая), русская, румынская, китайская.

Часов в 8-9 наступает стадия разгульная. Начинают работать в полную силу большинство "махонов", выходят на промысел машинные воры и грабители. В это время в биллиардных и кафе, в офисах хозяев или в специально оборудованных комнатах гостей совершается большая часть наркосделок и улаживаются многочисленные конфликты, касающиеся деятельности "махонов" (кто сколько и кому должен заплатить; сделки, связанные с

¹Метадон и адолан выписываются лечебными учреждениями как обезболивающее или для лечения наркотической зависимости. При их использовании в заместительной терапии, пациент обязан употребить препарат в присутствии врача.

Суть заместительной терапии состоит в том, что наркоман переходит с нелегального употребления героина, которое сопровождается различными известными проблемами со здоровьем и преступлениями, на легальное употребление метадона и адолана. Заместительная терапия применима к наиболее тяжелым опиатным наркоманам, плохо удерживающимся в терапевтических программах иных типов. В Яффо расположена одна из станций заместительной терапии, где происходит распределение синтетических опиатов: метадона и адоланата защищается с большим достоинством и искусством.

переходом "работниц" из одного заведения в другое, кто кого "крышует" и т. д.)

Пик разгульной стадии - приблизительно с 11 вечера и до трёх-четырёх часов утра. Громкая музыка слышится со всех сторон. Посетители ресторанов и кафе уже порядком набрались. По «махонам» бродят толпы арабов, приезжающих в Тель-Авив именно за этим, и иностранные рабочие, обычно, уже успевшие прилично набраться. Нередко можно увидеть наркоманов, шляющихся по «махонам» с товаром, украденным за день.

По классификации Алины, «тахана» в это время находилась в разгаре своей деловой стадии.

На секунду остановившись, Алина критически осмотрела себя ещё раз в стекле витрины, и потянула на себя дверь.

Валера разговаривал с клиентом. Он мельком взглянул на неё:

- Я скоро заканчиваю; если хочешь, пойдёшь приготовить себе кофе.

Она не преминула воспользоваться его предложением. Пройдя через салон, она оказалась в небольшой кухоньке, отгороженной гипсовой стеночкой.

Едва успев приготовить себе кофе, она услышала, как закрывается дверь за посетителем; и сразу после этого Валера её позвал:

- Давай, Алина, иди сюда, присаживайся.

Пока она подходила к столу он, бегло оценив её взглядом, подумал: «А как приоденется, накрается, - она ещё очень даже неплохо выглядит. Несколько худоцава, но это даже сексуально».

Она села напротив него.

- Как дела, Алина?

- Да нормально, вот только с деньгами очень туго.

Она открыла сумочку и достала оттуда заранее приготовленные и аккуратно сложенные деньги.

Пересчитав, Валера покачал головой:

- Ты что, издеваешься надо мной? Мы договаривались на 1400, а здесь всего 550. Нет, нет, так не пойдёт.

- Ну, Валерочка, клянусь, больше нету. Я теперь тебе каждый день буду по двести заносить, пока весь долг не покрою.

- Да зачем мне это нужно? Сейчас спрос сумасшедший, а я тут с тобой буду мучиться? Нет, мне этого не надо. Давай, освобождай квартиру, у меня уже есть на неё несколько клиентов. - Он протянул ей обратно деньги. - Возьми

деньги, сейчас они тебе очень нужны. Новое жильё искать надо.

Улыбнувшись, она взяла его руку в свою, стрельнула на него глазами так, как только она умела, когда ей действительно нужно было "завести" клиента, другой рукой взяла деньги со стола, вложила в его другую руку и сжала её.

- Валера, ну разве можно выгонять женщину на улицу? Мы же всё-таки не чужие друг другу, ведь многое вместе прошли. Милый, только скажи, и всё тебе будет...

Левой рукой он обнял её за шею.

- Пользуешься ты моей слабостью. Скажи, ты в попку даёшь?

«Чёрт, ну почему вы все извращенцы-то такие?»

Вообще-то она ЭТО не то, что не любила, а просто не могла, по физиологическим причинам. Когда-то, ещё до замужества, поддавшись на уговоры своего тогдашнего парня, она попробовала, и после этого зареклась не делать этого ни при каких обстоятельствах.

«Да ладно, посмотрим, кривая выведет».

- Я же сказала, для *тебя* - всё, что угодно!

- Хорошо, подожди минутку.

Подойдя к двери, он снял табличку «¹פילג» и повесил другую, с надписью от руки «²בואך ת"מ» и закрыл дверь на ключ.

Алина тем временем достала из сумочки пачку салфеток, осмотрела интерьер комнаты и обратила внимание на большое мягкое велюровое кресло, стоящее возле столика.

«Это то, что надо; здесь ничего лучшего, пожалуй, не найдёшь».

Валера уже стягивал футболку.

- Вот же я, голова садовая, резинки забыла, выскочи в киоск.

- Да не нужно, зачем? Так намного лучше, помоешься потом.

Быстро окинув его опытным взглядом, она сразу обратила внимание на обвисший член.

«Ну что за засада, везде задница, ещё и с этим придётся работать. Надеюсь, что хоть с правилами гигиены он хоть немного знаком».

¹ פילג - открыто.

² בואך ת"מ - скоро вернусь.

- Придвинь, пожалуйста, кресло поближе к «шайшу¹».
Пока он двигал кресло, она спокойно разделась, внутренне настраиваясь.

Сложив аккуратно одежду на стул, она не спеша начала к нему приближаться, давая возможность себя осмотреть, зная не понаслышке, что выглядит она, несмотря на свой образ жизни, ещё очень неплохо, и понимая, что чем больше он сосредоточится на ней сейчас, тем меньше надо будет с ним "работать".

Подойдя к нему, она обняла его за плечи, начала целовать, переходя с лица на шею, потом на живот:

- Всё хорошо, милый, расслабься, ни о чём не думай. Всё остальное сейчас не имеет значения, только я и ты...

Выйдя на улицу, она закурила и не спеша побрела в направлении своего дома. Настроение было отвратительное, и она не могла объяснить себе, почему. Ведь действительно - её день, новости-то отличные! И с квартирой всё прекрасно решилось, а уж о её бывшем сутенёре и говорить нечего! Это в разговорах с другими девушками она хорохорилась, делала вид, что не думает о нём вообще. Но, на самом деле, у неё внутри всё содрогалось от одной мысли о встрече с ним. И работала только на «тахане» и в тех местах, про которые знала, что «крыша» там очень серьёзная. Да, только сейчас, после последнего разговора, она окончательно решила попробовать поработать в новом месте, на Алленби, в «Весёлом доме», как его называли. И место хорошее, недалеко от моря, и клиентура лучше. Так что, действительно, для неё всё сложилось просто великолепно. Так почему же настроение такое плохое?

Её вернул к действительности телефонный звонок.

- Хай, Динуш, как дела. Уже закончила с клиентом?

- Да. А ты?

- Быстрая ты. Я тоже всё решила, домой иду.

- Так давай встретимся около твоего дома, минут через пять.

- Давай, пока-пока!

Динка ждала её возле подъезда.

- Привет, Алинка, ну чего опять у тебя морда лица такая кислая? Что-то не так?

¹ Шайш (ивр.) – искусственный мрамор.

- Да нет, всё нормально. Динуш, давай поднимемся ко мне. Жарко, да и рожи эти на улице неохота видеть.

В квартире она сразу включила кондиционер.

- Динка, чего ты как неродная, наливай себе колы, не стесняйся.

- Слушай, что с тобой не так последнее время? - подруга сделала большой глоток. - Всем недовольна, всё тебе не так, не эдак. Что происходит?

- Знаешь, Дин, я тут задумалась о своей прошлой жизни и не нашла там ни одного светлого пятнышка. Я ведь росла вполне, можно сказать, нормативной, скорее даже хорошей, несмотря на то, что мать пила. Старалась, училась хорошо, в хоре пела. Воспитательницей в детском саду работала. Почему так получилось, чёрт возьми? Какого хрена я делаю на «тахане»? Что за грёбаная жизнь у нас была! В какой же грёбанутой стране мы родились!

- Что ты имеешь в виду?

- Понимаешь, ты из Питера, тебе, наверное, это трудно понять. А я из небольшого посёлка под Нежином. Ты себе не представляешь жизнь советской глубинки. Сплошной мрак, никакого лучика света. Да блин, меня же с четырнадцати лет насильовали! Да все мои подруги лишились девственности именно так! Ни закона, ни защиты, ни хрена! Да лучше бы мне уродиной родиться, счастливо бы жила! Какая мне польза была от того, что я симпатичная? Нормально ухаживать, нормально начать с девушкой никто и не пытался, все вокруг только и хотели, что трахнуть! А менты даже не пошевелиются, только и умеют, что взятки брать. А все вокруг лишь сочувственно головами кивают да сплетничают за спиной.

Алина не была слезлива, но вдруг неожиданно для себя обнаружила, что потекла тушь под правым глазом. Быстро вытерев слезу салфеткой, продолжила:

- Да я с наркоманами водиться начала потому, что они хоть насильовать не пытались! А замуж как вышла? Влюбился в меня местный бандит, повадился ездить ко мне. Попробовала бы я его не пустить! Так все вокруг, и соседи, и начальство, зашикали: «Нехорошо, работник системы образования, какой пример детям подаёшь». Так и заставили, падлы! Боже, а как же мне хреново с ним было, как же он меня бил!! И главное, ни за что! Напьётся, сволочь, и давай кулаками махать. И ты знаешь, я разговаривала с жёнами его друзей, так для них это нормально. Да в каком другом языке ты найдёшь поговорку

«бьёт - значит любит»? А мне все вокруг так говорили! Последний раз так бил, что руку мне сломал. И что мне было делать? Да я в Израиль свалила, только чтобы от него подальше быть! Бля, что за жизнь такая грёбаная, что за страна уродов! За что нам это?

- Всеми есть объяснение, - неожиданно серьёзным тоном сказала Дина. - Что ты хочешь от страны бутылки с центром в городе гнилой воды?

Алина посмотрела на подругу с недоумением и вдруг увидела, что Динино лицо приобрело какое-то неземное, отстранённое выражение, глаза устремились вверх, сосредоточившись на лишь ей видимой точке.

- Москва - moskava в переводе с мерянского (мёртвого языка угро-финской группы) означает «гнилая вода» или «черная вода» - по сути, «вода смерти». Если отметить все кладбища на карте города, то взору предстанет буквально город мертвых. Общее количество кладбищ, на которых стоит сегодня город, перевалило за тысячу.

- Ты знаешь, - сказала Алина после минутной паузы, - я сейчас подумала о твоих словах... Что-то в них действительно есть.

- Что значит: «что-то есть»?!

Дежурная улыбка «чего изволите» снова вернулась на Динино лицо.

- Я понимаю, ты, конечно же, так не считаешь, но я уверена - это откровение! Понимаешь, когда на меня это находит, сама не знаю, что я скажу в следующий момент. Такое впечатление, как будто кто-то сидит внутри меня и говорит всё это. Как тебе объяснить? Вроде как открываю рот, говорю, а слова и мысли не мои, а кого-то другого... А я лишь инструмент в Его руках, лишь Его уста! Но одновременно душа успокаивается, благодать снисходит...

- Просто, честно сказать, до этого я вообще твои высказывания серьёзно не воспринимала. Думала: ну, пусть говорит, у каждого свои недостатки. А сейчас поняла - это не причуда и не блажь, а что-то очень серьёзное.

Алина налила еще колы, сделала большой глоток и продолжила:

- Ты знаешь, на «тахане» считают тебя долбанутой, но сейчас я поняла: не знаю, всё ли в твоих словах правильно, но, во всяком случае, - это точно не чушь.

Она ещё глотнула колы.

- Помнишь, я тебе рассказывала про Алекса?

- Ну конечно. Твой бывший; этот, от которого ты убежала. Видно по тебе, что ты его до сих пор боишься.

- Уже нет. Зарезали его.

- Да ну? - удивилась Дина. - Хотя, с другой стороны, ты теперь можешь вздохнуть свободно.

- Так ведь я о чём! Всё! Не о чем волноваться! Первый раз за всё время жизни в Израиле я реально ничего и никого не боюсь. Документы чистые, никто ничего не предъявит. Баста! Я свободна!

- Подожди, - Дина задумалась, её брови вздрогнули, лоб прорезала глубокая морщина. - Но как это связано с откровениями?

- Да напрямую! Ты ведь философию учила, поэтому и думаешь о вещах глобальных, ну, там о судьбах мира, о человечестве. А я думаю больше о своём, личном. Но при этом я полностью согласна с тем, что ты сейчас сказала: не праведники истребляют злодеев, а злодеи сами истребляют друг друга! Смотри: ведь нормальные люди действуют как? По закону. А на законном основании я от него никогда бы не избавилась. Ну, взяли бы его за сутенерство или продажу наркоты, так отпустили через неделю. Ну, максимум, закрыли бы на полгода или год. Я бы никогда себя свободной не почувствовала. А так: раз - и всё! Ни забот, ни хлопот, ни волнений. Нет человека - нет проблемы. Вольная воля!

Алина прикурила сигарету и продолжила.

- Ты же знаешь, я за хату платить пошла, и мне трахаться с этим мудаком пришлось. И когда с ним была, а ты знаешь, он не мылся давно, воняло от него, вдруг подумалось: Боже правый, какой же я фигнёй здесь страдаю! Приходится трахаться с этим пидором немытым, который тебя даже оценить не может, не то что отнестись к тебе нормально. И вдруг тут же, от него же узнаю: всё, свобода, блин!! Динка, это божий знак, это Бог мне говорит: «Надька, валить тебе отсюда надо!»

Она налила себе ещё колы.

- Понимаешь, я ведь в жизни всё время плыла по течению, и вдруг поняла: надо самой сделать шаг! Хватит жить чужой волей, чужой жизнью. Свою жизнь надо делать только самой! И в нормальном месте я оказалась, и люди в этом городе нормальные, и действительно, можно жить! Что мешает, так это грёбанный «хомер». Это он вниз тянет. Ни голову поднять, ни спокойно вздохнуть не даёт! Знаешь, если не вмазываться, так и бабок много не надо! Я могу

жить скромно, не нужны мне крутые тачки и роскошные кабаки. Динка, ведь вокруг нас такой классный город, а что мы здесь видим? Я ведь собак люблю, детей люблю, я жизнь люблю. А это не жизнь! Грязь, дерьмо, блевотина! Валить надо отсюда!

Помолчав, неожиданно предложила:

- Динка, давай вместе в Яффо пойдём!

- Знаешь, подруга, - Динино лицо приобрело сосредоточенное выражение, - ты права! Если ты так чувствуешь, значит, действительно пришла к осознанию серьёзных для тебя вещей, подошла к определённой границе. Тебе действительно надо отсюда уходить. Ты что думаешь, я действительно долбанутая? Ничего не вижу, не слышу, ни на что не обращаю внимания?

Она вздохнула.

- У тебя была тяжёлая жизнь, столько гадости, а ты до сих пор всем веришь, всех жалеешь. Стоит какому-нибудь хмырю попросить, сразу кидаешься ему помогать. Вон, Рики помнишь? Что думаешь, я не знаю? Слезу эта гадина пустила, ей, видите ли, негде раскумариться, так ты рада-радешенька, её домой к себе привела, хотя все знают, какая она сука. И чем кончилось? Заклофелинила она тебя, увела весь «хомер» и всё твоё золото! А, кстати, ты мне не скажешь, почему у тебя сейчас не было денег на хату? Так я тебе скажу! Этот говнар, Славик, разжалобил тебя. Дескать, хочется ему в нормальном месте раскумариться, дом вспомнить, на белых простынях поспать. И ты ему поверила! Вот он твоих тысячу двести и слямзил! А ведь знала, что он - ворюга! «Тахановское радио» работает!

- Так ведь все вокруг такие!

- Так никому вокруг верить и нельзя! Ты ведь не просто так моя единственная подруга. Что - я просто так никого в свой дом не пускаю, кроме тебя? Просто я знаю, ты даже будешь на «кумаре», и будет у меня «хомер» на столе, - попросить ты, конечно, попросишь, но никогда не украдёшь! Других таких на «тахане» нету. Тут ведь все живут по закону джунглей: съешь или будешь съеден, поимей своего ближнего, или поимеют тебя!

Дина закурила.

- Ты до сих пор веришь людям, хочешь думать о них хорошо. Считаешь, что вокруг все такие же, как ты, а это не так! Ты знаешь, что на «тахане» все считают тебя дурочкой,

даже те ханурики, которых ты жалеешь, за спиной смеются над тобой и называют тебя «фраерит¹».

Она на секунду остановилась:

- Тут все считают тебя слабой, а это не так. Ты сильнее их всех! Я это вижу. Просто это не твоё место! Среди нормальных людей тебе будет намного легче. Ты ведь ярко выраженный «человек травы», а здесь место для «людей бутылки».

Дина снова посмотрела куда-то вдаль и продолжила, подбирая слова:

- Ты знаешь, я же не просто так снова стала употреблять. Да была боль, были «дуды». Но, кроме всего прочего, я почувствовала: моё место на «тахане»! А каким бы тебе это смешным не казалось, моя миссия – нести откровения людям, находить заблудших, как ты, и показывать им правильный путь. И поверь мне, это намного нужнее и важнее для Создателя, чем понимание разницы между диктатурой и демократией, и между философией Ницше и взглядами Гурджиева!

Она ещё отхлебнула колы.

- Кстати, и Ринкино место здесь, но по другой причине. А ты здесь чужая! Так что, Надька, валить тебе отсюда надо, не твоё это место! А насчёт того, чтобы идти вместе – это глупости! Это падают в дерьмо вместе, а выбирается каждый отдельно! Так что, иди одна - у тебя получится! Это я тебе говорю, Дмитрий Стадлер!

Дина опять закурила, достала из сумки две купюры по пятьдесят шекелей и три двадцатки.

- Вот деньги. Из Лода едь прямо сюда, не задерживаясь!

- Да ты чего, Динка, мозгами поехала?! Ты же моя единственная подруга, и ты мне не веришь?

- Ты знаешь, что верю. Не верила бы, не отправляла бы со своими деньгами. Просто прошу: никуда не заходи и не "вмазывайся" по дороге! Пожалуйста, сразу ко мне!

- Да какой базар, конечно, сразу к тебе. Да у меня и времени не будет. После этого я сегодня на новое место пойду, в «Весёлый домик». Посмотрю, что за работа там.

- Ну, давай, - Дина начала собираться, - хорошей дороги.

¹ Фраер, фраерит (ивр) - этим словом люди, живущие в криминальной среде, называют любого слабого или неопасного человека как позволительную жертву преступления.



Набережная Тель-Авива

Яков Шехтер

Цемент

Утром солнце поднималось из-за остатков крепостной стены старого Яффо, просвечивая бирюзой гонимые бризом волны. В полдень оно наполняло морскую гладь нестерпимым блеском, а вечером, окруженное розовыми и багряными облаками, степенно тонуло в фиолетовой пучине.

Восходы и закаты – самое красивое зрелище в Яффо. Город был дряхл и неухожен, каменные стены воняли ослиной мочой. Голодные собаки гонялись за крысами прямо на кривых улочках, мощенных выщербленным от времени камнем.

Лишь улица Бустрос, выстроенная уже за чертой бывших городских стен пределами, радовала фронтонами новых домов и чистотой мостовых. На Бустрос селились зажиточные люди, и хоть от старого Яффо ее отделяла лишь небольшая рыночная площадь, это был уже другой город.

Строительный подрядчик Йосеф жил в начале улицы, поэтому в раскрытые из-за жары окна ветерок доносил ароматы дешевой рыночной еды и выкрики базарных торговцев. Чем дальше от Яффо, тем цена за жилье была выше, а Йосеф хоть и мог позволить своей семье жить на Бустрос, но все-таки лишь в самом ее начале.

Йосефу немного повезло, дом его стоял на самом высоком месте улицы, поэтому из окна своей спальни он мог видеть море. Окно выходило прямоком на промежуток между черно-желтой стеной хаписхана, турецкой тюрьмы, и веселой рябью разномастных домиков квартала красных фонарей. Йосеф любил море, и каждый день проводил у окна не один десяток минут, наблюдая за переменчивой поверхностью воды. Ведь он родился и до десяти лет жил в Варне, на берегу Черного моря.

Отец Йосефа перебрался в Яффо сразу после русско-турецкой войны 1878 года. Жить в новообразованном княжестве Болгария он не захотел.

– Четыреста лет назад, – повторял он Йосефу, – османы вывезли наших предков из проклятой Испании. Четыре века мы живем спокойно под властью султана, и я не хочу менять ее ни на какую другую власть.

Йосеф не разделял отцовского патриотизма. Османская держава одряхлела и прогнила, и о мудрости Сулеймана Справедливого можно было только прочитать в книжках. Главным двигателем империи давно стал бакшиш – взятка. На ней держалось все: торговля, политика, культура и армия.

Когда в 1905 году ярмарку на площади разогнали и построили вместо торговых рядов башню с часами, Йосеф вздохнул с облегчением. Султан Абдул Хамид II пытался таким образом приобщить к прогрессу безнадежно отстающую от Европы империю. Бой турецких часов поплыл над городом, смешиваясь со звоном колоколов христианских соборов, и многие восприняли его как провозвестника перемен. Ожидалось, что за этим внешним шагом последуют серьезные преобразования, но, увы, часами все и закончилось. Торговцы, щедро раздавая бакшиш, потихоньку вернулись на площадь, и вместе с ними вернулись шум и ароматы.

Отец Йосефа был очень набожным человеком и зарабатывал на жизнь строительными подрядами, совмещая деловую практичность с религиозной честностью.

– Мы полагаемся на султана, как на Бога, – повторял он Йосефу, – а Богу верим, как султану. Почитай власть, страшись Всевышнего, не обижай работников, - и все будет хорошо.

В отличие от взбалмошных, одержимых социалистическими идеями ашкеназских евреев, наводнивших Палестину в конце XIX века, отец Йосефа был солидным человеком, уроженцем Османской империи, верным подданным султана. Перед ним раскрывались многие двери, наглухо захлопнутые для приезжих, и ключи от этих дверей он передал перед смертью сыну.

Соседи и почти все жители Яффо считали Йосефа преуспевающим подрядчиком, живущим в свое удовольствие и дающим жить многим другим. Но сам Йосеф так не думал. Ему было душно; Османская империя держала иноверцев в тесных рамках.. К нему относились доброжелательно, но свысока, лучшие подряды отдавая туркам. И не важно, что работу они выполняли хуже, а иногда много хуже, чем он; и не важно, что бакшиш он давал больше, чем конкуренты. Для чиновников мусульманин всегда был предпочтительнее еврея.

Тридцать лет Йосеф жадно озирается по сторонам в поисках перемен, и, когда началась мировая война, понял, что их время пришло. Так считал не только он, многие ждали Янкеля, как евреи Эрец Исраэль именовали англичан, словно Машиаха. Продажные, ленивые турки всем осточертели.

– Османская империя когда-то сделала много хорошего, – вел Йосеф внутренний диалог с умершим отцом, – но она свое отжила и трещит по всем швам. Не зря ее называют «Большим на Босфоре». Вот увидишь, англичане принесут нам цивилизованную демократию, все станет лучше и чище.

Тем не менее, турецкая армия успешно противостояла атакам британских войск. Англичане несколько раз пытались прорвать укрепления под Газой, но безуспешно. Тогда Лондон сместил командующего и прислал лихого кавалерийского генерала Эдмунда Алленби, ветерана англо-бурской войны. На западном, германском фронте генерал весьма успешно командовал третьей британской армией.

Алленби не оплошал; в результате скрытной переброски войск и внезапной кавалерийской атаки шириной в 6 километров Беэр-Шева была захвачена. Турки бежали за реку Яркон, Яффо и окружающие ее еврейские поселки, Неве-Цедек и Тель-Авив, оказались под властью англичан.

Срочно начали готовить торжественный концерт в честь освободителей. Старый друг Йосефа, композитор Авраам Цви Идельсон, получил заказ на песню в честь генерала. Песня должна была завершать концерт и демонстрировать англичанам радость еврейского населения. Идельсон лихорадочно пытался сочинить что-либо подходящее, но, увы, результаты не радовали даже самого композитора.

Когда до концерта оставалось два дня, Идельсон махнул рукой на сочинительство, покопался в своих записях еврейского фольклора, отыскал нигун – напев – садигурских хасидов, одной левой накропал незамысловатый текст и – получилась «Хава нагила».

Несколько месяцев потоптавшись на месте, англичане развили успех и выгнали турок из Эрец Исраэль. Впервые после разгрома крестоносцев христианская армия захватила Иерусалим. Алленби, никогда не вылезавший из седла – поговаривали, будто он бреется, обедает и спит на лошади, – из-за уважения к святости города спешился у его

врат. Он вошел в Иерусалим пешком, сопровождаемый тенями Готфрида Бульонского и Танкреда Тарентского.

Англичане рассматривали еврейское население, как дружественное, а не как подданных потерпевшего поражение вражеского государства. Генерал Гиль, командующий войсками, занявшими Яффо, запретил солдатам заходить в дома, принадлежащие евреям. Даже просто заходить, не говоря о том, чтобы, Боже упаси, собирать в них трофеи.

Жить при новой власти стало куда проще, а делать дела значительно легче. Поначалу полное отсутствие бакшиша тревожило Йосефа; привычный глаз искал намека со стороны английских чиновников, искал и не находил. Это настораживало, ведь подрядчик вырос в Османской империи, привык давать взятки и не понимал, как можно обойтись без них. Ему казалось, что в конце рассмотрения дела чиновник с таким же каменным лицом выскажет огромное, несусветное требование. Но прошение следовало за прошением, бумага за бумагой, а про бакшиш никто даже не заикался. Только через два года Йосеф понял, что перемены, которых он так долго ждал, наконец, наступили.

Правда, у новой жизни оказались и отрицательные стороны. Турки, тридцать лет назад выдав французской компании фирман на строительство железной дороги от побережья в Иерусалим, не захотели подпускать неверных близко к Яффо. Землю под вокзальное помещение выделили на приличном удалении от порта. Для перевозки грузов по Бустрос проложили рельсы, и несколько раз в день ручная дрезина потихоньку тащила на товарную станцию тюки, коробки и бочки.

При англичанах корабли стали приходить в порт чуть не каждый день, поэтому ручную дрезину сменила моторная. Извергая клубы черного дыма и оглушительно тарахтя, она с утра до вечера сновала по Бустрос.

Беда не приходит одна. Словно мало было Йосефу шума и вони перегоревшего машинного масла, как одна из сионистских организаций открыла свою контору прямо напротив его дома. Теперь под окнами беспрерывно толпились загорелые парни в шортах с закатанными по локоть рукавами рубашек и крепко сбитые девушки в неприлично коротких платьях. Без малейшего стеснения они громогласно спорили о всякой ерунде в любое время дня и ночи, беспрерывно курили, сплевывая на тротуар и

туда же бросая окурки. Чистая улица быстро стала напоминать хлев, а покой навсегда покинул сердце Йосефа.

Из этого вовсе не следует, будто он враждебно относился к этим молодым людям. Упаси Боже, разве можно ненавидеть идеалистов? Но ему всегда казалось, что обязательства еврейского народа перед Богом куда важнее тоски по когда-то принадлежавшей им земле.

Конечно, Эрец Исраэль - не просто страна, это Святая Земля, но ради ее восстановления нельзя отказываться от суббот и праздников, кашрута, правил семейной жизни. У сионистов с еврейской традицией обстояло плохо. Они полностью отбросили правила, законы и уложения, которые еврейский народ чтит тысячи лет и которые были основой мировоззрения Йосефа. В их глазах его неотступное следование традициям было отталкивающим, как скисающие сливки. Даже не говоря ни слова, своим ухарским видом ребята утверждали: с нами свет, за нами будущее.

– Свет, – хмыкал в усы Йосеф. – Это тьма ловко водит вас за нос, молодые люди, черная, беспросветная тьма.

Но ни одна из сторон ни разу не позволила себе вступить в открытый спор. Причина была самая что ни на есть прозаическая: идеологические противники нуждались друг в друге. Сионисты отчаянно искали хоть какой-нибудь заработок, а Йосефу остро не хватало рабочих на стройках. Поскольку платил он достойно, а дела вел честно, попасть к нему хотели все загорелые парни и крепко сбитые девушки.

Удача привалила Йосефу в дождливый месяц тевет, когда по улицам Яффо несутся дождевые потоки, и даже Бустрос иногда становится похожей на небольшую речку. Он получил подряд на целый жилой квартал в строящемся поселении с красивым названием Ир-Ганим¹ – город садов. Получил именно из-за своей приверженности традиции, правда, архитектурной, а не религиозной. Но свойства характера проявляются во всем, поэтому, когда новоявленные архитекторы наперебой стали предлагать модные проекты в стиле «Баухауз», Йосеф был единственным подрядчиком, наотрез отказавшимся строить сие уродство.

¹ Впоследствии переименованный в Рамат-Ган.

Он выбрал традиционные домики с четырехскатной крышей из красной марсельской черепицы, окруженные небольшими палисадниками. Они стояли на земле, а не на столбах, окна первого этажа выходили прямо в кусты жимолости, а второго - смотрели на кроны пальм, посаженных вдоль улицы.

Шуму было много; уж как его только не честили, обзывая замшелым ретроградом, облезлым мастодонтом, и прочими недостойными повторения словами. Но подряд получил все-таки он; видимо, еще оставались нормальные люди, не поддавшиеся влиянию новомодных течений.

Уже потом Йосеф узнал, что главный архитектор Тель-Авива Йегуда Мегидович горой встал на его сторону и убедил комиссию построить первый квартал в привычном стиле, а вот уже со вторым начать экспериментировать.

«Очень правильное решение, – подумал Йосеф, когда ему передали слова Мегидовича. – Пока возьмутся за второй квартал, много воды утечет в Иордане, подуют новые ветры, и чудовища на столбах останутся лишь страшным сном».

Главной загвоздкой каждого проекта был цемент. В те годы его привозили из-за границы, турки железной дорогой из Сирии, англичане на кораблях из Италии и Греции. Заказывать цемент приходилось заранее, и горька была доля ошибившегося подрядчика. Если цемента не хватало, приходилось втридорога покупать его на местном рынке у перекупщиков, существенно уменьшая барыш от подряда. Если же заказ оказывался слишком большим, подрядчик, скрипя зубами, отдавал по дешевке дорогой цемент тем же самым перекупщикам.

Йосеф практически не ошибался. Разумеется, точно рассчитать количество было невозможно, но убытки от покупки или продажи цемента обычно оказывались незначительными. Вот и на сей раз он тщательнейшим образом произвел расчеты и заказал у паровой компании полтора десятка тонн. Огромное, небывалое для его масштабов количество. Но ведь и подряд был небывалым, никогда еще Йосефу не доводилось строить целый квартал.

Для покупки цемента надо было взять большую ссуду – свободных денег в таком количестве у него сроду не водилось. Пришлось заложить дом и подписать кабальное обязательство. Разумеется, после сдачи района доход должен был десятикратно, нет - двадцатикратно превысить

все расходы, но для этого требовалось хорошо поработать и основательно рискнуть.

Йосеф, не задумываясь, засунул шею в удавку долговых обязательств. Он поступал так много раз, и прекрасно знал, что без долгов невозможно повернуть ни одно серьезное дело. Цемент ожидался к весне, а до той поры в Ир-Ганим предстояло немало потрудиться.

Из четырех десятков нанятых им рабочих больше половины составляли безработные сионисты. Опытные строители вместе с загорелыми парнями всю зиму готовили площадку, и к Песаху работы нулевого цикла успешно подошли к концу.

За эту зиму авторитет Йосефа среди молодежи вырос, и бесконечный гомон под его окнами стих. Кусать кормящую руку зазорно даже людям, отринувшим Бога. Дожди унесли мусор, и Бустрос приобрела свой привычный вид.

Песах выдался поздний из-за високосного года, прибавившего к обычному календарю дополнительный месяц адар. Сразу после праздничной недели установилась жаркая погода, хамсин следовал за хамсином, и когда судно с долгожданным цементом бросило якорь перед берегом Яффо, по европейским меркам наступило самое настоящее лето.

Судно споро разгрузили. Бочки с цементом извлекли из водонепроницаемых контейнеров, погрузили на дрезину и перевезли на вокзал. Британский губернатор затеял расширение старого оттоманского здания, пристраивая два крыла, поэтому пакгаузы не работали, и бочки сложили на огороженной забором, охраняемой площадке.

Отсюда в Ир-Ганим их должны были доставить на арабских подводах. Разумеется, можно было нанять грузовик, и за несколько приемов отвезти прямо из порта, но без крана выгружать тяжеленные бочки из высокого кузова было совсем непросто даже для молодых здоровых ребят.

Дело было в пятницу, Йосеф договорился с арабскими возчиками, что ранним утром в воскресенье они вместе с его рабочими погрузят бочки на десяток телег и потихоньку доставят на стройплощадку.

До начала субботы оставались считанные часы, и Йосеф поспешил домой. Он любил это запыленное время перед зажиганием свечей, когда он и жена проверяли, закончены ли все приготовления, мылись горячей водой,

переодевались в субботнюю одежду и начинали святой день.

Выслушав благословение жены над свечами, Йосеф отправлялся в синагогу. И не было ничего слаще на свете этой суматохи перехода от будничного к святому, неспешного шествования по улицам Яффо. Лиловые сумерки заполняли подворотни, голубой купол небес становился сначала темно-розовым, затем сиреневым, и постепенно темнел, наливаясь фиолетовой чернотой.

Но в этот раз все пошло по-иному. Из-за позднего возвращения он задержался с выходом, и поэтому, выйдя из дому, быстрым шагом двинулся в сторону синагоги. Но не успел Йосеф сделать несколько шагов по Бустрос, как его нагнали четверо молодых рабочих, из тех, кто совсем недавно плевали на тротуар.

– Гроза надвигается! – издали крикнул один из них.

– Нужно срочно закрыть бочки, – добавил второй.

– Мы возьмем доски, фанеру, жесь и рванем на вокзал, – задыхаясь от бега, произнес третий.

– Какая гроза? – удивился Йосеф. – Час назад, когда я возвращался домой, не было ни облачка.

– Посмотрите на море, – вмешался четвертый. – Просто посмотрите на море!

Они быстро дошли до часовой площади и заглянули в промежуток между стеной хаписхана и домиками веселого квартала. Даже в сгущающихся сумерках ясно виднелась полоска черных облаков, висевшая над морем.

Йосеф задумался. До наступления субботы оставалось совсем немного, ребята могли добраться до бочек только в темноте. То есть святость субботы будет нарушена самым грубым образом. С другой стороны тучи, хоть и выглядят подозрительно, вовсе не обязательно грозовые. Обыкновенный дождь бочки выдержат без труда, а вот против ливня не устоят. Но грозы в это время года вещь редкая, очень редкая. Значит, с одной стороны на чашке весов лежит невысокая вероятность проливного дождя, с другой - несомненное нарушение субботы.

– Всевышний не допустит убытка для верующего еврея, – уверенным тоном сказал Йосеф. – Я не хочу, чтобы вы ради меня преступили святость субботы.

– Что еще за святость? – вскричал один из парней. – Мы не соблюдаем ни субботу, ни праздники!

– Какая вам разница, что мы будем делать? – поддержал его другой. – Молитесь себе спокойно в синагоге, а нам сбегать на вокзал и обратно ничего не стоит.

– Пожалуйста, – не соглашался Йосеф, – не делайте ничего с цементом. В конце концов, он – мое имущество!

– Имущество-то ваше, но если цемент промокнет, и вы разоритесь, мы останемся без заработка!

– Я категорически запрещаю вам прикасаться к бочкам до завершения субботы, – отрезал Йосеф, развернулся и поспешил в синагогу.

Молитва уже началась; он скороговоркой догнал миньян и поплыл вместе со всеми по волнам субботних песнопений. Со стороны он выглядел спокойным, даже безмятежным, но какая-то часть внутри него беспокойно металась из угла в угол, прислушиваясь, не забарабанит ли дождь по высокой железной кровле.

Выйдя из синагоги, он сразу задрал голову вверх, с облегчением увидел россыпи сияющих звезд и совсем уже медленно, словно наверстывая упущенную неспешность, направился в сторону Бустрос.

Придя домой, он не стал ни о чем рассказывать жене, но достал из шкафа бутылку самого лучшего вина, и во время кидуша мысленно поблагодарил Всевышнего, направившего дождевые тучи в другую сторону.

Субботний ужин в доме Йосефа выделялся из других трапез недели. Жена готовила самые вкусные, самые любимые кушанья, даже дневной субботний обед стоял рангом пониже. За столом сидели долго, всласть ели, с удовольствием беседовали. Йосеф, обладавший приятным баритоном, пел застольные субботние гимны. Счастье, освященное традицией, радость, заповеданная Всевышним своим детям, минуты домашней неги и семейного уюта.

Когда Йосеф затянул гимн, сочиненный Навуходоносором, раздался сильный стук.

– Это жалюзи в кухонном окне, – воскликнула жена. – Я забыла их запереть!

Она подошла к окну, распахнула его, чтобы поднять задвижку и в комнату ворвался мокрый ветер.

– Дождь! Боже мой, надвигается дождь! – вскричала жена

– Я надеюсь, он будет коротким, – ответил Йосеф, стараясь не терять безмятежного выражения лица. – Несколько капель, не больше.

Последняя фраза больше походила на молитву, на просьбу, на мольбу, но Всевышний не услышал ее. Спустился

полчаса Яффо накрыл тропический ливень. Из-за шума струй, молотящих по крыше и рева воды в водостоках, надо было кричать, чтобы услышать собеседника. Не подаваясь панике, Йосеф прочитал благословение после трапезы, и, перебравшись в глубокое кресло, открыл Пятикнижие с комментариями. Но чтение не шло, строчки плыли перед глазами, а в голове крутились совсем иные мысли

«Делать нечего, я разорен, пущен по миру. Почему Создатель послал дождь именно в те часы, когда цемент оказался не под крышей, предоставленный воле стихий? Почему милосердный Бог решил превратить своего слугу в нищего?»

– Ты велел соблюдать субботний покой, и я выполняю Твое приказание. За что же Ты караешь? – недоумевал Йосеф. – Какая вина есть на мне, чем провинилась моя жена и дети?

Он стал перебирать в памяти свою жизнь в поисках поступков, заслуживающих столь жесткого наказания, и ничего не нашел. Не числилось за ним серьезных прегрешений, так, по мелочи, из-за лени и слабости характера. Даже если собрать вместе все эти проступки....

Шум дождя начал стихать, вода перестала реветь в водостоках, и вскоре в доме воцарилась тишина. Йосеф вышел на балкон второго этажа. Прохладный, наполненный свежестью воздух охватил его с ног до головы, словно вода в душе. Ветер уносил остатки туч, на бархатно-черном небе сияла до блеска вымытая луна.

– Если Бог хочет, чтобы я жил нищим, буду жить нищим, – прошептал Йосеф. – Он Хозяин, Он Владыка, все в его руках. А что в моих?

Он поднес к лицу свои руки, спрятал лицо в ладонях и горько расплакался.

Утро выдалось ясным и прозрачным. О ночной буре напоминали лишь сломанные пальмовые листья на тротуаре и брусчатке мостовой. Йосеф шел на молитву нарочито медленно, стараясь не выдать радости, переполнявшей его душу. За бессонную ночь он пришел к выводу, что происшедшее не более чем испытание, к тому же не самое страшное. Праотца Авраама Бог испытывал куда жестче и беспощадней. Он не знал, как все обернется, но был уверен в благополучном исходе. Проливной ливень и незащищенные бочки перестали его волновать.

– Он Хозяин, Он Владыка, все в Его руках, к чему беспокоиться? – повторял он жене. Та смотрела на него неуютными глазами. Ей все больше и больше казалось, что огромный убыток сломил рассудок ее мужа. Со страхом она искала подтверждения своей тревоги и, увы, находила.

Во время молитвы Йосеф почти забыл о цементе. Впервые за многие годы он старался молиться не наизусть, по привычке повторяя слова, а осмысленно, перекаывая каждую фразу во рту, точно монпансье. Конечно, он безнадежно отставал от миньяна, но зато нашел множество подтверждений внезапно охватившей его уверенности.

– Только на Бога полагайся, – учила молитва. – Радостен сидящий в Его доме. Идите и убедитесь, что Бог прав, счастливы уповающие на Него.

Домой Йосеф вернулся спокойным. Ему казалось, будто ночной ливень смыл сомнения с его сердца и очистил душу. Даже тревожное лицо жены и осторожные расспросы о самочувствии не поколебали его уверенности в доброте Всевышнего.

– Все будет хорошо, – заверил он жену, отправляясь на традиционный послеобеденный сон. Та молча отерла слезы и прикрыла жалюзи.

С заходом солнца приподнятое настроение Йосефа резко пошло на убыль. То, что в субботу казалось ему само собой разумеющимся, в сумерках наступающих будней начало резко менять окраску. Розовый и голубой сменили коричневый и фиолетовый.

– Что будем делать? – спросила его жена сразу после авдалы, торжественного отделения святого от повседневного. – Я рада, что ты так спокойно воспринимаешь наше разорение, но Йоси, что мы будем делать, Йоси?

Голос ее дрожал и прерывался, она могла разрыдаться в любую минуту.

– Прежде всего, – безмятежно произнес Йосеф, – я приглашаю тебя на вечернюю прогулку. Давай сходим к вокзалу, поглядим, как там наш цемент.

– Давай, – всхлипнула жена.

Полная луна ярко освещала желтое здание вокзала. За забором Йосеф заметил группу людей, и, подойдя ближе, сразу узнал своих рабочих. Они стояли кольцом вокруг штабеля, тщательно закрытого брезентом, и о чем-то возбужденно спорили.

– Йоси, а где наш цемент? – тихонько спросила жена.

– Да вот он, – указал Йосеф на штабель. – Видимо, ребята меня не послушались и все-таки успели закрыть бочки. Но откуда они взяли столько брезента?

– Это не мы! – чуть ли не хором вскричали рабочие, услышав слова Йосефа. – Тут не просто брезент, бочки накрыты досками, потом листами кровельной жести, а поверху брезентом. Кто-то успел перед дождем капитально потрудиться. Мы проверили – цемент абсолютно сухой. Это вы послали других рабочих, да?

– Нет! – возразил Йосеф. – Я никого не посылал.

– Но тогда кто?

– Он! – Йосеф воздел указательный палец и указал им на покрытое бусинками сверкающих звезд небо. – Только Он и никто другой.

Загадка выяснилась на следующий день. Оказывается, утром в пятницу английская компания, строящая железнодорожный вокзал, тоже получила цемент. Пакгаузы не работали, и бочки пришлось складировать на площадке рядом с той, куда потом Йосеф сложил свои бочки. При виде надвигающейся грозы управляющий компании послал рабочих-арабов, закрыть цемент. Те перепутали площадки и сначала закрыли бочки Йосефа. Разобравшись, они прикрыли и свой цемент, и уже хотели снять по ошибке наложенное покрытие, но тут начался ливень, и рабочие разбежались по домам.

Йосеф успешно завершил квартал в Ир-Ганим и стал одним из главных подрядчиков молодого Тель-Авива. Спустя несколько лет он оставил улицу Бустрос и перебрался в собственный особняк на бульваре Ротшильда. Выстроенный им дом тель-авивские экскурсоводы до сих пор показывают как пример «сопротивления Баухаузу».

Долгие, долгие годы, Йосеф вспоминал отчаяние той субботней ночи. И всю оставшуюся жизнь тосковал по вершине надежды и упования, достигнутой им в субботу днем.

Публикации Архива русско-израильской литературы Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление и примечания Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. в №№ 14-17.

*

Я вообще пишу свиным пером, в которое вошли бесы.

-

И живу в поселении Тель-Авив.

-

...и Пастернак был Исаакович года до 1920-го...

-

«Где-нибудь погонять осла, как тот старик из Коринфа» — тоже профессия... (Макс Фриш, «Хомо Фабер»).

*

Неустанно пишущий, пашущий Чехов называл себя «литературный тюлень» и писал (в «Письмах») о своей лени.

*

Я малюсенький моллюск, сижу в своей норке-норушке и жалко жалуюсь...

-

Шармута, Травиата беспутная

-

Каждый строчит, как он хочет — онанотехнологии!

-
«Тягло одеяла» — тянет на себя.

-
Истинный выкрест — пьет горькую, пляшет «русскую»...

*
Буриданов выбрал валаамову.

-
«Рассказ его не блистал звездами», как выражался Всеволод Иванов.

-
Написать бы чего-нито оптимистическое, антипотопное, эстетское — «Антиной». Плюнуть на разлитые Нилы с крокодилами...

-
Как писал замечательный русский писатель Борис Зайцев: «Тут же, у стола, в час ночной, в смутном громе событий и пустяков, вот уже основал малый скит на базаре, в проходной комнате, в уплотненном логове.<...> Это уединение» («Уединение»).

*
Как Кант писал: «Это что-то с чем-то».

-
Мало осота? Так ведь и болото не большое. Бредем босые, режа ноги в кровь.

*
Вследствие того, что Тит, император римский, разрушил Иерусалим, и народ Израиля был изгнан из его страны, — родился я в одном из городов изгнания — Москве. (Кажется, это Агнон).

*
Так что же, русскоязычное в Израиле — обязательно кошерно и гешерно?

-
Последняя запись в истории болезни Шаламова: «Пытался укусить врача».

-
Я сам внес посильный вклад в алкоголизм-закусизм Алии. Но переводиться и печататься на иврите, множить сущности — зачем? Уже есть одна Книжка...

*

Читал я, что чукчи называют себя «луораветланы» (буквально — настоящие люди). То есть «Повесть о настоящем человеке» — это о чукче, ползущем в снегах. А мы какие-то ненастоящие. Обленились в тепле.

-

Надо долго и кропотливо подкармливать читателя лапшой и кашей — чтобы он начал хватать наживку и принялся охотиться именно за твоим многостраничным крючком. Да еще губу морщит — сложно, вычурно, книжночервячно... Ершист! Есть читатель пескарь — премудр и тих, а существует и щукарь — зубаст и недреман.

*

Замечательная опечатка где-то в ардисовском издании чего-то Набоковского: «акк» вместо «как»... Как дарено!

-

А какая в «русском» Израиле литкритика — худасеичи да бен-адамовичи!

-

Экологически чистая литература.

-

Выбравшись давненько из рассеянья, смотрю рассеянно из целины обетованной на снежный унавоженный санный путь прозы расейской.

*

«Могу из слов тебе скроить любой сюжет,
Могу приталить, распустить, свести на нет»
(Ира Маулер)

-

«Слишком много нот», как сказал композитору император, а автору — литератор.

*

Исследуя, разглядывая текст, — мы придумываем или открываем?

-

Так пускай и я погибну, кочевой народ — той же славною кончиной, что Иосиф Рот. (Знаменитый австрийский

писатель, «Иов» и т.д., умер в 1940 г. в Париже от белой горячки.)¹

*

Было у итальяшек (в конце 19 в.) такое литературно-эстетическое течение — «веризм» (от vera — правда) — требующее бытовизма, правдоподобия. Верой и правдой!

-

По Радио РЭКА: «Сирийский режим, иранский режим...». Весь ихний режим — это «рэжим!».

*

Архангельские поморы судостроение называли — «художество». Мореходцы художно в чертеж полагают, и мрачность леденовидных стран светло изъясняют.

-

«Рассыпано ворохами, а подбираешь крохами», — вздыхал Шергин о языке.

-

Рецензент — лоцманюга, он очень опытный и знает пути, судоходные разводья во льдах текста. («Хотя дорога груба и торосовата, но весьма сносна».) Поморы называли прием пищи — выть. Первая выть, вторая, третья (наужина), четвертая...

-

Голк — крик, галдеж (поморск.)

-

Хочется написать роман «Обод» — очертить контур эмигрантской русско-израильской литературы двухтысячных.

-

Как сказал бы шергинский Шиш Московский: «Накпал большашшой воз прозы».

-

Как же писать, как складывать слова, когда читателя «утомляет пестрота», проступает непростота?..

¹ Йозеф Рот скончался 27 мая 1939 года.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

В октябре 2021 года исполняется 75 лет Натану Захави - известному израильскому сценаристу, кинопродюсеру, радиожурналисту, автору сборника острых документально-литературных рассказов о «героях» тель-авивского дна «На краю сточной канавы». Натан Захави - лауреат журналистской премии им. Н. Соколова. Этот рассказ на русском языке публикуется впервые.

Натан Захави

Ошибка Леви-«Шляпы»

В один из вечеров 1965 года в кафе «Цина», там, где улица Райнеса выходит на площадь Цины Дизенгоф, сидели четыре типа, хорошо известные следователям Управления полиции по Центральному округу, и весьма нелестно обсуждали ещё одного, того, кто, по их мнению, заложил их легавым. «Стукач», «сука», «пидор» - так они полагали о нём.

Удостоился этих эпитетов небезызвестный в Тель-Авиве мелкий махер с погонялом Леви-«Шляпа». Рассказывают, что он родился лысым, и на черепе у него никогда не было ни волоска. С трёх лет он постоянно носил что-то на голове, и нет человека, который мог бы поклясться, что видел её непокрытой.

За несколько минут до упомянутой беседы Леви-«Шляпа» был зверски избит этой четвёркой на заднем дворе здания, в котором расположено кафе. Когда он уже почти терял сознание, Мордо-«Брадобрей» вытащил из заднего кармана своих брюк опасную бритву и полоснул по правой щеке Леви-«Шляпы», а потом плюнул на него. Парни оставили стукача истекать кровью, а сами вышли с заднего двора и уселись за столиком кафе.

Леви-«Шляпу» доставили в отделение срочного ремонта больницы Ихилова, где им занялся доктор Борис Коган по кличке «Портной». Он уже не один год зашивал

физиономии таких типов, кому братва делала «кусу»¹, помечая этим клеймом стукача. Однако не успел «Портной» превратить «кусу» в «молнию», стягивая стежками разошедшиеся края пореза, как «Шляпа» совершил трагическую ошибку.

Лёжа на столе для экстренного ремонта, - «Портной» стоит возле него с ножницами в руке и готовит перевязочный материал, - Леви-«Шляпа» запустил руку в задний карман брюк лепилы, желая дёрнуть у него лопатник. Борис почувствовал, как опытная рука пытается деликатно освободить его от бумажника, и инстинктивно ударил по ней... Острые хирургические ножницы глубоко вошли в руку Леви, который разразился такими воплями, криками боли и руганью на самых высоких тонах, что все присутствующие в приёмном покое вскочили на ноги.

«Портной» и сам перепугался случившегося и начал торопливо извиняться, но Леви-«Шляпа» - вот уж настоящий сукин сын – заявил, что если доктор сейчас же не положит ему на лапу «штуку»², он подаст на него жалобу руководству больницы и в полицию – за нанесение травмы при отягчающих обстоятельствах. Испуганный эскулап продолжал извиняться, он даже заплакал, но Леви тем временем поднял цену нанесённого ему физического ущерба до 1500 лир.

И слёзы, и крики прекратились лишь тогда, когда на место событий прибыли вызванные кем-то полицейские, которые приступили к сбору свидетельских показаний. Доктор Коган извлёк ножницы из окровавленной руки Леви-«Шляпы» и принялся зашивать рану неудачливого карманника, который не прекращал поносить бедного медика. Залатав руку Леви, «Портной» покинул помещение приёмного покоя и обратился к его заведующему с просьбой найти ему замену, поскольку в силу произошедшего он не может сейчас находиться на рабочем месте.

Собрав показания свидетелей происшествия, стражи порядка надели на Леви-«Шляпу» браслеты и извлекли его из кровати. Ему было объявлено, что он арестован за попытку кражи, запугивание и вымогательство.

¹ Куса – характерный глубокий порез щеки, который в уголовном мире делают выявленным доносчикам. Происходит от «кус» (арабск. и ивр., грубо) - женск. половой орган.

² Штука, тонна (угол. жаргон) – тысяча, тогда – израильских лир.

Четверо братков крепко отметили «Шляпу» за ту неделю, что они вынужденно провели в государственном пансионе «Абу Кабир», куда были определены по подозрению в том, что подломили магазинчик на улице Шенкина в Тель-Авиве, торговавший изделиями из золота и драгоценностей. Эта четверка, известная как компания профессиональных взломщиков, не раз замеченная в ограблениях магазинов в центральной части Тель-Авива, допустила ошибку, продав часть «рыжего» товара брату «Шляпы», который рассказал об этом ему. А Леви, в обмен на обещание полиции снять с него часть обвинений, сдал четвёрку ментовским. В итоге парни были задержаны.

Выйдя из санатория, они сложили два плюс два и решили, что продал их скупщик краденного и по совместительству брат «Шляпы». Они чуть порезали его и привезли к устью Яркона, привязали к тяжелому якорю и начали потихоньку погружать в мутные волны, пообещав барыге, что, когда его извлекут из них, он будет молчаливее рыбы.

Этот жалкий брат «Шляпы» со страху наделал в штаны и божился, что не сдавал ребят. «Может, это мой братан напел про вас, чтобы легавые сняли с него часть обвинений», - заложил он родного брата.

Квартет профессионалов, основательно подогревшись «чернотой»¹ и алкоголем и оставив этого брата болтаться привязанным к якорю в ярконских водах, направился в бильярдную «Снукер», что размещается над кафе у площади Дизенгоф. Здесь «Шляпа» обычно обделывал свои делишки: покупка и продажа краденых часов, торговля гашишем, приём ставок на бильярде и тому подобное, что практически каждый день сопровождалось руганью, драками, а иногда – и поножовщиной. Всё это обеспечивало заработком персонал приёмного покоя больницы Ихилова, прозванного пацанами «отделом ремонта и кузовных работ».

Теперь самое время познакомиться поближе с четвёркой крутых парней, которые направляются в зал «Снукер». Главный в этой компашке Мордо-«Брадобрей» - амбал под два метра ростом, считавшийся одним из самых безбашенных отморозков в Тель-Авиве. Он регулярно оказывался на нарах за грабеж, насилие и нанесение тяжёлых увечий всем тем, кто просто косо на него посмотрел.

¹ Палочки гашиша черного цвета.

Рядом с Мордо всегда отирается Нисо-«Горбун» - полная противоположность своего кореша: низкий, перекошенный на сторону из-за своего горба. В молодости Нисо учился в какой-то ремеслухе и сделался непревзойдённым мастером по нейтрализации охранных систем и открыванию замков в заведениях, где под стеклом на прилавках разложены дорогие цацки, а в задней комнате стоит большой сейф с запасами этого добра.

Третий братухан – Або-«Водила», который не прикасается ни к наркоте, ни к выпивке, и его миссия – доставлять корешей к «месту работы» на своём пикапе или на любой другой тачке, которую он брал, не утруждая себя испросить разрешение у хозяина. На скачке он поджидал товарищей в машине и отвозил их с добычей на секретную хазу, где четвёрка складировала свои трофеи.

Четвёртый персонаж – Амрам-«Скользкий» - красавчик с глазами голубыми, как море, и пленительной улыбкой, мог очаровать любую продавщицу любого ювелирного магазина. На свидании разомлевшая от его чар девушка рассказывала всё, что интересовало Амрама о магазине, и это очень помогало криминальному квартету наведаться туда в самое удобное время и взять по максимуму.

...Або-«Водила» припарковал пикап недалеко от зала «Снукер», и четвёрка вошла в помещение. За несколькими столами шла карточная игра, а кто-то стоял вокруг бильярдных столов. Леви-«Шляпа», как обычно, провоцировал присутствующих делать ставки, называя всех «скрягами» и «трусами».

Как только он увидел вошедших, его красноречие вмиг иссякло, а глаза в страхе забегали в поисках возможности улизнуть. Однако было поздно: Мордо поднял его и взвалил себе на плечо, как мешок картошки. «Шляпа» заверещал, начал браниться, просить о пощаде, и тут с его головы свалилась шляпа, и народу предстала его лысина... Картина открылась отталкивающая: кожа на голове была пунцовая, как из духовки, вся в волдырях и гнойных нарывах. Стало понятно, почему Леви всегда покрывал голову.

«Шляпу» притащили на задний двор и начали безжалостно избивать, осыпая определениями из обширного лексикона уголовного мира. (Правда, прозвучало и нечто художественное: «Ты, сын ста тысяч проституток!») Затем его схватили за руки и за ноги, и Мордо-«Брадобрей» подступил к нему с опасной бритвой:

«Ну, падла, на какой щеке ты хочешь «кусу» - на правой или на левой?»

Леви-«Шляпа» от ужаса заверещал так, что из окон дома стали выглядывать жильцы. Однако увидев, что имеет место обычная бандитская разборка, люди позакрывали окна и даже опустили жалюзи. Лишь один чудака позвонил в полицию и сообщил, что во дворе «Снукера» кого-то хотят порезать.

Леви-«Шляпа» со страху наделал в штаны. Тут «Брадобрей» рассказал ему, что час назад и его братан отметился таким же образом. «Уалла, да вы, я вижу, просто семья дристунов, а?» - ухмыльнулся Мордо, отворачиваясь от запаха. Чуть подумав, он точно резанул бритвой по щеке «Шляпы» - от уха до рта...

...Спустя несколько дней Леви-«Шляпа» сидел в подвальном помещении полицейского участка на улице Дизенгофа, ожидая встречи с капитаном Лионом Коганом, который курировал криминал в центральной части Тель-Авива.

Когда тот вошёл, Леви затараторил: «Спасите меня, капитан, мамой заклинаю, спасите. Они почти зарезали меня, а ведь я сдал их вам как на блюдечке, я жизнью рисковал, сообщая о них. Посмотрите, что они со мной сделали».

Капитан Коган вдруг врезал сильную оплеуху скулящему Леви как раз по заклеенной пластырем порезанной щеке. «Сукин ты сын», - выкрикнул полицейский и залепил Леви пощёчину по второй щеке.

Ошеломлённый «Шляпа» начал догонять происходящее, лишь когда капитан угрожающе произнёс: «Ты, засранец, пытался украсть бумажник у моего отца в Ихилове, требовал полторы штуки денег?! Угрожал подать жалобу о причинении ущерба здоровью, дебил ты несчастный!» С этими словами он вlepил ещё по одной полновесной плюхе по каждой щеке задержанного: «Если Мордо с парнями не кончили тебя, то это сделаю я, дерьмо ты собачье!»...

Перевод с иврита Александра Крюкова

ПОЭЗИЯ

Вероника Долина

Метель мела

Как просто падать, господи прости.
В одной руке - пирожные из «Норда».
В другой - нет, за плечом - гитара гордо.
А в третьей что там... то, что не спасти.

Достоинство, которого и нету.
Да где ж тут свет, но нету же и свету .
Да хоть гитару, что ли, убережь
От этой грязи, от подошв до плеч.

Ну, пробежалась по ступеням зыбким.
Ну, проскакала по бордюрам липким.
Ну, вот уж и шлагбаум мой впотьмах.
И тут судьба решила посмеяться,
Нога с ногой решила поменяться,
Запутались, скользя..... и ох и ах.

Очки долой. И, хоть я не повстанец,
Шинель в грязи - как той, из бесприданниц -
Судьба метнула мне самой, увы.
Но чудом целы и моя гитарка,
И ряд пирожных, хоть пришлось им жарко.
На фоне ночи, снега и Москвы.

Опять урок. Им нет конца и счёта.
Не публикуй ты бесконечно фото,
Низы свои комичные, верхи.
Сперва дорога до смерти измучит.
А после и Москва ещё проучит.
Отряхивайся, бормочи стихи.

Снег у меня в Нью-Йорке.
Сена вышла из берегов.
Стихи мои нежной сборки.
Не слышны с десяти шагов.

Надо быть вестником бури
Вдалеке от прекрасных стран.
И погрузиться в Шербуре,
И пересечь океан.

Плыви-плыви, мой «Титаник».
Пыхти, напряженно свисти.
Ищи себе кратких пристанищ,
Стоянок на всем пути.

Но, может быть, их и нету,
Человечьих стоянок, пока
Ты не обогнёшь планету,
И увидишь - там тоже снега.

Даже в старом Иерусалиме
Случается - все бело.
Ну с этим-то пересолили...
Пусть бы нас всех замело -

Москву, Париж и Нетанию.
Где только наш брат ни живет.
Молчит, вздыхает «Титаник».
Никуда уже не плывет.

И о чем бы ни складывался рассказ,
И в начале дня, и к исходу дня -
Он о том, что никто меня прежде не спас,
И никто уже не спасёт меня.

Хорошо, что я трогаю снег рукой.
Даже странно - ни холодно, ни тепло.
И никто меня не увидит такой,
Какой я себя вижу через стекло.

Слава богу, сегодня опять метель.
Надо, чтобы подольше она мела.
И тогда я не вспомню моих потерь.
И себя такую, какой была.

Что теперь сделаю с этой зимой.
Что теперь сделаю я.
Я бы давно улетела домой,
Если бы воля моя.

Что теперь сделаю с этой зимой,
С болью моей в голове.
Я постараюсь остаться живой
В городе этом, Москве.

Что теперь будет - зима да зима...
Слабо под крышей свищу.
Я же звала ее, я же сама.
Скоро уже полечу.

Зачем тебе это, хрустальный твой снег,
И город, и холм за спиной.
Затем, что мне нужен один человек,
Которого нету со мной.

Зачем тебе ключ, и очаг, и ночлег,
И дом за высокой стеной.
Затем, что мне нужен один человек,
Которого нету со мной.

Зачем тебе книги, сейчас и вовек,
В твоей глухомани лесной.
Затем, что мне нужен один человек,
Которого нету со мной.

Отбрось этот образ, сними оберег,
Досматривай сон голубой -
Там рядом с тобою один человек,
Что вовсе и не был с тобой.

Белым бела, метель мела
Направо и налево.
Пора пришла, и увезла
Ребенка королева.

Скучает девочка. Зато
Она в подкладку братцу
Зашила сказочное то,
Что не должно теряться.

Неважно, что в пальто его
Карманов не хватило.
Там поместилось вещество,
Что грело и светило.

Земля дрожит, метель свистит.
Давно остыла печка.
А мальчик по небу летит,
И светится сердечко.

Надо было сказать - забери меня.
Даже к ужасу старых друзей.
И мы были бы древние римляне.
И под нами бы плыл Колизей.

Забери меня из этой клиники,
Где несчастные люди лежат.
И мы будем медведи в малиннике.
С нами четверо медвежат.

Можно было сказать - пожалей меня.
Позабыла я тот аромат.
Если чудом мы лапы не склеили,
И никто еще не староват

Ни для опыта, ни для риторики,
Для записки одной, где стена.
Где в пергаменты впишут историки
Наши детские имена.

Надо было. Но медленно-медленно
За окошком клубилась зола.
И тяжелыми душными петлями
Предыдущая повесть легла.

Не успела сказать - забери меня.
Никакой я не знаю вины.
И мы были бы древние римляне
На обломках прекрасной страны.

Одно движение несильное -
И все завертится вокруг.
Кольцо, вчера ещё носимое,
Померкло и погасло вдруг.

Меняй кольцо. Приказа звучного
Не жди. Оно на дне ларца
Лежит как тень чужого скучного,
Поднадоевшего лица.

Одно кольцо желает воздуха,
Другое спрятаться должно,
И кратковременного отдыха
Упрямо требует оно.

Снимай кольцо, но не мучительно.
Пристрой на пальце, покрути.
Дай бог, чтоб не нравоучительно
Оно светило по пути.

Из той ещё моей жизни,
Из той молодой жизни,
Где все, как огонь, сверкало,
Текло, будто шёлк -
Я помню любые козни,
А также чужие казни,
А собственной не искала,
А в песенках знала толк.

Из той невесомой эры,
Из той нереальной зоны,
Как из-под анестезии,
Я вышла жива.
А заводи и пещеры,
Техасы и аризоны,
Они меня не грузили,
Слова как слова.

Слова на лету дрожали.
Они собирались в стаи.
Они на ветвях сидели,
Бойцы, воробьи.
Не будь нашей жизни прежней
Чудесной, чужой и нежной
Ну что бы мы делать стали,
Родные мои...

Человек давно звучит не гордо.
Но и лев - звучит не так уж гордо.
И орёл совсем уже не гордо.
Хоть древней других во много раз.

То есть слово сделалось негодно.
И само понятие негодно.
Хоть тверди себе сколько угодно -
А живешь, не поднимая глаз.

Человек давно звучит не нежно.
Кое-как ещё звучит, конечно.
И не то, чтоб каждый день кромешно.
У него жена – потомство - дом.
Но глядит на ближнего с презреньем.
Или же с ленивым подозреньем,
Или вот с ревнивым обостреньем,
Ну, и с нежеланьем и с трудом.

Человек - давно звучит паршиво.
Или отвратительно фальшиво.
Все уже Вселенная решила
С этим безответственным жлобом.
Вот тебе стиральная машина.
Вот тебе астральная машина.
Вот тебе моральная вершина.
Между средостением и лбом.

До поры, пока не понимаешь.
Пока шлем руками не снимаешь.
Пока мертвых глаз не поднимаешь
Сам от обнаженного клинка -
Вот тебе, ничтожный, тьма и яма.
Ты и сам туда шагаешь прямо.
Ты убогий собиратель хлама.
Сам труха из пыльного мешка.

Все тобой проиграно, покуда
Ты себе не пожелаешь чуда.
Или спичкою, из ниоткуда,
Чиркнешь о размокший коробок -
Крохотное пламя вспыхнет мигом.
И тогда летишь с орлиным кликом ,
Прыгаешь, как львёнок, с хищным рыком,
И несёт оливку голубок.

Яна-Мария Курмангалина

Мари с Хуаном

шустрит торговец не сдам ни цента
кинзу и перец с лотка толкая
она такая идет по центру
в густой толкучке
одна такая

плечами сникнув стоит охрана
обмен валюты плакат с шампунем
галдят китайцы ища в карманах
в монетах мая
юань июня

она такая одна конечно
мы видим это рука на пульсе
он ей не пишет случилось нечто
случилось что то
и я не в курсе

слова кусачи а мысли жгучи
не плачь красотка дождись ответа
штаны версаче жилетка гуччи
все будет круто
в такое лето

когда взлетев на дальний холм
закатный свет опустит крылья
ты спросишь энибади хоум и в эпизод вкрадется
триллер

где дом насупившись молчит
(в нем по сюжету кто-то умер)
где предсказуемо в ночи подвала заедает
тумблер

не вспыхнет лампа в потолок не кинется слепая
птица
но есть невидимый хичкок но есть гнилая
половица

но сердце мечется в груди и мир темнее
кинозала
зачем ты это мне сказала теперь сюда не заходи

вымыта чашка,
выключен блендер,
ночь навевает
сонную грусть.
что тебе снится,
мистер фассбендер¹,
новый сценарий,
роль наизусть,

грохот хлопушки,
саспенс недетский,
гул вечеринки,
танцы, огни?
рыжий ирландец
с кровью немецкой,
что тебе снится,
что тебе сни...

может быть, дело
в вечной, знакомой
истине жизни, –
взглядом извне...
где-то за мкадом,
с глузда с какого,
дальний твой образ
вижу во сне?

тихо пылится
чья-то “приора”,
в нише дворовой,
в спальном мешке...
радио ретро,

¹Майкл Фассбендер – американский актёр кино.

“крейсер аврора”,
шторы на окнах,
фикус в горшке.

по разбитой улице
псы гоняют кошек
из окна соседского –
хрип магнитофона
вот когда я вырасту
из штанов в горошек
то надену белое
платье из шифона

устремлюсь к заоблачным
золотым вершинам
брошу в речку ножичек
а рогатку – в поле
стану я изящною
дамочкой с машиной
со своею собственной
яхтой на приколе

ничего что нынче здесь
нищета и сумрак
это время лютое
скоро догорит
вот когда я вырасту
стану имой сумак¹
а пою я здорово –
мама говорит

у меня в крови –
небеса кучевые,
племена кочевые,
лошадиные всхрапы,
ястребиные крики.

у меня в крови –
земляные бараки,
сибирские буераки,

¹Има Сумак – перуанская и американская певица. Владела уникальным диапазоном почти в пять октав.

рассохшиеся арыки,
русские да поляки.
у меня в крови –
ветхий и новый заветы,
восточные минареты,
уральские самоцветы
брошенных шахт и штолен.

...так с чего ты решил,
что слово твое непреложно,
что такую можно
посадить в клетку,
поставить метку, –
бессмертный, что ли?

по вечерам в соседском телике
о чем-то важном говорят
в кустах раскуривают веники
мари с хуаном втихаря

и детство бегаёт на роликах
запрыгивая на доску
и «пьяницы с глазами кроликов»
молчат про вечную тоску

и переходят в мифологию
дворовых шахмат короли
тюремных песен морфология
и беломор всея земли

а осень девочкой исправною
идёт листвою шелестя
дыша все теми же туманами
одно столетие спустя

что было когда-то прологом повести
затрется, как давний след.
о чем мечтается в юном возрасте,
скажи, если не секрет?

я помню, хотелось на волю вырваться,
все было до фонаря.
о чем мечтаются лет в четырнадцать
нынешним бунтарям?

как было просто с судьбою ссориться,
заглядывать за края.
какой тяжелой была бессонница -
от легкости бытия,

от самой первой ранимой гордости,
не знавшей на все ответ.
о чем вам грезится в этом возрасте,
скажи, если не секрет?

я помню город, пропахший розами,
белый до слепоты.
я помню слезы – какие слезы мы
тратили на мечты,

какие песни мы пели в лагере,
собравшись вокруг огня,
и мальчик, похожий на тиль швайгера¹,
не замечал меня.

¹Тиль Швайгер – популярный немецкий актер и красавчик.

Ольга Журавлёва

Судный день

Едва возможна эта высота,
В которой пропадают беззаветно
Мечта, воображенье, красота –
Едва возможна безвозвратность эта...
Но кровью вишен амфору взорвав,
Сбежит небытие к своим истокам,
Из тьмы уюта красоту предав,
Пролившись в землю забродившим соком.

Призывно догорают облака
На грани небожительства и ада,
И трудно распознать издалика
Знакомый рай родительского сада.
И смысл необратимости затей
Неоспоримо высится над этим,
Перебирая жизнь своих детей,
Не оставляя прав для жизни детям...

Исход

Пустыня – это чей-то бывший рай,
Истраченный быстрее, чем забытый.
Запрет ворот, в безмолвие раскрытый,
Предполагает под собою край.
А там, за отторжением земным,
За взором, протекающим равниной,
Отшельники заветной Палестины
Бредут в бреду маршрутом обводным.
По призрачному ветхому пути,
Проложенному местным на потеху,
Где лишь ползком, где шагом не проехать,
Где даже каравану не пройти.
Бредут, кружа по заповедям дней,
Оправдывая всякую удачу,
Предвосхищая Богу задачу –
Исхода заблудившихся людей.

Мы можем

Мы можем отрачивать волосы, ногти и мысли,
Слова и поступки легко отпуская на ветер,
Свободные взгляды, чтоб более чем не закисло,
Бросаем на что бы то ни было, будто бы дети.
Растим ли взамен, относительно трат
ежечасных,
Высокие темы, горячие добрые жесты –
Не сложно на свете к судьбе называться
причастным –
Гораздо труднее себе предоставить протесты.
Мы можем оседлости фору проесть типа моли,
И типа морали обрушиться на постоянство –
Не это ли всё прототипом угрюмой неволи,
Отчаянным криком в ночи разрывает
пространство.
И в лёгкие жадно вонзив кислородное жало,
С предельной небрежностью высь бытия
поглощая,
Всем видом к себе вызывая вселенскую жалость
Не можем остаться точь-в-точь, как на свет
появляясь...

Осколки

Посвящается Марии Юдиной

Обуглившись до чёрного сарказма,
Слежавшись до осинового гнезда,
С заштопанных знамён энтузиазма
С печалью смотрит тусклая звезда.
Осыпавшиеся, ничуть не колки,
Золотошвеей скрученные в нить,
Былой красы застывшие осколки -
Навряд ли кто-то в силах оживить...

Иль бархата владением утешась,
В пыли самозабвения веков
Необъяснимо с небосвода спешась,
Не растеряв блистающих оков,
Предназначенье гордое вкушая

Музейной благолепной тишины,
Царит, к себе иных не допуская,
И за собой не чувствует вины...

Родное

Даётся больше, чем хватаем –
От мира все ключи в руках,
Свободами перебираем
На море и материках.
Перелетаем, уезжаем,
Пересекаем рубежи
И безнаказанно бросаем
Сестёр-берёзок у межи.
И вот совсем чужие звуки
Терзают вечера тоску,
И вот уже готовы руки
К пустому дальнему броску.
Озёра глаз переполняет
Альпийской свежести вода,
А туба грусти выдувает –
«Мы расстаёмся навсегда...»
Немыслимо не совпадая
С лазурной дикостью небес,
Переезжая, вытесняем
Из памяти далёкий лес,
А он за поездом по следу,
По полю, через косогор,
В надежде, что назад приеду,
Срывает головной убор –
И клёны рыжие по краю!!
Чтоб захотелось вдалеке
Произнести: «Я умираю...» -
На чистом русском языке.

Михаил Сипер

Луны тончайший серп

Стены книгами заросли,
Занавеску колыхает ветром,
Мы с тобой в этот дом внесли
То, что вряд ли измеришь метром.

В ночь на Вербное в свет луны
Тучи тихо плывут по Невке,
Лишь с вокзала едва слышны
Поездов поздних перепевки.

Можно выйти в ночной тиши
Из парадного, крикнув дверью,
Помнишь это? Скорей пиши,
А не то тебе не поверят.

Разношёрстных желаний мяв
Не позволит прийти Морфею.
И, замкнуться себе не дав,
Я ослепну и онемею.

Я дышу этой простотой,
Этим счастьем в окне туманном,
Зная точно, что в жизни той
Ляжешь поздно - проснёшься рано.

След в душе - словно от гвоздя,
И саднят, и саднят нелепо
Этот питерский вкус дождя,
Этот питерский запах неба.

годы прошли я не становлюсь ворчлив
да и в дальнейшем поверьте стану едва ли
так из кислощих и незрелых слив
можно создать замечательный соус ткемали

вейзмир бояре старость не знак конца
всё ещё тянет на всяческие безумства
помнишь, как бегали в парк обежав с торца
на сеансы вечерние в Доме культуры УМСа

время сейчас иное другие слова на заборе
но не ложится грузом список прошедших лет
женщина смотрит вопрос содера во взоре
и что ещё забавней я знаю ему ответ

кошка наполнена мурканьем по самую пуговку
носа

человек человеку брат, а порою даже сестра
в небе луна округла видимо ждёт опороса
чтобы количество звёзд выросло до утра

впрочем, опять отвлѣкся от генеральной линии
нынче уже не вспомнить как матери нас рожали
можно пройти сквозь двор в торжественном
благодичии
и ото всех заныкавшись покуривать за
гаражами

значит решили время из уст не вытянет стона
будем крепки на трение круче нас лишь гранит
луны тончайший серп как ободок гондона
всех от грядущих бедствий спасѣт и
предохранит

Давай-ка прекратим, уткнувшись в калькулятор,
Считать остаток дней, часов, минут, секунд.
Давай смотреть в цвета горящего заката,
Давай сотрѣм печаль. Давай устроим бунт.

Что так стучит в ночи? Не сердце ж, в самом
деле,
И не трамвай – их нет, они ушли в ничто.
Откуда столько сил скопилось в этом теле,
Что хочется сыграть с планидою в лото?

Пускай глядит луна зрачком своим совиным,
Не надо обижать прикосновеньем снег.
Тогда и вечер вдруг покажется недлинным,
И умным – к вам на свет зашедший человек.
Всѣ изменилось и не рвѣтся там, где тонко,
Дома вокруг слились в танцующую муть.
А помнишь про слезу невинного ребѣнка?
Не забывай, а то бесцельным станет путь.

Под утро сквозь туман пройти по Самотёке
В колючие огни Садового кольца...
Мой пароход давно ржавеет в тесном доке,
А кто мог ожидать счастливого конца?

По небу, я прошу, как надо, всё развесьте —
Созвездия, Луну и чёрную дыру.
Я спрятал, уходя, мечты в надёжном месте.
Когда вернусь, то пыль ладонью оботру.

В стране где разрешается лишь то
Уверовав во что своим ты станешь
Поймёшь, но всё же сам себя обманешь
Обняв на всех ложащийся галдёж

Пойми, что выбор сложен или прост
Удрать от пыток мрази и дубинок
Суметь семью спасти, а поединок
Внести туда где взорван прежний мост

Как просто отказаться от себя
И вылить в мир воззрения чужие
Забуть про то что в смерть идём нагие
Вломившись в дом где жили не скорбя

Внимая гласу внутреннему вновь
Пойду как все с фонариком во дворик
Сметать с души страх ужас плач и горе
Пустить в полёт свою шальную кровь.

Терпкий цвет осенних листьев
Оживляет серость плит.
Кто из чаек голосистей —
Не смогу определить.

Слева - море, справа – дюны,
И остатки тех путей,
Где с тобой гуляли, юны,
Не пугаясь злых вестей.

Справа - дюны, слева - море,
В небе солнце и луна.
Нам судьба подарит вскоре
Эту чашу, что без дна,

Эти стены, что без окон,
Этот город без людей.
Одиноко? Одиноко.
Значит, думай и седей.

Колокольня тучи серой
Под дождём, искря, звенит.
Жизнь без меры, жизнь без веры
Тяжелее, чем гранит.

Только дует ветер влажный,
Рассыпается жильё.
Век железный, век бумажный...
Впрочем, это не моё.

Это сказано когда-то
Кем? Не помню. Но не мной.
Всё, конец. Начищу латы
И продолжу путь земной,

Где копье, кинжал и палка,
Где Добро идёт на Зло.
Вам меня, скажите, жалко?
Лучше бросьте: «Повезло...»

Вой шакалов за околицей,
За воротами в поля,
Здесь живут, едят и молятся,
Это всё – моя земля.

Дождь срывает листья тщательно —
Это бабушка-январь.
И глядит на нас внимательно
На закате киноварь.

Где-то снег, несомый вьюгами,
Где-то трескается лёд.
А у нас свисают дугами
Сонмы радуг напролёт.

Наших разных тел вместилище —
Эта узкая земля.
Бог готовил нам чистилище,
Счастье поровну деля.

Мы идём сквозь испытания,
Да, Он правит, но порой....
Вот когда сомкнём лобзания,
Нет над нами власти той.

Мы совсем кончаем маяться,
Счастье – только на двоих.
Так нечасто получается
В суете глухонемых.

...Засыпаю. Ночь стирается.
Ни берёз нет, ни осин.
А вдали всё рэпом лается
Громогласный муэдзин.

Может, вы не заметили — нынче проходит
эпоха,
Та, в которой играли мы вовсе не слабую роль.
Было лучше и хуже, но помню, что не было
плохо,
Мы старались не ссориться, даже рассыпавши
соль.
Придается всё, лишь тебе не дано
примелькаться

Жизнь моя, где луна в промороженном напрочь
окне.
Ночь внимательно смотрит древнейшим
провизором Кацем
И вручает диагноз, где истина только в вине.

Если я заболею, в ислам обращаться не стану,
Обращусь в альбатроса, ударившись трижды о
пол.
Пусть плывут под крылом разноцветные люди
и страны,
Те, которых Господь в своём перечне
недоучёл.

В уходящий мой шаг дай вложить мне
последнюю нежность,
Вот ещё одному время выйти в саднящий
поход.

Я тебе напишу, проявляя и такт и прилежность,
Чтоб порхали слова над пожаром предутренних
вод.

А эпоха... Чёрт с ней. Никогда мы минут не
ценили,
А скорей за бесценок свои растранирили дни.
И на вилле в Догвилле, в лесу, на скале и в
могиле
Были злы и беспечны. И в том никого не вини.

Памяти Валеры Чечета

Уйти не прощаясь, уйти как с обрыва,
Как может исчезнуть сапёр после взрыва,
Оставив гитары потёртой молчанье,
Слезу на морщине и хлеб на стакане.

Ах, сцены отравы! Наркотик оваций!
В восторге с друзьями потом обниматься,
Составить свечами в углу стеклотару,
А после немного подстроить гитару...

Проходят недели, меняются годы,
И каждый живёт в ожидании коды.
Мы все успокоились, снова запели,
А он всё шагает в последнем тоннеле.

Евгений Финкель

Он тебя не слышит

– Кто ты, девочка?

– Я судьба.

Конопатая, сбоку бантик.

Имя выцарапано на парте.

С горки кубарем —

в кровь губа.

– Я люблю тебя.

– Дурачок.

Я судьба твоя. Будет горько.

Мы в обнимку сидим на горке

и не спрашиваем ни о чём.

Вспоминая запах бабочек

Как-то раз на даче в Баковке

прячась в клевере с котом,

я узнал, как пахнут бабочки,

и рассказывал потом.

«Махаоны пахнут мыхами,

буроглазки — бузельцой,

голубянки — синевспыхами,

шоколадницы — жульцой».

Развалившись на диване, я

рядом с дремлющим котом,

всё придумывал названия,

чтоб названивать потом.

Пах павлиний глаз «павлухою»,

а лимонница — «кислём»,

а капустница — «капухою»,

а крапивница — «визглём».

И мои родные взрослые

улыбались невпопад.

Было ясно: не по росту им

этот энтоаромат.

Толстоглавки с адмиралами
над травой пускались в пляс.
Я их нюхал, замирая,
по ромашкам развалясь.

Две белянки, три желтушницы
и репейниц мельтешня
отражались в бурых лужицах,
улетая от меня.

А потом на даче в Монино
из газеты на стене
я проведаль про гармонию,
про симметрию во мне.

И далась мне та симметрия —
то жучком, то мотыльком,
и собранием семейным
под пресветлым потолком.

Были пляски насекомые,
были тени надо мной.
Сохли в кладе законном
клевер с «мёртвой головой».

Были дедушка и бабушка.
Было горе — не беда.
Я забыл, как пахнут бабочки.
И не вспомню никогда.

Чайки кричат причалу...
«Поешь борща!»
Что за печаль, Бабаня?
Что за печаль?
«Женя, идешь обедать?»
«Бабаня, ща!
Дай дочитать сначала».

Книжку сую под подушку.
«Два капитана», Детгиз.
Листик плюща закладкой.
Ты не сдавайся, Саня.
Слышишь, Санька, держись.
Басом шепчу в ракушку:
«Мягкой тебе посадки!»

Это рапан от папы.
Красный внутри, как Марс.
Кладезь моих секретов.
Мой говорителъ Богу.
Мы позапрошлым летом
тоже были на море.
Вот бы туда сейчас.
Вот бы его потрогать.

«Знаешь, Бабаня, знаешь,
какая она — любовь?»
«Что за любовь? Не знаю».
Вроде даже смешно ей.
Странная штука — старость.
Цвет её губ лилов.
Думать о ней грешно.
Что за печаль, Бабаня?

Нанизываются облака,
как бусы.
Играем с мамой в дурака —
на мусор.
Чай с пряником, не абы как,
вприкуску.
Сегодня пятничнй дурак —
французский.
Нам по рубашке каждый туз —
знакомый.
– Тасуй, мадам.
– Вскрывает, француз.
– Запомним...
Запомним шелест старых карт,
их запах,
и наш нешуточный азарт.
По крапу
запомним каждую змею
в колоде...
– Сдавай.
– Французам не сдаюсь.
– Кто ходит?
Кто побеждён — тому с ведром
к помойке —

там пивняка желтеет дом
нестойкий.
Там проплывают облака,
как бусы.
Там мы сыграли в дурака —
на мусор.

Где белеет вдали Владимир
за чернильной озёрной гладью,
там стрижи хоровод водили,
да попрятались на ночь глядя.

Закрываю глаза и слышу:
прадед в землю отца хоронит.
И летит над церковной крышей
неразборчивый гам вороний.

Никакой у меня России
не осталось. Ну, малость, может.
Стриж, растаявший в небе синем.
Мамин шепот: помилуй, Боже.

Хрустальным звоном,
хрустящим настом
зима осталась
во мне лет на сто.

Еловой хвоей,
медовой хворью
осталось детство
за синим морем.

С тех пор упрямо
мне снилась мама —
свечой погасшей
во мраке храма.

В нелепом танце
названий станций
жизнь пролетела,
а я остался.

Разговаривая с Богом, помни: он тебя
не слышит.
Он сидит с котом на крыше и насвистывает
вечер.
Ничего ему не нужно и не важно, и не страшно.
Ни о чем его не просят. Всё создал, заняться
нечем.

– Скучно, Господи?
Не слышит.

– Сколько мне ещё?
Не знает.

Он сидит с котом на крыше.
А внизу собака лает.

Феликс Хармац

На стыке лихих времен

говорил господу безенчук
значит так господи значит так
за февраль сверхплановых восемь штук
ты накинь господи хоть чуток
хоть пяток господи хоть пятак
отвечал господь безенчук
ну и хват же ты епта ну и хват
вот ужо вцепился в кадык
ты и ссышь поди сплошной кипяток
да финанс ноньча слабоват
я ведь тоже не гек не чук
понимаю брат безенчук
тяжело в бизнесе без нунчак
но и ты ведь не норрис чак

заходил безенчук в сады к господу
а в садах у господи всего досыта
по-бень-трава покати-арбуз постреляй-ружье
а на самой дальней грядке чего еще
заходил безенчук в терем к господу
а у господи стены росписью
в углу печь стоит изразцовая
показательно-образцовая
ты поленьев подкинь безенчук вот сюда
высоко пламя в печи у господи
чаевал безенчук за столом господи
а у господи чай неплох в общем-то
ты на блюдце налей да подуи сперва
вишь как любит господь разлюбезных чад
а в печи у господи все горят дрова
а в печи у господи все горят дрова
не трещат

Бог Икс живет в созвездьи Ебаньки.
Обслуживая звездную систему планеты
Голубая Финтифля,
он каждый день бредет к деьсти на службу,

в панель вставляет желтые шпеньки,
чтобы взошло над Финтифлэй светило.
Ему куратор делает мурло (ее зовут
Агройсертухес Мила)
(он предлагал ей легкий секс и дружбу,
и говорил "одену в соболя",
но та блюдет о рангах табеля).

Когда приходит разнарядка семь
без буквы "а" бог Икс вершит свободу.
На Финтифле народ навеселе,
кругом огни безводного пространства,
горят сельмаг, больница, телеграф,
собор Святой Кураторши, анклав
людей чуть-чуть других и неприятных,
рядов укропных и матрасов ватных
на Финтифле вздымаются дымы
и можем только удивляться мы,
как много в финтифлянах постоянства.
Затем бог Икс обрушивает воды,
сдвигая синий ползунок в "совсем".

Когда к полудню воды отойдут
(заметь, вода – великий уравниватель)
откроются слои на Финтифле
великолепных глин для рукоделья
и лепки всевозможнейших фигур -
детешкам богокорпуса – забава.
Детешкам говорит "нале-направо!"
военинструктор – фат и балагур.
Еще ведет он авиамодельный
кружок в ДП. Полна его обитель
следов семейных и не очень пут,
(но мы не будем углубляться тут).

Когда лепнина выстроена в ряд
бог Икс проводит фазу оживляжа.
Он придает ей двигательных свойств,
а самым умным отрывает хвост
и гордо представители подвида
кричат: "Спасибо, дидо, за либидо!"
(однажды с оживляжем вышла лажа,
и он лепнину сунул в агрегат.
Я сам не видел – люди говорят).

Затем бог Икс им строит города,
пускает по рукам литературы и прочие
духовные дары,
(среди коих выделяем алкоголь
в разумных для сознания концентрациях),
протягивает всяческих границ
меж лагерей для содержания лиц
нетитульных и некомплементарных.
Он возит их по большинству в товарных
вагонах (разве можно отпускать их
в иные, совершенные миры?)
Над Финтифлём проносятся года
(но мы-то знаем: годы – ерунда).

Заканчивая свой рабочий день,
бог Икс, зевнув, фиксирует панель,
зеленой ручкой гробит динозавров,
пальнет по небесам разок-другой
эс-двести или триста для отстрастки,
залепит изолентой участки
(те, в кои финтифлянам – ни ногой),
понасажает – для веночков – лавров,
для новогодних возлияний – ель,
для Маш из сказки – злополучный пень.
Такая хрень.

вот некто с фамилией иванов идет по своим
делам
он основание всех основ когда бывает не в
хлам
проста меж кнопками он и off проходит его
стезя
и тут доверчиво иванов смыкает на миг глаза
и он уже рабинович с. грассирующий сполна
он плющит электричеством лес и светит в
него луна
из недр земных и из прочих недр он делает
эликсир
шумит береза рыдает кедр вздыхает
спасенный мир
и вот рабинович прикрыл глаза и выяснилось
что он

большая жирная стрекоза на стыке лихих
времен
где слой питательный в небо вшит верховным
кладовщиком
и обстоятельно шебуршит хитином его
брюшко
какой же ты рабинович с. ведь ты же брат
стрекоза
и покрывает жестокий стресс фасеточные
глаза
вставай бисмилляхи рахмани рахим абу иса
исмаил
ты был незрячим ты был глухим теперь ты
исполнен сил
уже заготовлен на твой триумф гяуров
несметный ряд
и тут исмаил ответил уф и скромно потупил
взгляд
доколе личностный ряд потерь душе
принимать всерьез
ты был сын божий и вот теперь ты гильза от
папирос
носок дырявый кусок говна и выжатый клей
момент
и всей-то прыти твоей цена один завалящий
цент
и солнце будет входить из-за без по твоих или
yes
и тут иванов открыл глаза и весь этот мир
исчез

Когда-то я был предводитель наук,
умел я и тетек, и гитик,
но в утро одно непотребное вдруг
весь мозг из башки моей вытек.
И мне невдомек, и ему невдомек
(да, собственно, нету ума-то!),
как он полушарьями этими смог
утечь, точно сок из томата?
Зачем организм мой в щемящей тоске
достался враждебным бациллам?
Ужель, чтоб совочком чертить на песке:

«Считайте меня имбицилом»?
Ведь было же, было - буквально вчера -
имел я приматов приметы;
и вот - коротаю свои вечера,
слюнявя былого предметы.
С давнишнего фото, искрясь и звеня,
глядит моя юная рожа,
а справа четвертая дева меня
звала почему-то Сережа.
И ей невдомек, да и мне невдомек,
зачем я Сережею был с ней,
но ныне, когда обнулится умок,
вопрос этот вовсе бессмыслен.
Быть может, я стану морковью земной,
иль репой, не помнящей скрепы,
не зная, что был я сегодняшним мной,
в отсутствии мозга у репы.
Так реповой праною кармы дымок
попру я с лучами рассвета,
и это уже никому невдомек
и непостигаемо это.

**Про то, как харедим чуть не высосали
кровь из доктора филологии Инны Р.**

Будет очень страшен мой рассказ.
Под покровом ночи невредимы,
окужили Инну как-то раз
в чаще леса злые харедимы.
Стар и млад, подергивая бровь,
чем старее, тем еще пархатей, -
из нее высасывали кровь
для своих кощунственных занятий.
Что влекло их в Инне все сильнее -
ринувшихся в бой из синагоги?
Знать, полезна кровушка у ней
от развратных этих филологий.
Знать, она содержит минерал,
недоступный ни в каком брикете
(это за него сожгли Арал
и собрали соли на рассвете).
Вот уж крови - на один стакан;
выжрут все пейсатые до капли
и взовьют шаббатный свой канкан,

шабаш свой - хасидовские цапли.
Но, лучами разрывая тьму,
ярче, чем "Прожектор перестройки",
сжав в руках фонарик и суму
(а в суме - различные настойки),
появились Бенет и Лapid -
сына два гармонии прекрасной.
"Все, братва, без шуток и обид!
Мы вас всех размажем алебастрой!"

Вот ужo повержен харедим!
Сбросим путы, други, выжжем скверны!
Инна, нам твой взгляд необходим -
взгляд, конечно, варварский, но верный!
И вскричала Инна: "Мужики!
Наше дело доблестно и ратно!",
обнажила белые клыки
и всосала кровь свою обратно.

Будь всегда, прекрасная страна!
Будь к нам милосердной, если даже
сдуру нахерачим до хрена
в абсессивно-затяжном мандраже.
Вон от пестицида гибнет тля,
небеса высвечивают лица,
Ашкелон дает стране угля,
на Хермоне хлопок колосится.

Сборы

1.

как говорил полковник Левенец
а впрочем подполковник суть не важно
«а ху-шки вам!» и как леденец
он послевкусье смаковал вконец
а дальше было все многоэтажно

так незамысловато но хитро
мы постигали самое нутро
азов артиллерийской подготовки
в песках вблизи селения Сепки
и были наши помыслы крепки
поджары торсы и движенья ловки

уже был прожит съезд двадцать шестой
компартии сс стоял отстой
который после назовут застоём
мы вычисляли пушки доворот
и песню «путь далек ебёнарот»
орали на плацу единым строем

культурный день случался в четверг
когда нарезав дантовы круги
к палаткам подъезжала автолавка
с тех пор засохший коржик и кефир
ты мой восторг ты мой почти кумир
а сигареты "Феникс" божья травка

из гаубиц всего дороже мне
Д-30 в ней 122 мм
а дальностью 20 километров
но не за ТТХ мне дорога
ее ланит упругая дуга
а за времен связующее ретро

из памятью отмеренных даров
еще осталась заготовка дров
еще косяк смастыренный Дамиром
и звезд ночных такая круговерть
что не постичь и не пересмотреть
и вечный мир сияющий над миром

2.

опять балует северный сосед
и южный огрызается вослед
в ближневосточном мире мира нет
а нынче в мире всяк ближневосточен
но здесь лишь нам отечество и есть
и в этом состоит благая весть
для всех народов чужеземных вотчин

мой светлый сын когда пришла пора
пошел служить и вышел в юнкера
а там со скуки даже в офицеры
война всегда на выучку строга
и требует познания врага
его орудий например примеры

тут мы пропустим про системы "Град"
и наблюдаем в самый аккурат
как гаубиц Д-30 хмурый ряд
из-за холмов вытягивает дула
подруги дней былых моих они
уже не так прекрасны и стройны
и выглядят угрюмо и сутуло

смешало время в тридцать с малым лет
и давних сборов фарсовый сюжет
и сборов будущих неумолимый рокот
и как бы ни легла по жизни масть
я говорю учи сынок матчасть
а он ценитель правильных уроков

Андрей Новиков

Праздник

Жизнь интересна в первой трети,
На кухне молоко кипит,
Петарды зажигают дети,
И снег искрится и шипит.

В прихожей разговоры грубы,
Свет резко падает в проём,
Приходят гости, шапки, шубы,
Топорщатся хмельным зверьём.

А улица ликует в сборах,
Куранты бьют желанный час,
Расплавлен наст, чернеет порох,
Привычно праздник входит в нас.

Вот так приливом и отливом,
Сумбуром, новизной затей,
И только хрупки и ленивы,
Остатки ледяных дождей.

В них видно будних дней удушье,
Работы повседневной боль,
Жизнь, дай чуть-чуть великодушья,
И праздник выплакать позволь.

Бубенчик

В жажде жизни, в ее круговерти,
Перемешаны правда и ложь,
Много скучного в опыте смерти,
Не тождественно правилам... Что ж?

Безутешно одетый дух речи,
Удивлял повседневности бровь,
И за ближнего страх недалече,
Был на жалость похож и любовь.

Но размажь эту смесь мастихином,
Не жалея ни кармин, ни белил,
Ремесла полновесным цехином,
Ты давно и за всё заплатил!

Небо крыл непечатною жестью,
Жадно ел пирожки с требухой,
Исходивший глухие предместья,
Молодой, бесшабашный, бухой.

Муки вечные щедрой пригоршней,
Собирал и прощенья просил ...
Потому и в груди - скомороший
Вместо сердца бубенчик носил.

Школьник

Солнце жарит, в настроенье глупом,
Показав смазливое лицо,
Выжигает на скамейке лупой
Школьник нехорошее словцо.

Жаждет чадо молодое воли,
Хорошо одно в борьбе со злом:
Он не ловит покемонов в школе,
И бычки не курит за углом.

Но во всем видна первооснова,
Пусть невелико творенье рук,
Тянется дымок с доски сосновой,
Кривизна обугленная букв.

Полдень тонет в мареве, в подбое
Раскаленном, так прими в строку
Грешное, знакомое, любое
Это приобщенье к языку.

Перекрестье

Летящий шум от мирсотворенья,
Из космоса до ветреного дня.
Я знал слова печали и забвенья,
Но думал: это все не про меня.

Из комнаты, откуда убежали
Года в стекло и залегли во тьме,
На мрачные панельные скрижали,
Пятиэтажек в тихой стороне.

У времени – замашки святотатца,
Бредущего на миражи огней.
В желании скитаться и расстаться,
Среди бетона, ветра и камней.

Так где живут согласные стихии
И ломятся от праздников столы?
Рога где поднимая золотые,
Бредут в тиши библейские волы?

Где вечности отпляшут на потребу,
Порой до крови закусив губу,
И где порой ломает стены небо,
Гудя в Иерихонскую трубу.

Там произносят тайное известье,
Оно и есть краеугольный пласт,
Земной дороги тяжелой перекрестье
Сжимает нас и проникает в нас.

Декабрь

Свернёшь в декабрь – кидает на ухабах,
оглянешь даль – и позвонок свернёшь:
увидишь, как на наших снежных бабах
весь мир стоит, пронзительно хорош.

И вьюжная дорога бесконечна,
где путь саней уже в который раз
медведем с балалайкою отмечен,
а конь закатан в перевозанный наст.

Замёрзший звон с уставших колоколен
за три поклона роздан мужикам
и, в медную чеканку перекован,
безудержно кочует по шинкам.

И тянется тяжёлое веселье
столетьями сугробными в умах,
и небо между звёздами и елью
на голову надето впопыхах.

Геннадию Капранову¹

Ни росы, ни света – солнце опять не взошло,
я неряшлив и короток, как надписи на заборах,
меня заваривают, пьют, говорят – хорошо
помогает при пенье фольклора.

Лёд и пламень, мёд чабреца,
сон одуванчиков, корень ромашки ранней,
пожухлый лопух в пол-лица (это я), –
надо смешать и прикладывать к ране.

Будет вам горше, а мне от крови теплей,
солью и пеплом, сном, леденящим шилом, –
верно и долго, как эпоксидный клей,
тексты мои стынут у Камы в жилах.

¹ Геннадий Капранов (1937 – 1985) – казанский поэт, погиб от удара молнии на пляже в Набережных Челнах.

Вся наша смерть – в ловких руках пчелы
молниеносной – той, что уже не промажет:
словно Капранов, я уплыву в Челны
белый песок перебирать на пляже.

Не поезд Анну красит, –
но катится трамвай
отточенной фразой –
под дребезжанье свай.

Куют колёса гомон,
звенит прямая речь
в предчувствии знакомом
смертельных телу встреч.

Теперь за все цитаты
расплатится с лихвой
уже известный автор,
упав на мостовой.

Подворотня

Привет тебе, суровый понедельник!
Должно быть, вновь причина есть тому,
что в подворотне местной богадельни
тайком ты подворовываешь тьму.

И клинопись с облезлой штукатурки
на триумфальной арке сдует тут.
Здесь немцы были, после клали турки...
на Vaterland могильную плиту...

Теперь же неуёмная старушка
с бутылным звонцем – сердцу веселей –
все мыслимые индексы обрушит
авоською стеклянных векселей.

И каждый здесь Растрелли или Росси,
когда в блаженстве пьяном, от души,
на белом расписаться пиво просит
и золотом историю прошить.

Трёхколёсный бог

Навострив свои педали,
в раскученные дали
трёхколёсный катит бог.
От червя и человека,
от бессмысленного века
он ушёл, как колобок.
Полям, речкой, огородом
катит бог за поворотом
мне по встречной полосе.
Есть ещё секунда с лишним,
чтоб столкнуться со Всевышним
и осесть на колесе...
Одуревшей головою,
небо выбив лобовое,
тенью, ласточкой, звездой
мягко выпорхнет из тела
строчка горнего предела,
уплатив за проездной.

Стопудовое слово соловье
измочалено сучьями лип,
где в медовую манкость присловья
я строкою беспечною влип.

Только речь – обожжённая глина
и сожжённая светом пчела,
та, что мнимо проносится мимо,
распечатав седьмую печаль.

Хмель нектара и вязок, и труден,
если сотовый свет позабыть,
если ноты насилует трутень
жалким жалом смычковой судьбы.

Для тебя дулоносные ульи
плавят звука податливый воск
и взлетают жужжащие пули
опылять расцветающий мозг.

Окно – милосердное эхо
погасших квадратных небес,
для беглой свободы прореха
во мрачной квартире словес,

колючая прорубь в иное,
что острою рябью стекла
моё любопытство льняное
вспороть до затылка могла.

Окно – путеводная нитка,
ведущая в пропасть ушка –
как первая к смерти попытка
последнего в жизни прыжка,

и млечная оторопь света,
и ночь задушевной брехни,
в губительный мир без ответа
раскрытые настезь стихи.

Кино

Ещё один денёк засвеченный,
испорченный рекламой дубль,
и на сеансе парень вечером
с экрана дует янки-дудль.

Ещё один стишок немедленный –
реакция на рецидив.
Затих поэт с проводкой медною,
сквозь зубы небо процедив.

А кинолента не кончается,
механик сеет беглый свет,
и отражённый луч качается,
на лицах оставляя след.

Да, в этой солнечной империи,
где каждый входит в каждый дом –
мы все умрём в десятой серии,
но если надо – оживём.

Андрей Чемоданов

Комета в форточку

четыре кошки катались с горки
опять и снова потом ещё
а мы немножко хлебнули горькой
и нам и кошкам там хорошо
хороший двор тот где ходят кошки
кататься с горки а не менты
хлебнём-ка что ли ещё немножко
ещё немножко и мы коты

у синицы-то всего немного
тела мимолётного чуть-чуть
маленькие крылья легче вдоха
с веточки на палочку порхнуть
что-то клюнуть и куда-то деться
уронить на землю шелухи
я кормушку ей принёс из детства
семечки насыпал не стихи

извините но ко мне тут
прямо в форточку комета
залетела на чаёк
и хвостатой невдомёк
что я кофе пью с котом
с ней дружить не хочет он

заштукатурю дырку в темечке
чтоб свет оттуда не пробился
ночных крылатых много в том мешке
и их удел лишь биться виться
чешуекрылыми замахами
прощупыванием хитина
хотят на свет слепым мухами
сгореть в сознании кретина
но я вас не пущу летайте
там в темноте она живая
в башке же вспыхните растаете
не надо вам такого рая

говорила мама что ж ты пишешь
всё про смерть тюрьму или суму
белый парус счастья не ищешь
как тебе не стыдно самому
отвечаю я поэт в законе
так у нас положено прикинь
быть всё время в шоке или в коме
и повсюду постоянно клин
я и сам хотел бы про цветочки
облака и прочих соловьёв
но поэт всегда дойдёт до точки
к этому читателя любовь

однажды выйдешь поутру но в полночь
на страшный берег жизни не шутя
и содрогаясь позовёшь на помощь
нетонущих резиновых утят
кораблики из порванной тетради
цветную плёнку мыльных пузырей
полезешь в воду ты чего-то ради
ты не умеешь плавать же андрей
зачем полезешь ты не зная броду
стуча зубами яйцами звеня
и словно в омут унесёт в свободу
студёная летейская струя

«что-нибудь о загубленной жизни
у меня невзыскательный вкус».
посмотри как мои ноябризмы
выдыхаются паром из уст
посмотри как сжимаются пальцы
как на шее на тонкой струне
задыхаясь не надо бояться
кровью имя писать на стене
посмотри в этой жизни ошибка
буквы нет или буква не та
посмотри улыбаясь улыбкой
«со слезою и пеной у рта»

мы ждали санитаря с зажигалкой
под пожелтевшим белым потолком
стонали нарко и вздыхали алко
дрожали пальцы пахло табаком
ты мне сказал когда однажды выйдем
не попадёмся больше на крючок
совсем пропащий пропади из виду
иначе снова в дурку дурачок
я отвечал исчезновение видов
закономерный в общем-то процесс
мы вышли никого своих не выдав
и ты сумел ты всё-таки исчез

грузные мужчины,
на двоих ночник.
грустные морщины
на челе у них.
разные причины,
результат один.
тот не дурачина,
этот не кретин.
- гражданин начальник,
дай чутка поспать.
- но сперва, охальник,
надо подписать.
на песчаном ложе
выспишься ты всласть.
может быть мне тоже
в тот могильник пасть.
тихие вопросы.
тишина в ответ.
за решеткой розов
как закат рассвет

спой от качки страдали зк
и как мальчика доля горька
трудно жить от звонка до звонка
тяжелей от гудка до гудка
с каждым годом всё легче труднеть
на допросе сказав ни шиша
потому что ответов-то нет

и готова к отлёту душа
пой металлика вьюге назло
запотевшую стопку готовь
потому что дышать тяжело
между этих коротких гудков

если под кроватью семь окурков
пять носков пустых бутылок три
чьё же сердце там стучится гулко
нет не наклоняйся не смотри
что там шевелится под матрацем
дышит под тобою мальчик мой
щупальцами трогая за разум
всякой почемуческой чумой
что там что там что там что там
что там шевелится в темноте
мир гнилою ниткою заштопан
тени тенитени те не те

просто дай мне я умру
и давай на том покончим
закатай в ковёр к утру
затащи ковёр в фургончик
выбей зубы и мозги
молоточком маньяка мне
у болота у реки
положи в карман мне камни
ляжем мы тогда на дно
фбр на нас не выйдет
но одну строку одно
вдруг увидят

ну да но анна ерунда но анна
у телефона твоего внутри
моим звонком колеблется мембрана
вибрирует вибрируетвибри
и вечный бой покой нам только снится
а если что не снится то не то
как тяжело пожатие десницей
мобильника о донна анна о

Татьяна Дагович

Бронированный хрусталь

Менора бы хотелось
выстроить дом, двор,
дворец
стеклянный –
из бронированного хрусталя,
лечь на пол, лежать, не вставать,
и ждать,
ждать-ждать-ждать,
когда стечёт желчь,
злоба стечёт,
из окружающего мира,
чтобы он перестал вонять
печалью и рвотой,
чтобы можно было выйти,
сжечь дворец, двор,
дом
из бронированного пластика,
и жить по-настоящему,
без стен,
без границ,
без цели,
без проволоки в горле,
без всего дурацкого.

Мне бы хотелось
прыгнуть в воду,
и нырять, погружаться
до дна
этого стакана,
опустошая,
в котором было
вино, какое? не помню,
стоять босиком на льду,
им стала вода прежде,
чем я до неё долетела –
всегда летала неважно,
всегда чего-то хотела,
и получать не любила.

Мне бы хотелось
стать стеной
между воюющими сторонами,
и пусть себе стреляют,
пусть тешатся,
мне не больно, мне по приколу,
надоест — пойдут по домам,
сварят суп,
съедят, прозреют,
а я — я буду стоять,
прозрачная, непробивная,
вечная помеха
передвижению.

Мне бы хотелось
уметь рисовать и лечить
заблудившихся животных,
я так
не люблю, когда умирают
вдали от экосистемы
родной —
эти маленькие, живые,
похожие на меня
глазами и вздохами,
хотя бы нарисовать
их тоненькие ресницы,
как будто ещё живые.

Мне бы хотелось:
праздник, любовь, реасе,
свобода-равенство-братство,
(кто хочет — где хочет — писать,
кто хочет — где хочет — ебаться),
все мы здесь сестры и братья,
кто не Каин — тот Авель,
Золушка в свадебном платье,
от сестёр убегает
в бронированный дворец,
под бомбоупорный венец.

Мне бы хотелось
мороженого с облепихой,
просекко с кусочками лайма,
тонкий ломтик сельдерея,
лист базилика,
сливки с ванилью,
не есть –
смотреть и трогать,
мне бы хотелось
уметь обходиться
без пищи.

Мне бы хотелось уметь
понимать других людей,
они все говорят
на иностранных языках,
я знаю иностранные языки –
не помогает,
они говорят,
я хожу вокруг,
прислушиваюсь,
пытаюсь сопоставить значения,
выделить смыслы,
уцепиться за
логические цепочки,
бьюсь лбом о стекло,
но это ещё о'кей,
намного хуже то,
что они пишут в сети.
Откровеннее.

Мне бы хотелось
иметь огромные ладони
из воздуха,
чтобы придерживать в небе
поскользнувшие самолёты,
и сбитые, и взорванные,
и пилотируемые психами,
и неисправные,
и пропавшие – все,
плавно доставлять их
в нужные аэропорты,
на удобные полосы.

Мне хотелось бы
всё исправить,
всем хотелось бы
всё исправить,
наладить ритм,
кое-где рифма,
в основном – нет.
Мне бы хотелось
быть бесконечной,
но не бессмертной,
нет.

Ольга Аникина

О мурашах и людях

De profundis

Мне дали тишину,
а я её боюсь,
включаю музыку
и с тишиной борюсь,
кому-нибудь звоню,
листаю ленту,
и с девятиэтажной высоты
смотрю туда,
где скоро будет лето,
где ветки прячут
новые цветы

и листья новые
в холодных, напряжённых
остроконечных красных кулачках,
где берегут молитвы бережёных
на маленьких отдельных пяточках.

В развёрнутой ко мне бесцветной тыльной
поверхности –
есть признаки надкрыльной
пластины,
а под ней дрожит крыло,
но для полёта время не пришло –

немая продолжительность пробела.
И в ожиданье жизнь моя проста,

смирительна, убога, неумела.
Качайся в тишине,
о маленькое тело,
нырятьщик над опорой моста
и гусеница на краю листа.

Жара

Старуха замёрзла в столичной жаре.
Старуха под мокрым лежит одеялом
и видит рисунок на старом ковре
и солнце, горящее полным накалом.

Какое бы пекло в Москву ни пришло,
старухе не жарко, совсем не тепло.
В невидимом поле блуждают частицы,
гривастые кони трясут головами,
плывут краснопёрки, ерши и плотицы
и разные твари без лиц и названий,
пылинки в луче или рябь на экране,
какая-то мелочь, ничто и нигде.

Плывёт на своём допотопном диване,
как белый ледник в раскалённой воде.

Паук

слепой паук нащупывает путь
двумя ногами,
как инвалид
идёт куда-нибудь
с двумя клюками.

по шторе вверх ползти,
по шторе вниз ползти,
ступить на воздух,
и на нём почти
зависнуть,
чтобы
снова провалиться,

дорога будет
колыхаться,
длиться,
пока он доползёт до края шторы.

молчи и ничего не говори.
не предусмотрены поводыри
в законах мира
фауны и флоры.

Червяк

Невидимка, летучий пустяк,
представитель воздушной среды,
я последний небесный червяк,
в облаках я копаю ходы.
Посмотри, над твоей головой
очертанья далёких земель –
это я в черноте грозовой
незаметно проделал тоннель.

Я личинка, что в божий хитон
отложила бессмертная моль,
я бурю атмосферный бетон
поперёк
или вдоль,
и лучи проливаются вниз
из прорех, что я в тучах прогрыз.

Если острый опустится клюв,
чтоб склевать меня – раз и привет –
надо мною откроется люк,
я лепил его тысячи лет.
Надо мною откроется ход
через лёд атмосферный и мрак.
Говорят, что туда уползёт
и спасётся небесный червяк.

Пчела

Он шёл за позолоченной пчелой
и был убит отравленной иглой,
лишь краем глаза уловил помеху
по линии движения пчелы –
как будто бы в листве священного ореха
стоят они,
не благостны, не злы.

Короткий выдох – свист или дискант.
Легко иглу из дудочки пускать,
когда чужак не ждёт, что будет выстрел.
И быстро с неба темнота сплыла –
и промелькнула шустрая пчела,
мохнатый шмель
слетел на хмель душистый.

Откуда шла, куда теперь идёт
лесных богов добыча и потеха?
Сквозь ветки, где замаскирован дот,
колени чьи-то видно и живот,
пустое ухо и больное эхо.

Травой укрытый, тихо тлеет плод.
Шумят дожди в лесу среди болот.
Молчит листва священного ореха.

Стрекоза

Шагает снег по городу пешком,
уже засыпан город целиком
подмокшей солью и небесной манной.
Деревья ловят звон её стеклянный
то жёлтым, то зелёным языком.

И словно набирают высоту
беседки в ботаническом саду –
фонарики с оранжевой подсветкой.
По воздуху стучит шиповник веткой,
как барабанной палочкой по льду.

И эта соль на листьях октября –
как слово из простого словаря,
которое молчим, не произносим;
так линия течёт
по крылышкам стрекозьим,
себя саму безмолвно говоря.

Лётчица

Качнись, душа, над стебельком пустым,
грядёт твоя короткая свобода.
Твой белый одуванчиковый дым
всё легче год от года.

Ты лётчица, твой тайный парашют
уложен так заботливо и верно,
подлиственно, подкожно, подреберно,
а ты не раскрывай его, прошу,

не торопись рассеяться вдали,
пока внизу, среди зелёной пены –
кузнечики коленопреклоненны,
стрекозы сонные, гремящие шмели,
и на границе тьмы текут, как вены,
тела корней, родителей земли.

Ирина Маулер

Подтяжка души

Девчонка

Не реви девчонка, не реви, все сбудется,
А пока что сердце хмурится,
Облака висят над ним, как над заброшенной улицей,
Серые, круглые - глянцевой пуговицей,
Цветом пиджака его, твоего настроения.
Поверь - он у тебя не последний.
Летний дождь пройдет, осенний
Смоет все, что скопилось за лето,
Сядешь под чистым небом, укроешься пледом,
Возьмешь кусок теплого хлеба
С вишневым вареньем и вкусом детства
И будешь греться, а потом опять и опять греться...
Тот, другой, который настанет,
Как новый день, как цветок в стакане,
Непреложно и необъяснимо
Не пройдет мимо, и ты не пройдешь мимо.
И будет солнечный свет, и будет новая улица,
И все обязательно сбудется... Верь - все сбудется.

Я умею ждать

Телефон молчит - я тебя не жду,
Голова болит - это так, к дождю,
До меня тебе – может, только малость,
Кто ты мне - чужой, просто показалось.

Подержал в горсти птичку певчую -
Я теперь тобой вся отмечена,
Место гулкое, место темное,
До чего ж в него я закована.

Кони белые, кони быстрые -
От тебя на все дни и числа я,
От тебя на все - дали, стороны,
От тебя, а ты - словно сторожем.

Подержал в руке - жалко отпускать,
А в моей реке время словно вспять.
Пело и цвело, а теперь пустырь.
Ничего назло - просто отпусти.
Телефон молчит - я тебя не жду,
Голова болит - это так, к дождю.
Только отпусти - за тобой опять...
Телефон молчит... я умею ждать.

Лицо

Лицо стареет постепенно,
Оно становится степенным,
Послушным, резким, безразличным,
А иногда и неприличным.
Но личного всегда в достатке,
Все недоплаты и заплатки,
Все недочеты и зачетки,
По щечкам выписаны четко.
На лбу - вопросы удивленья,
У губ - неверные решенья,
По шее нежной и крылатой
Когда-то, словно полк «солдат»
Проходит смело и свободно
В пылу и жажде битвы конной.
Лицо стареет неизменно
Хоть пой, хоть кровь гони по венам
Вином ли, страстью новых линий -
От времени на коже - ливни.
А если так - какое дело
Душе от этого раздела,
На дни и ночи, осень, зиму -
Душа и плоть неразделимы?
И тоже быть красивой хочет
Души морщинистый цветочек?
Но, слава Богу, наше время
Спешит закрыть вопросов тему.
Вот-вот дождемся предложенья
"Душе - подтяжка", как решенье.

Мы

Мы похоже похожи, я тоже люблю комплименты,
И высокий каблук, и парящие в музыке лица,
Вальс платанов и цокот наряженных в ленты

Лошадей, окрыленных лишь видом имперской столицы.

Я, как ты, обожаю и роскошь, и блеск светской жизни,
Чистых улиц улыбки, прохожих ухоженных лица,
Только мне почему-то не выпало этой отчизны,
И с другою, родною по крови, никак не ужиться.

Я, как ты, но не здесь, не сейчас, не похожа,
Я не вхожу туда, где тебя ожидают и любят,
Хоть у нас одинаково бледная кожа,
И в молитве почти одинаково сложены губы.

Не похожа, не схожа, ты ходишь другими путями,
Мне по солнцу пешком, а тебе на ковре-самолете,
А тебе запряженные лошади в сани,
Мне – за гончими псами недель рядовая охота.

Мне на щеки печаль, а на душу пощечины градом,
Я ль не рада тебе, не в тебя ли ряжусь ежечасно,
Ну, а то, что другие ношу я наряды -
Принимаю, хоть этому верю отчасти.

Не похожи, но точно когда-то встречались,
День в шестой с сотворения этого мира -
Вероятно, мы душами там обменялись
И забыли об этом обмене счастливо?

Потому и похожи, но разными ходим путями,
Поменяемся, я отработаю смену,
Заступай и продолжи мои испытанья,
Разреши нерешенные мною проблемы.

Говоришь, что у каждого тяжкая ноша,
Говоришь - и тебе не легки испытанья,
Говоришь, что в столице имперской непросто,
И на радости времени нет и желанья?

Что нам делать, скажи,
Где места исполненья желаний,
Где легко и свободно, и нет ни сомнений, ни стресса?
Вот рука, я готова к любым расстояньям,
Только... чтобы там озеро, чтобы у леса...

НОН-ФИКШН

Александр Карабчиевский

Реквием по непроданной литературе

Литература – мастерство фиксации времени. Причём с двух сторон, в двух аспектах. Во-первых, она на время чтения делает читателя современником автора. Будет ли это научная книга, беллетристика, поэзия или мемуары – физическая жизнь и смерть автора не влияют на однажды зафиксированный текст. Жизнь читателя продолжается ежеминутно, но в картинке, созданной писателем, виртуальное время названо и отмерено. А, кроме того, литература останавливает течение времени в момент, описываемый автором. За увлекательным чтением время читательской жизни проходит незаметно. Подобным эффектом обладает и кино, но у любого фильма, даже видового, есть некая литературная основа, заключённая в сценарии или хотя бы в понимании создателей фильма, что именно они снимают.

Так литературу можно уверенно сравнить с машиной времени. И вот уже двадцать лет в Израиле я оказываюсь крохотным полупроводником этой машины – если вообще у машины времени возможны полупроводники. Я продаю книги, проводя к покупателю требуемый им товар и задерживая поступающие от него деньги.

Но в последнее время мне всё чаще приходит на ум иное сравнение – с войной. Сажу в передовом стрелковом окопчике на первой линии громадного фронта, защищая огромное нереализованное пространство мировой литературы от забвения. И вот появляется противник – возможный покупатель. Он пришёл за чем-то конкретным, или он сам не знает, чего ему хочется – неважно; я мгновенно выбираю нехитрое словесное оружие, чтобы распотрошить его, выявить и удовлетворить его скрытое, неназванное стремление, и всучить товар, выглядящий в

каждом случае по-разному, за деньги, выглядящие одинаково. И если покупатель ушёл неудовлетворённый – он ранил меня, но и раненным я не бросаю свой окоп до конца рабочего дня, за которым наступит следующий рабочий день.

Книги – товар штучный, товар необычный. Если в магазине одежды ассортимент исчисляется сотнями предметов, а в крупном продовольственном до тысячи наименований, то в сравнительно небольшом израильском русскоязычном магазинчике – более двадцати тысяч разных книг. И каждая из них молча взывает: продай меня, непременно меня! И каждая имеет свои особенности, имя автора на обложке, содержание, которым этот самый автор надеялся когда-то привлечь аудиторию. Я пытаюсь рекомендовать, советовать... Впрочем, большинство покупателей предпочитает рыться в книгах самостоятельно. Как для человека старого времени, для меня ещё имеет значение цитата Карла Маркса в начале работы. Так вот, когда его спросили о любимом занятии, он ответил «Рыться в книгах». Наводя порядок на полках после ухода очередного искателя, я понимаю, до какой степени я не марксист. Но пусть марксисты приходят, пусть роятся – лишь бы приходили. Увы...

Вот уже 20 лет я продаю книги. Наступают времена, когда это занятие оказывается нерентабельным. Seriously подкосила торговлю пандемия коронавируса, с которой связана самоизоляция, карантин и попросту закрытие предприятия. И всё это – на фоне общего снижения интереса к бумажным книгам. Настал день, когда в магазин не вошёл из покупателей никто. В этот день я по-пушкински попрощался с книгами: «Прощайте, друзья». Согласно установившейся легенде, именно так сказал Пушкин, умирая и глядя на стоявшие на его полках книги. Но я пока не умер, а просто нагрел мобильный телефон, безрезультатно обзванивая знакомых в поисках другой работы.

Вот, рассказывая всё это, я чуть было не нарушил неписанную заповедь продавца книг: говори только и исключительно о тех книгах, которые стоят на полках за твоей спиной, и которые ты можешь через мгновение предъявить. Потому что если рассказываешь о книге неинтересно – твоя беда, а если рассказываешь интересно, слушатель вдруг может сказать «А покажите-ка!». И если у тебя в руках книги нет – опять же твоя беда. Но Карл Маркс

у меня есть, и его биография, написанная Мерингом, и тома из собрания сочинений. А Пушкина – хоть завались: три вида собраний, отдельные тома и ещё полочка литературы о нём. Налетай, подешевело; отдам любую книжку дешевле, чем один раз в городском автобусе проехать. Нет, не приходят...

Для того, чтобы что-то прочитать, нужно это что-то сперва издать. Так мы оказываемся заложниками издательской деятельности прошлых лет. Магазин переполнен собраниями сочинений российских писателей, почитаемых классиками и не доживших до советской власти, или иностранцев – современников её, относившихся к этой власти без отвращения. Так называемая «Большая Алия Девяностых» в качестве ценностей везла в контейнерах книги. Толстые, запылённые, в переплётах. Люди старого времени, вроде меня, ещё помнят очереди у книжных магазинов, когда открывалась подписка на многотомники; помнят почтовые открытки, адресованные самому себе, которые ошарашенный подписчик оставлял в книжном магазине. Ведь тома собраний сочинений поступали в магазин не одновременно, а последовательно; о поступлении следующего тома извещала открытка. Помнят переключки в очереди, запись, книжный дефицит... Молодым людям я даже не пытаюсь это разъяснить – наша эпоха кончилась, теперь – их времена. Собрания сочинений Пушкина (три вида) и Чехова (два вида), троих Толстых – Льва и Алексеев Константиновича и Николаевича, Тургенева и Лермонтова, Куприна и Каверина, Чернышевского и Фадеева, Вересаева и Тынянова, Аксакова и Гарина-Михайловского, Ильфа и Петрова, Грина и Достоевского, Чуковского и Блока, Горького и Шолом-Алейхема, Мольера и Шекспира, Фейхтвангера и Альфонса Доде, тридцатитомник Диккенса; Гюго, Бальзак и Золя, Генрих и Томас Манны, Сервантес и Дюма-отец, Цвейг, Джек Лондон и Стейнбек, Карел Чапек в пяти томах, Жюль Верн и Ромен Роллан в двенадцати каждый – помогите мне, известные фамилии, денег заработать! Молчат известные фамилии, сурово теснясь на полках.

Для того, чтобы что-то продать, нужно это что-то сначала приобрести, хотя бы виртуально. Книги стекаются в книжный магазинчик разными путями. Можно заказать их у посредников-перевозчиков по прайс-листам московских издательств. Можно задешево купить у тонущих коллег.

Или получить в дар от людей, книжные шкафы которых требуется срочно освободить. Или добыть излишки при реорганизации местных библиотек. Или обменять у покупателей; например, рядовая среднестатистическая книжка продаётся за десять шекелей, но если покупатель приносит в обмен другую, то с него – лишь пятак. А можно получить книгу для продажи лично от автора или издателя. В любом случае новобранца следует осмотреть, определить его жанр и дефицитность, и предоставить место на полке рядом с однополчанами, корешками вперёд сражающимися за благосостояние владельца.

Книжный магазин владеет сокровищами, ценность которых ясна далеко не всем. Когда-то в Советском Союзе двести томов «Библиотеки всемирной литературы» приравнивались по стоимости к легковому автомобилю. С тех пор шкала ценностей сместилась; подержанные автомобили дешевле медленнее, чем подержанные книги. Зато духовную ценность книги невозможно оценить в деньгах. И я, как человек старого времени и как продавец, ощущаю субъективную причастность к величайшим творениям человеческого духа и словесного мастерства. Великие мастера и начинающие авторы – все они пишут за меня. Мы с ними плечом к плечу стоим на этом невольничьем рынке, демонстрируя свои умения и ожидая будущих хозяев; а поскольку великие писатели к торговле не явились, их всех представляю лично я.

Так мы меняем духовные ценности на материальные. И в процессе этого обмена создаются новые духовные ценности, опосредованно зависящие от материальных.

Из того, что стало меньше покупателей, следует неверный вывод, что люди вообще стали меньше читать. Количество текстов, окружающих современного человека и доступных его сознанию, постоянно возрастает. Люди не перестали читать. Но теперь читают они чаще всего с других, небумажных носителей. Популярность набирают аудиокниги, ещё сто лет назад как явление неслыханные. Смартфон или электронная читалка-ридер обеспечивают доступ к сотням виртуальных библиотек со вполне реальным текстовым содержанием. Чтобы привлечь клиентов, книжные магазины вынуждены прибегать к различным трюкам: приглашать лекторов, создавать клубы любителей литературы, проводить вечера-презентации. Торговле это помогает слабо. Единичная, даже очень

удачная продажа не заменяет массового спроса. А спрос падает.

Из-за этого ухожу из профессии не только я. Уходит эпоха. Сократилось число репатриантов, но количество привозимых ими с собой книг сократилось намного резче. Репатрианты, говорящие по-русски, ещё иногда читают книги. Их дети выбирают иные источники познания. Во времена моей юности книги были важнейшей приманкой интереса, чудесным развлечением, доступным даже беднякам. Мои сверстники, да и старшие поколения, потребляли в основном повествовательные жанры с воображаемыми персонажами – романы, повести, детективы, фантастику; - словом, беллетристику. Нынешние потребляют чаще произведения жанра эпистолярного – так называемые посты и блоги, записи в социальных сетях и новости; - словом, сообщения и открытые послания, персонажи которых реальны, а нередко и знакомы читателю лично. При этом дети репатриантов охотно покидают русское языковое пространство – ведь все успешные в жизни люди, которых они видят, свободно общаются на иврите. В большинстве знакомых мне семей, где родители говорят между собой по-русски, дети в личном общении давно перешли на иврит. Бесполезно ждать от них интереса к книжному магазинчику. Это Израиль, детка!

Чтобы что-то издать, нужно сперва написать это «что-то». Как человек старого времени, я до сих пор испытываю необъяснимое и неоправданное уважение к фамилиям, стоящим на обложках толстых книг. Писатель – это была государственная должность, великолепная кормушка. Членский билет писательского союза вызывал уважение почти такое же, как удостоверение работника спецслужб. И я мечтал, - но не надеялся - дожить до того времени, когда носить удостоверение сотрудника тайной полиции станет не почётно, а позорно. Ведь были же в истории времена, например, при жизни Пушкина, когда жандармская должность считалась постыдной. В наши дни в жандармы пробиться труднее, чем прежде, а в писатели – намного легче. Писательство перестало быть оплачиваемой должностью и стало частной инициативой. Выгода уступила место моральному удовлетворению.

Книги вопиют: «Продай меня, продай меня!» Беззвучно кричат заглавия, этот стон подхватывают имена известных или безвестных авторов. Два высоченных стеллажа в

магазине заняты исключительно продукцией израильских издательств и типографий. Её спрашивают гораздо реже, чем хотелось бы писателям. В Интернете это не имело бы никакого значения; но писателям почему-то хочется видеть свои строки напечатанными на бумаге. И вот они приносят свои книги ко мне. И я охотно беру их на продажу, ничего не обещая автору, и понимая, что продать их будет очень трудно. И книги стоят в шкафах. Впрочем, неподалеку стоят и книги российского издания. Уходит эпоха.

Мой приятель написал повесть. Я совершенно от него этого не ожидал. Повесть из израильской жизни.

- Зачем ты это сделал? – спросил я у него, когда мы встретились.

Он ответил:

- Мне просто нравится писать. Наверное, у каждого человека есть свои тараканы в голове. Так вот, мои успокаиваются только тогда, когда я что-то напишу.

Он это совершенно серьезно сказал. О тараканах.

- Ну вот, ты и написал. Повесть, кажется, окончена. И чего же ты хочешь дальше?

Ответил он мгновенно.

- Хочу, чтобы мою повесть прочитало как можно больше людей!

- Прекрасно, - обрадовался я. – Но каким образом ты намереваешься установить это? Допустим, многие уже прочитали её, но никаких сведений об этом у тебя нет. Поверь мне на слово: твою повесть прочитали тысячи человек.

- И что они сказали?

- И сказали: «Бог ты мой! На что мы потратили время?»

Недоуменное молчание. Похоже, такой поворот беседы озадачил его.

- Писание доставляет тебе удовольствие? – спросил я.

- Да!

- Отлично! Поздравляю. Но почему же ты решил, что плоды твоего удовольствия доставят удовольствие читателю?!

Он задумался. По-видимому, у него тоже сохранилось неоправданное почтение к именам, стоящим на обложках. Развеивая это почтение, я тут же сунул ему в руки несколько разнообразных произведений израильской музыки. Надеюсь, они будут ему полезны. За умеренную цену. За очень умеренную цену – потому что дороже он всё равно не заплатит.

Михаил Копелиович

Хава Волович – новое имя в израильской русской прозе

Это имя пока известно лишь узкому кругу: российскому обществу «Мемориал» и читателям газеты «Новости недели», в приложении к которой «Роман-газета» 14 апреля 2021 года воспоминания Хавы Волович были опубликованы.

Хава Владимировна Волович родилась в 1916 году, т. е. 105 лет назад. Она еврейка из украинского села Сосница, Черниговской губернии. Умерла в 2000-м году в г. Мена той же области. В этом городе прошла большая часть её жизни.

Хаву угораздило родиться перед самым большевистским переворотом в Российской империи. 14 августа 1937 года она была арестована и приговорена по политической 58-й статье к пятнадцати годам ИТЛ (называйте их «исправительно-трудовыми лагерями» или, что больше соответствовало их режиму, «истребительно-трудовыми»). А отсидела она на год больше. Была освобождена (без реабилитации) в апреле 1953-го; реабилитация догнала её 28 декабря 1963-го.

Была в жизни Хавы ещё одна дата, самая для неё страшная: 3 марта 1944 года; в этот день в одном из сталинских лагерей умерла в возрасте одного года и четырёх месяцев (!) её единственная дочь – от голода и мучений в лагере. Мать её защитить не смогла.

Воспоминания Хавы Волович написаны в 1969-1971 годах в Мене, куда она вернулась вскоре после освобождения, и в Ленинграде. Под репрессии большого сталинского террора Хава попала юной девушкой, вышла на свободу 37-летней женщиной, а написала свои потрясающие воспоминания в возрасте 53-55 лет, оставаясь одинокой и никому не известной в течение последующих трёх десятилетий, вплоть до самой смерти.

Арест Хавы в 1937 году не случаен. Был донос, лживый, конечно. Но всё-таки девушка неоднократно, не скрываясь, выступала против так называемых встречных планов в сельском хозяйстве, где ей уже довелось трудиться.

Этапы жизни Хавы Волович до ареста

*Сейчас наступит мой черёд.
За мной одним идёт охота.
Будь проклят сорок первый год –
ты, вмерзшая в снега пехота.*
С. Гудзенко, «Перед атакой», 1942.

Автор этого стихотворения, известный советский поэт, не видел того, что видела Хава, но, может быть, слышал об этом, считая в порядке вещей коллективизацию, раскулачивание и «колхозное строительство». Но Хаве Волович, умной, зоркой и совестливой, к тому же близко столкнувшейся с этими явлениями, они были чужды. Возможно, она могла бы написать такие же стихи, заменив сорок первый на тридцать третий и «вмерзшую в снега пехоту» на «перелом хребта народа». Но она написала другое: «Очень рано, в пятилетнем возрасте, у меня умерла младенческая вера в человеческое бессмертие. Её убили гайдамаки (*во время гражданской войны – М.К.*). Формула "Человек человеку – волк" была мне до этого неизвестна, потому знакомство с ней и гибель веры, которую дети обычно теряют без особых переживаний, я перенесла очень трудно. <...> Меня мучили страшные сны, одолевали кошмары».

О родителях она говорит: «Плохо началась их жизнь, плохо она и кончилась. Сыновей унесла война. Подающую надежды дочь унесло за колючую проволоку». Но, с другой стороны, Хава признаётся, что она «не испытывала жестокой отверженности бесприютного сиротства, на которое в те годы можно было наткнуться на каждом шагу. У меня была крыша над головой и были родители». И они так или иначе помогали большевикам (ещё до октября 17-го).

Однажды плыли на пароходе – спасать арестованного отца, который побил офицера за его хамство. На пароходе начался пожар. «Мать с малышами на руках стояла зажата в толпе. Закрыв глаза и стиснув зубы, она молилась: "Господи, только бы не начались роды!" Я не стала доставлять ей такой неприятности и, хотя зрелище было, вероятно, захватывающим, осталась на месте до своего часа». Подумать только, после всех тягостей,

перенесённых автором воспоминаний, она, уже пожилая женщина, оказалась способной на юмор.

Голод и тиф в Херсоне, куда семья переселилась в 1921 году в поисках лучшей жизни. Но, за неимением таковой, вскоре возвратилась на родину. Этому предшествовали долгие и мучительные дни, проведённые на вокзалах, где «вши, потоки вшей на цементных полах залов ожидания» были таковы, что «от них шевелились бумажки, брошенные на пол». Потрясающая метафора, подсказанная самой жизнью!

Книги, найденные в домах бывших владельцев и тем самым спасённые от неминуемой гибели: «Так в наш дом вошли книги. <...> Мне так приспичило поскорей узнать, что написано в книгах с картинками, на которых изображена жизнь, не похожая на нашу, что я и сама не заметила, как научилась читать». Воистину необычный ребёнок! «Так начался мой первый в жизни запой». А второй запой случился уже в лагере и связан с появившейся привычкой к курению.

Год 1931-й: «Почти не посещая школы, я сдала экзамены за семилетку <...>, и отец устроил меня ученицей в наборный цех» только что открывшейся в городе типографии.

Снова голод в 1932-1933 годах, на сей раз связанный с кампанией раскулачивания и насильственной коллективизацией, причём «в 1933 году кулаков уже не было, единоличников тоже не оставалось. Теперь "раскулачивали" колхозников», а «у крестьян, которые до этого не хотели вступать в колхоз, забирали подчистую весь хлеб, картошку, даже фасоль».

Год 1934-й: «К тому времени я уже перешла работать в редакцию». Писала фельетоны. Редактор пускал их в печать без поправок. Такими были первые опыты сочинительства. Появились завистники.

1935-1936-й: «Год относительной сытости и ликующих песен». Потрясающее всех убийство Кирова в декабре 1934 года и последовавшая за этим волна большого террора, «развенчивание героев гражданской войны, революции и первых лет советской власти и их гибель. <...> Сомнения шевелились в моей голове, ещё недостаточно оболваненной славословием (*в честь кого, догадаться не трудно. – М.К.*). Их я выкладывала». Это же мысли 20-летней девушки! А нам в хрущёвские времена внушали, что в те годы, о которых идёт речь, никто не понимал, что

происходит. Но всё-таки большинство смирялось и с ложью, принимая её за правду, и со славословием.

Лето 1937-го: призыв к девушкам ехать на Дальний Восток, и «я решила ехать», несмотря на уговоры родных и слёзы матери, и «стала ходить в НКВД за пропуском. <...> Однажды в кабинете начальника я увидела двух незнакомых энкавэдэшников. Домой я больше не вернулась». Это и был арест.

Хочу добавить несколько слов по поводу раскулачивания и голодомора в 1932-1933-м годах. Мне могут сказать, что воспоминания Хавы написаны уже в зрелом возрасте, после её «похождений» по тюрьмам и лагерям. Поэтому, дескать, у неё сложилось устойчивое негативное отношение к советской власти. Но ведь не выдумаете же эпизоды, описанные в главе «Голод». «Все ли об этом помнят? Не знаю, не слышала». Кто-то и не хочет вспоминать. А вот Хава помнит всё.

...Некая Дуня, отпущенная на все четыре стороны, не смогла (не позволили!) взять с собой «ни куска хлеба, ни единой тряпки. Одеяльце, в которое был завернут её годовалый ребёнок, один из активистов взял за край, выкатил из него (одеяльца. – М.К.) ребёнка на оголённую кровать и бросил в общую кучу вещей, отнятых у семьи». А мать Дуни, «если ей удавалось что-то достать, стремилась накормить своих детей, а внучку, чтоб скорей умерла, не кормила вовсе. Верочка превратилась в скелетик, обтянутый жёлтой, покрытой белесоватым пухом кожей». Разве такое забудешь?! Верочка же была так привязана к жизни, что, когда «моя подруга выносила её на солнышко и сажала на траву, сразу падала на животик и жёлтыми, старушечьими пальчиками начинала щипать траву и жадно запихивать её в рот».

И однажды у кладбищенской ограды Хава увидела мальчика лет шести. Он, видимо, тоже ел траву. «По ногам из-под домотканых штанин текла, по-видимому, только что съеденная трава. Атрофированный желудок не смог её хоть сколько-нибудь переварить. <...> Мальчик стоял неподвижно. Из полуоткрытого рта у него вырывалось тоненькое "и... и... и..." Он не просил и не ждал помощи ни от кого. Он видел, как взрослые люди, обязанные не уничтожать, а защищать его детство, приходили и отнимали у его семьи последний кусок, обрекая её на голодную смерть. Люди были врагами, и он их боялся. Поэтому он ничего не искал на людных улицах, а пришёл к

кладбищенской ограде, может быть, в надежде найти что-нибудь съедобное, а нашёл смерть».

А далее – неожиданное. «Если уж говорить о героизме народа в те годы, то Верочка и мальчик с кладбища, и неисчислимо число других мальчиков и девочек тоже были героями, только они не знали об этом. Они умирали, как выброшенные коряги». Какое сопоставление! Немного выше ещё одна метафора подобного рода: «Время злобно старалось сделать всё, чтобы мы не дожили до того счастливого будущего, когда всё будет».

После ареста – до освобождения

Так получилось, что ещё одна гениальная метафора легла на страницы воспоминаний Волович в начале следующей за главой «Голод» главы «Арест»: «Тот самый следователь, который задержал меня, выловленную им рыбу потрошил сам».

Этот малый шил дело о «контрреволюционной организации», в которой Хава якобы состояла, и с самого начала следствия требовал назвать фамилии остальных членов этой мнимой организации. «Чудак этот следователь! Я ему втолковываю, что в нашем местечке нет и не может быть таких организаций. Слишком у нас всё буднично». А он ей: «Вот показания вашей подруги: "В 1935 году она собиралась украсть у редактора (*он, кстати, тоже арестован. – М.К.*) револьвер и заниматься террором"». Вот так оно и продолжалось с первого дня следствия до последнего. Хава всегда была находчива: ей не давали спать, таскали на ночные допросы – «и так целую неделю. <...> В голове у меня гудело, хотелось упасть на паркет и спать, спать, спать. <...> – Как вы дошли до жизни такой? – зевая, задавал следователь стереотипный чекистский вопрос.

– С вашей помощью, – отвечала я, тоже зевая».

Из-за этого бессмысленного, с точки зрения следователя, сопротивления подследственной он велел отвести её в карцер. «Этот первый тюремный холод я никогда не забуду. Я просто не умею, не в состоянии его описать», но тут же, хоть и кратко, но впечатляюще его описывает: «Меня морил сон и будил холод. Я вскакивала, бегала по камере, на ходу засыпая, ложилась и опять вскакивала».

На одном из очередных допросов она обманула своего мучителя: придумала побасенку о мифической организации. Персонал тюрьмы проверил и убедился в обмане, но при этом испачкался в выгребной яме (это издевательство входило в замысел упрямой девушки). Когда следователь всё понял, он спросил её, зачем обманула. «Так вас же правда не устраивает», – таким был её ответ.

...В тюрьме Хава освоилась и даже, как она пишет, «стала "рожать" стихи». А через короткое время, на рубеже 1937-1938-го годов, «в соседнюю камеру стали приводить жён энкавэдистов». Ну, в ту пору это было нормальное явление, как и арест всего местного отделения НКВД во главе с начальником, и включая следователя Хавы и прокурора, подписавшего сравнительно безобидное обвинительное заключение: хулиганство в тюрьме. Но недолго играла лёгкая музыка: «В январе 38-го года принесли новое обвинительное заключение, подписанное другим прокурором: 58-я, пункты 9-й и 10-й, часть вторая. Эти пункты подлежат суду трибунала, и в марте меня повели в суд. <...> И опять пошли те же вопросы, что у следователя, по десять раз один и тот же, насмешливое недоверие, подковырки. <...> Я начала злиться...» И далее: «Но они, может быть, не знали, во что может вылиться злость задёрганной, к тому же заносчивой глупой девчонки. (Это она о своём чувстве человеческого достоинства. – М.К.) Когда я была достаточно накалена и трусливую бледность заменил румянец ярости, были предъявлены мои тюремные творенья. <...> Было предъявлено обвинение в обмане следственных органов и был задан вопрос:

– Зачем вы всё это делали?

– Хотела позлить таких дураков, как вы! – брякнула я».

И понеслось... Хава получила пятнадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества. Последнее (насчёт имущества) «вызвало у меня улыбку: имущества-то я за свою короткую жизнь не накопила». Затем первый этап – в Нежин, «в дом, где когда-то гостил Гоголь», - в дом, превращённый в пересыльную тюрьму.

Первый инцидент с медициной: у Хавы болело ухо, и соседка попросила врача посмотреть её ухо и принести какого-нибудь лекарства. «Ответ был отвратительный даже для того времени.

– Здесь не санаторий. Враги народа не особенно должны рассчитывать на лечение. <...>

– А вы, мадам докторша, клятву Гиппократ давали? – спросила я её. – Или Гиппократ сейчас тоже объявлен врагом народа?»

В тюрьмах, лагерях и на пересылках Хава была свидетельницей целого ряда гнусных поступков конвоиров. «Конвоир мальчишка, у которого ещё недавно сопли через губу висели, подскочил к старику (*тот отстал от основной группы этапников. – М.К.*) и с размаху ударил прикладом в спину. <...> А конвоир даже не покраснел ни от стыда, ни от злости. Так, как будто гвоздь в стену заколотил, и остался доволен хорошо сделанной работой. Старик умер через три дня. Говорили, что он был крупный учёный-юрист». Из-за этого Хава, как она пишет, не могла мерзавца «назвать собакой из боязни оскорбить собачий род».

В одной из тюрем она познакомилась с «беломорканаловкой» Наташей Успенской (*её любовника – одного из начальников строительства - «поминает Солженицын в "Архипелаге"» – М.К.; слова в кавычках принадлежат Хаве*). Наташа родила близнецов. За три дня до рождения третьего ребёнка (*уже после регистрации брака с Успенским. – М.К.*) «её взяли из отцовского дома, куда она приехала на лето, и, без предъявления какого-либо обвинения, посадили в тюрьму, где она родила своего Митю». Наташу, в конце концов, реабилитировали, но «при реабилитации оказалось, что, даже для видимости, никакого дела ей не потрудились слепить». После этого случая у Хавы не осталось никакой веры. Ещё бы! Такое не проделывали даже нацисты.

Затем произошёл инцидент, героем которого стала сама Хава. Однажды она отказалась выйти на работу. На вопрос начальника «почему?» ответила, что из-за отсутствия сапог. Но не удовлетворилась этим, добавила, что она не одна такая. «Ещё потому, что ваши нормы непосильны» – и для неё, и для других заключённых-доходяг. Начальник приказал отвести Хаву в карцер, но вместо карцера «нарядчик привёл меня в портняжную». Разумеется, по соглашению с начальником. И ещё одно «разумеется»: тут работа была куда легче, чем на «общих». Снова выиграло её человеческое достоинство: «Чувство невыносимого унижения охватило меня. От этого жеста презрительного снисхождения мне стало тошно». Ведь она привыкла

побеждать своих обидчиков. Приведу яркий пример. Когда её вызвали в очередной этап, она так же взбунтовалась из-за отказа энкавэдэшников назвать место, куда её везут. Ей отказали, и она объявила голодовку – всухую, без воды. «К вечеру четвёртого дня я, без задних ног, лежала в жару и прощалась с жизнью, но решила не сдаваться». На пятый день ей объявили, что она направляется в Котлас.

Опишу, с помощью Хавы, ещё одно злодеяние режима, которое она наблюдала. Многие зэки по утрам не могли подняться с нар, и «коменданты тащили их к вахте, как кули с картошкой, подталкивая пинками». Тем, кто «оставались лежать на земле кучкой грязных лохмотьев», предстояло следующее испытание: их привязывали к трелёвочным волокушам, которые тащила лошадь, «и по пням и кочкам волокли до тех пор, пока он или отдавал богу душу, или вставал на ноги. Большинство вставало». Хава не испытала этого «удовольствия», но стыдилась и ужасалась. Спросила начальника:

«– Как можно вот так с людьми? Они же больные. <...>

– У нас пока шестьдесят процентов больных. А скоро будет девяносто. Так что ж, трассу из-за этого закрывать? Цингу лежаньем не вылечишь».

А пинками и волокушей, выходит, вылечить можно? И Хава присоединилась к работающим на трассе. Начальник не возражал.

Надеюсь, что читатели обратили внимание: везде, где только могу, я подчёркиваю наличие у Хавы Володиной необычайной силы чувства человеческого достоинства. По её убеждению, это чувство и стремление сохранить его – суть главные атрибуты человека. Если их нет, и человекообразное существо готово без них обойтись, оно теряет право называться человеком.

Нередко, даже в самых, казалось бы, неподходящих обстоятельствах, Хава оказывалась победительницей в войне не на жизнь, а на смерть. Теперь приходится остановиться на том – одном из главнейших – эпизоде её лагерной жизни, когда она в конце концов проиграла схватку со своими безжалостными мучителями. Этой схватке посвящена глава «Ребёнок», попавшая в самый центр её сравнительного небольшого по объёму текста.

«Одного только не могли уничтожить селекционеры дьявола (*каково определение!* – М.К.): полового влечения. То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь запросто, как у бродячих кошек. Нет,

это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, "законная" любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной "вершиной любви" – рождением детей». Почему в данном случае эта «вершина» названа страшной, я думаю, понятно.

И далее: «Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на неё опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречён. Таких рук было протянуто немало, из них я выбрала не самую лучшую. *(Какое горькое признание! – М.К.)* А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой».

Но для выживания девочки в лагере было огромное количество преград, обрекающих маленького человека на быструю и мучительную смерть. Я не буду рассказывать тут, какие меры принимала мать Элеоноры, чтобы выпестовать и отстоять самую близкую её душе жизнь. Расскажу лишь о финале. «В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 года. Я не знаю, где её могилка. Меня не пустили за зону, чтобы я могла похоронить её собственными руками».

Хочу привести общие рассуждения Хавы Волович, предшествующие финалу. «Тоска маленьких детей сильнее и трагичнее тоски взрослого человека. Знание приходит к ребёнку раньше умения. Пока его потребности и желания угадывают любящие глаза и руки, он не сознаёт своей беспомощности. Но когда эти руки изменяют, отдают чужим, холодным и жестоким, – какой ужас охватывает его и как не хватает ему умения выразить этот ужас. Ребёнок не привыкает, не забывает, а только смиряется, и тогда в его сердечке поселяется тоска, ведущая к болезни и гибели».

Что касается большой главы «Лагерный театр», то в ней идёт речь далеко не только о театре. Волович пишет о быте «крепостных» артистов; о том, почему закрывали их театр (в нём сама Хава играла, режиссировала и консультировала менее опытных эков); о придуманном ею кукольном театре. Но, само собой разумеется, пишет Хава и о том, как угодила на лесоповал (не в первый раз), что, кстати, она предпочитала как более чистую и свободную работу, несмотря на то, что эта работа была физически трудной; о бойне на Мариинской пересылке между рецидивистами и власовцами («в этой бойне погибло около

трёхсот человек»); о страшных этапах политических зэков в 1951 году («прошёл слух, что все политические обречены на уничтожение»); о предполагаемом (но так и не состоявшемся) посещении лагеря Элеонорой Рузвельт, в связи с чем украшали картинками бараки, а «вшивые матрацы застилались днём белоснежными простынями».

По мнению Хавы, у краснофуражечной части правительства вызывала зависть система фашистских лагерей, «поэтому новые лагеря строились по типу фашистских. Был разработан и режим по тому же образцу».

Вспомнила Волович о ещё одной схватке, в которой победа осталась на её стороне – с банщицей (тоже, конечно, зэчкой). Такое впечатление, что эта банщица была лесбиянкой-коблом в том эпизоде, где она «пустила в ходы лапы». Реакция Хавы: «Я вдруг почувствовала в себе силу овчарки, короче говоря, озверела <...>, с собачьим рыком вцепилась ей в волосы, подтащила к печи, опоясанной железными рельсами, и стала колотить головой о железо. <...> Она никому не пожаловалась. Иначе меня могли бы задержать. Преступный мир уважает силу».

О надзирателях. Те «свой комсомольский долг видят в том, чтобы в течение скучного, отравленного мошкой дня придумать для зэков издевательство позабористей. <...> Даже из кары здешних мест – мошки – мальчишки устраивали забаву: запрещали отмахиваться». То были русские мальчишки. А конвоир-казах придумал нечто и вовсе ужасное: спровоцировал 19-летнюю девушку выйти за зону собрать дрова и сложить для него костёр (от мошки), а когда она вышла, её настиг выстрел в спину. Конвоира наградили, а девушка умерла.

В 1952 году на сцену вышел «еврейский вопрос». «Апофеозом недостойной травли евреев оказался процесс кремлёвских врачей». Зэков собрали в столовой на митинг – это уже год 1953-й, после выхода сообщения об аресте врачей-убийц. Еврейка-зэчка Войталовская, бывшая журналистка, выступила в поддержку «разоблачения» врачей-евреев: «Она вскочила с места и закричала, что самой её большой бедой в жизни было, что случайно гены, благодаря которым она существует, оказались еврейскими». В ответ Хава «поднялась, как лунатик, и как во сне заговорила: "Это фальшивка!.. Это очередная фальшивка! <...> И когда-нибудь те, кто затеял эту

постыдную шумиху, постараются стереть в памяти людей неудачную роль, сыгранную ими в бесталанном спектакле..."» Вот тоже своего рода театр, в близком будущем всё произошло в соответствии с её пророчеством. После смерти Сталина Войталовская покаялась первой.

Жизнь после освобождения. Прекрасная мудрость выжившей

В главе «Освобождение», завершающей её воспоминания, Хава Владимировна рассказывает о том месте, куда она попала на сбор живицы. Два абзаца посвящены этому короткому, но самому счастливому периоду её жизни. «Как хорошо было гулять, не чувствуя сзади солдата с ружьём <...>, каким вкусным казался хлеб, не выданный в хлеборезке». А чуть ниже: «Какое это было прекрасное время! Какие чудные весну и лето я провела в тайге!» И ещё немного дальше: «Удивительный народ – звери и птицы! Какая интуиция или инстинкт помогли им так быстро раскусить существо в рваных брюках, расхаживающее по лесу с длинной палкой». Сама палка не казалась им опасной, «а наоборот, достойной снисхождения». Такое снисхождение не затрагивало её чувства человеческого достоинства, не унижало её. Она трогательно простилась с тайгой и её обитателями, назвав «своими» косулю, косолапых мишек и семейство глухарей. Она «решила уехать на родину, чтобы там, как говорится, в родных стенах найти приют и хотя бы старую фотографию, которая бы воскресила в памяти дорогие лица. Не нашла я на родине ни стен, ни фотографий».

Вспоминая в последний раз «дни и годы мучений – какими они были длинными, томительными, безнадёжными», Хава приводит причину, из-за которой галопом проскакала через годы и опустила много событий, лежащих чёрным пятном на совести виновников (если таковая у них есть), – это боль и стыд за опозоренную родину. А они вовсе не чувствовали и не чувствуют себя опозоренными. «Мы создали великую державу! – кричат они».

Сама Волович полагает, что её рассказ «короток, сер и скучен. Нет в нём ярких красок. Это оттого, что всё прошлое в памяти окрашено в серый цвет». Но разве подходили к большому куску жизни, который она описала,

весёленькие цвета? Даже смешные случаи, в которых она была свидетелем или активным участником, на фоне всего прочего должны выглядеть серыми. Так они и выглядят, - не считая вольной работы в тайге.

В воспоминаниях Хавы Волович есть итоговые умозаключения, которыми она начала и заключила свою яркую и глубокую исповедь. В своего рода предисловии, включённом в первую главу, выступила она с общей концепцией любви к человечеству и к отдельному Человеку (с заглавной буквы пишет это слово сама Хава). С одной стороны, «я – не человеконенавистница. На земле есть много хороших людей, и я люблю их, знакомых и незнакомых, тех, с кем не страшно очутиться рядом – и на общих праздниках, и в общей беде». С другой стороны, она признаётся, что не любит ни праздников, ни шумных сборищ. «Потому что в большой толпе, среди множества мирных, весёлых трудно угадать, кто Человек, а кто притворяется Человеком. Кто сегодня чокается бокалом с другом, а завтра предаст его. <...> У кого и сейчас загораются глаза, и рот щерится в улыбке надежды, что "всё вернётся" при имени Сталина, названного по радио или телевидению в доброжелательном тоне. <...> Кто отнял у меня молодость и убил душу, которую не смогло убить моё голодное оборванное детство».

И ещё: «Люди заставили меня любить одиночество и заменить общение с ними любовью к животным, передаваемым на каждом шагу, но не способным на предательство».

Однако сам финал звучит иначе, с надеждой и болью. Той болью, которая не умирает в сердце после гибели любимой дочери. Что, между прочим, даёт Хаве Владимировне право (ужасное, преувеличенное бедной женщиной право) написать такие слова: «Как смирилась моя дочь, поняв, что мольбы её напрасны, и унесла в могилу обиду на свою мать, которая должна была защитить её от зла, но не защитила, так я смирилась с тем, что мои просьбы наталкивались на глухую, холодную стену». Эта стена по определению была непрошибаемой, Хава это знала и, в сущности, не могла винить себя в смерти Элеоноры. Потому что она, мать, – сложное существо, унаследовавшее от предков великий гуманизм, который с гневом обращается и на самоё себя, не сумевшую спасти свою девочку.

И вот последние слова этой потрясающей повести о жизни: «Когда-то давно, стоя у трупа девушки с вытатуированным на руке номером, которую, развлекаясь, убили охранники, я поклялась когда-нибудь рассказать об этом людям. Заканчивая свою повесть, я обращаюсь к далёкой тени той девушки и говорю:

– По мере своего умения – я выполнила эту клятву».

Давид Шехтер

**«Я даже представить себе не мог,
что на свете существуют белые евреи»**

Из книги воспоминаний "Записки довера Сохнута"

29 октября 2012 года в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет с 237 репатриантами из Эфиопии. Ничего нового в самом факте их прибытия не было – каждый месяц Еврейское агентство регулярными рейсами из Аддис-Абебы доставляло несколько сотен репатриантов. Но этот рейс был необычный - в самолете, полностью зафрахтованном Сохнутом, находились только репатрианты и небольшая группа представителей ведущих СМИ Израиля, сопровождавшая их от самого Гондара.

Ашер Сиум, тогдашний глава представительства Сохнута в Эфиопии, сказал мне: «Этот рейс знаменует собой начало последнего этапа репатриации евреев Эфиопии, получившего название «Канфей Йона (Крылья Ионы)». Собственно говоря, все евреи – «Бейта Исраэль» уже давно в Израиле. Сейчас мы вывозим остатки - тех, кто когда-то отошел от еврейства, но теперь желает вернуться в лоно своего народа. После того, как 11 ноября 2010 года правительство Израиля приняло решение завершить алию фалашмура и поручило это Сохнуту, репатриировались уже 4600 человек. До конца 2012 года их число достигнет пяти тысяч. Еще полторы тысячи имеющих право на репатриацию ожидают своей очереди. Кроме того, часть из 1900 человек, получивших отказ, подала апелляцию, и кое-кто все же получит разрешение. Кстати, проверку ведут сотрудники израильского МВД, и ведут очень тщательно. Таким образом, речь идет о еще максимум двух тысячах человек. Я приложу все усилия, чтобы в течение года отправить их в Израиль, спустить флаг над нашим лагерем в Гондаре, и тем самым поставить точку в эпопее возвращения эфиопских евреев на Родину».

Сиум выполнил свое обещание – через год лагерь Сохнута в Гондаре был закрыт. А потом открыт снова – для тысяч и тысяч внезапно обнаружившихся родственников тех, кого Сохнут уже доставил в Израиль. И все они тоже

жаждали совершить алию. С тех пор Сохнут по указанию правительства привез еще несколько тысяч человек, и сегодня, в середине 2021 года, этим постоянно обнаруживающимся родственникам конца и края не видно.

Что греха таить, в среде русскоговорящих израильтян отношение к эфиопским евреям нельзя назвать восторженным. Нередко мне приходится слышать заявления типа: «Зачем нужно везти сюда какое-то африканское племя?», или: «Может, когда-то они и были евреями, но было это давным-давно, и никакой связи с еврейством у них уже не осталось». Поэтому я позволю себе краткий экскурс в историю евреев Эфиопии.

Царица Савская вернулась из поездки в Иерусалим беременной от царя Соломона. Когда ее сын Менелик подрос, он тоже отправился в Иерусалим, где был тепло принят отцом. Соломон выделил для личной гвардии Менелика несколько сот отборных воинов. Они-то и стали родоначальниками еврейства Эфиопии. Община росла довольно быстро, и играла видную роль в политике и экономике страны. Поэтому после распада соломонова царства именно в Эфиопию бежали несколько тысяч евреев из колена Дана.

До IV века нашей эры евреи жили в Эфиопии спокойно. Но в 325 году местный царь принял христианство и велел креститься всем своим поданным. Евреи сменить веру отказались и подняли бунт. А чтобы физически отделиться от христиан, они переселились в восточные районы страны. Бунт и переселение достигли цели – на какое-то время евреев оставили в покое, а царь даже дал им имя «Бейта Израэль (Дом Израиля)». Но только на время. Попытки любыми способами крестить евреев продолжались.

В 960 году, когда положение стало уж вовсе нестерпимым, евреи вновь подняли вооруженный мятеж. Возглавила его некая Иегудит, которую в еврейских источниках именуют также Эстер-царица. Мятеж так преуспел, что «Бейта Израэль» получили не только религиозную, но и административную независимость, а Эстер-Иегудит превратилась в полновластную властительницу целого района. Восставшие убивали монахов и священников, жгли монастыри и церкви, и чуть было не искоренили христианство во всей Эфиопии. Мятеж привел к смене царской династии, и новые правители хорошо относились к тем, кому были обязаны своей властью. Но, как это уже не раз случалось в еврейской истории, довольно быстро

хорошее отношение сменилось ненавистью, и в 1270 году еврейская автономия была полностью и очень жестоко аннулирована.

С XIV по XVII век евреям Эфиопии пришлось выдержать несколько очень решительных попыток властей заставить их отказаться от религии предков. Царь Исхак Первый был последовательным «жидомором» и придумал евреям новое название – фалаши, что в переводе означает «лишенные права на землю». Тем самым он хотел подчеркнуть статус евреев, как граждан второго сорта. Это название прижилось, и с тех пор (с 1413 года) эфиопских евреев иначе и не называли. Прежним названием - «Бейта Исраэль» - продолжали называть себя исключительно сами евреи.

Веками «Бейта Исраэль» упорно сопротивлялись ассимиляции и крещению, но с середины XIX века в общине начало появляться все больше и больше тех, кто ради карьеры, привилегий, да и просто спокойной жизни стали принимать христианство. Они получили название фалашмура, то есть - ассимилированные фалаши. По-русски: выкресты.

После разрушения Израиля и ухода народа в изгнание связь с эфиопской общиной была надолго утрачена - уж слишком далеко находилась Эфиопия от основных районов еврейской диаспоры. Хочу напомнить, что еще даже в начале XX века попасть в Эфиопию было чрезвычайно сложно. Николай Гумилев, написавший замечательные стихи об Эфиопии, добирался вместе с российской этнографической экспедицией из Петербурга в Адисс-Абебу больше девяти месяцев.

Спорадические контакты все же существовали, о чем свидетельствует раввинское постановление Радбаза, одного из глав общины Египта в XVI веке. После опроса воинов фалашей, попавших в плен к египтянам, Радбаз указал, что они являются потомками колена Дана.

В двадцатые годы прошлого века главный раввин Эрец Исраэль Симха ха-Коеен Кук написал знаменитое письмо, в котором постановил, что евреи Эфиопии являются настоящими евреями. На основании этого письма главный раввин Израиля Овадьа Йосеф вынес в 1973 году галахическое постановление, содержащее аналогичное утверждение. На его основании правительство Израиля и приняло решение о репатриации членов общины. После операций «Моше и «Шломо» практически вся «Бейта

Израэль» оказалась в Израиле. И вот теперь дело дошло до фалашмуры.

«Да, они отошли от еврейства, - говорит Ашер Сиум, - Но сейчас они хотят вернуться. Так почему их надо отталкивать?»

Тем более что ушли они не очень-то и далеко. Отношение эфиопских христиан к фалашмуре очень напоминало отношение испанцев к марранам. Их не очень-то долюбливали, и считали пусть и христианами, но второго сорта. В свою семью истинные христиане фалашмуру не допускали, поэтому выкресты женились в основном между собой. Что этнически сохранило их евреями.

Репатриация фалашмура началась в 1993 году после решения израильского правительства разрешить им въезд на основании не Закона о Возвращении (не дающего права на репатриацию сменившим веру), а в качестве гуманитарной меры по воссоединению семей. До августа 2010-го таким образом в Израиль въехала 31 тысяча человек.

А число желавших попасть в Израиль возрастало. Побывав в Гондаре и посмотрев, как там живут люди, могу сказать - чтобы вырваться из этих несусветной нищеты и убогости, человек будет готов сделать все, что угодно. Дело осложнялось еще и тем, что лагерями, в которых фалашмура проверяли и готовили к репатриации, заправляли частные американские организации, которые были заинтересованы в том, чтобы эти лагеря просуществовали как можно дольше. Поэтому свое решение о завершении репатриации фалашмура правительство Израиля обусловило полным переходом и лагеря и всего процесса подготовки и алии под контроль Еврейского агентства.

Ашер Сиум прибыл в Гондар, в окрестностях которого проживает большая часть оставшихся в Эфиопии фалашмура, в январе 2011 года. О сам уроженец этих мест, в возрасте 13 лет вместе с семьей бежал в Судан и в 1984 году добрался до Израиля. Служил в боевых частях, имеет вторую академическую степень. Свободно говорит на иврите, английском. И немного – на русском. Азам языка его научили русскоязычные приятели, а чтобы лучше понять, что к чему, Ашер на три недели поехал в Москву, где знакомился с языком и культурой.

Ашер просто излучал положительную энергию, уверенность в себе, доброжелательность. За четыре дня

нашего пребывания в Эфиопии он практически не отходил от журналистов, стремясь показать и объяснить как можно больше. При том, что именно на нем лежала вся ответственность по организации вывоза 237 репатриантов. Телефон Ашера не замолкал, тем не менее, он умудрялся и с нами общаться, и решать все дела. У этого еще довольно молодого человека - прирожденные таланты менеджера, дипломата и политика. Поэтому вовсе не удивительно, что Ашер впоследствии дважды – пусть хоть и на короткое время – становился депутатом Кнессета.

Приехав в Гондар, Ашер изменил всю систему проверки и подготовки к алие. В предыдущие годы желавший репатрироваться приезжал в Гондар, подавал документы на проверку и оставался ждать ответа. Ожидание могло тянуться годами, что прежних руководителей лагеря вполне устраивало. Ведь кандидат вместе с семьей состояли на их довольствии, под которое собирали средства в Америке. Ашер все изменил - после подачи заявления кандидат возвращался к себе домой, где и ждал ответа. И только в том случае, если израильское МВД признавало его право на алию, он мог переехать в Гондар и приступить к подготовке.

Пришлось поменять и систему подготовки. Предыдущие руководители лагеря содержали 160 штатных сотрудников, получавших огромные зарплаты. Ашер сократил штат на 40 процентов, и самая высокая зарплата не превышала 350 долларов в месяц. Он уволил всех учителей иврита, которыми являлись... местные эфиопы, прошедшие трехнедельные курсы, и заменил их молодыми добровольцами из Израиля, желающими помочь, а не заработать. Я так подробно останавливаюсь на этих структурных изменениях потому, что они действуют в нынешнем лагере в Гондаре и сегодня.

Но самое главное, Ашер наладил ежемесячную раздачу тефа – злакового растения, из которого изготавливают инджеру - «эфиопский хлеб», базовый продукт рациона всех жителей страны. Семье, получившей разрешение на репатриацию, выдавалось 25 килограммов тефа в месяц на человека. Сто килограммов тефа стоили 75 долларов, а средняя зарплата в Эфиопии едва достигала 50 долларов. Но до нее в Гондаре дотягивали далеко не все. Получение тефа позволяло семье потенциального репатрианта достаточно сытно жить в Гондаре и спокойно готовиться к отъезду.

Мы попали на очередную раздачу тефа, и я видел, какой радостью светились глаза тех, кто выволакивал со двора офиса Сохнута тяжеленные мешки. Их содержимое тут же расфасовывали по небольшим мешочкам, которые уносили в разные стороны члены семьи. Делалось это и в целях удобства, и для того, чтобы не привлекать внимания. Эфиопские власти не препятствуют выезду, но и не хотят, чтобы он порождал для них какие-то неудобства. Поэтому в Сохнуте стремятся не вызывать недовольство местных жителей, которое иди еще знай, чем может кончиться и к каким далеко идущим последствиям привести.

Улучшенное питание резко сказалось на состоянии здоровья потенциальных олим. По статистике сотрудников медпункта Сохнута, число обращений в медпункт существенно сократилось. Странного в этом, конечно же, ничего нет – если человек не голодает, то он меньше болеет. Поэтому работа медперсонала ограничилась прививками, которые делали всем потенциальным олим, и проверкам их состояния здоровья.

Условия, в которых фалашмура ожидали репатриации, по нашим понятиям были просто ужасными. Ашер привез нас в семью, которая через день должна была вместе с группой олим отправиться в Израиль. В комнатке размером не более 10 квадратных метров проживали семь человек. Стены комнатки были слеплены из грязи, а крышей служил пластиковый тент. Окна, электричество, вода, туалет – отсутствовали. Еду готовили прямо перед входом, на костре, как, наверное, и сто, и двести, и триста лет назад. Правда – спасибо Сохнуту – лепешек из тефа было от пуза.

Когда я выразил Ашеру свое удивление по поводу того, как Сохнут позволяет людям жить в таких жутких условиях, тот усмехнулся: «Дорогой, это считается замечательными условиями. Ты не видел, что такое в понятиях Гондара – жить плохо. За такую комнатку семья платит целых 20 долларов – вот и посуди сам, хорошо это или плохо».

Европеец, впервые попавший в Гондар, испытывает культурный шок. В городе с населением в 250 тысяч человек асфальтированных дорог только две. Все остальные – это наезженные колеи или... просто земля в своем первозданном виде. Поэтому сотрудники Сохнута возили нас по Гондару, имеющему, кстати, свой университет и аэродром, на джипах. Другие машины здесь проехать не могут.

Такого понятия, как дорожные знаки, в Гондаре не существует. О светофорах здесь даже не слышали. Тротуаров как таковых нет - люди идут по улицам и уворачиваются от проносащихся машин. Не существует в городе и уличного освещения. С заходом солнца он погружается в полную тьму. Что не мешает толпам беззаботно фланировать по этим же улицам. Если убрать с них автомобили, то можно с уверенностью сказать, что вот так они выглядели и двести, и триста лет тому назад.

Фалашмуре приходится нелегко. Этим людям надо преодолеть не только различия в техническом развитии между Израилем и Эфиопией; им, главное, нужно вернуться к своему народу. И они прилагают для этого усилия. В Израиле они проходят длительный курс иврита, и подготовки к гиюру. Ведь их алия обусловлена именно принятием гиюра. Подготовка к нему начинается в Гондаре - все приходят три раза в день на молитву, учат ивритские слова, слушают лекции по еврейской истории и культуре. У пожилых, понятно, дело идет с трудом. Молодым легче - у многих ребят иврит достаточно беглый.

Потенциальных олим в Гондаре не пугают ни иранские угрозы, ни хамасовские ракеты. Все новые репатрианты, прибывшие спецрейсом, отправились в молодежную деревню Ибим, переоборудованную Сохнутом для их нужд. Деревня расположена неподалеку от Сдерота, то есть олим приехали прямо под ракетные обстрелы. В Гондаре я присутствовал на инструктаже, который главы семейств получили перед отъездом. Им объясняли, что такое сигнал ракетной тревоги, и как надо вести себя, услышав его.

«Моя работа — это изменение жизни тысяч людей к лучшему. И я очень рад, что мне выпала подобная удача. Такого удостоивается далеко не каждый, — сказал мне Ашер Сиум. - Нашей общине приходится очень нелегко. И в силу естественных факторов - слишком велика разница между Израилем и Эфиопией. И из-за порой не очень хорошего отношения. Но я уверен, что, в конце концов, все будет хорошо. То есть - уже хорошо, а будет еще лучше. Мы уже стали неотделимой частью Израиля, без которой никто его себе и помыслить не может. Мои «русские» друзья говорят, что для них понятие «черный еврей» сперва звучало каким-то нонсенсом. Вы думаете, я обижаюсь? Ничуть не бывало. До 13 лет я и представить себе не мог, что на свете существуют белые евреи!»

Владимир Ханан

Под пеплом

Деревня под Друскениками, в которую я ездил восемнадцать счастливых лет, до 41-го года была литовско-еврейской. Еврейскую половину населения смёл ветер войны – в описываемое время о её существовании свидетельствовали только фундамент маленькой синагоги, на котором рачительный хозяин-литовец поставил коровник, да кладбище, о котором я знал ещё до приезда по рассказам троюродной сестры (уже давно американки), когда-то учительствовавшей в этих местах.

Еврейское кладбище (рядом с костёлом было ещё католическое) находилось от деревни через холм, метрах в трёхстах от крайнего дома. Придя туда в первый раз, я даже не понял, что нахожусь на кладбище – пока не наткнулся на несколько наполовину ушедших в землю камней с полустёршимися еврейскими буквами. Контраст с еврейским кладбищем Ленинграда с его склепами и памятниками был разительный. Стоя между холмиками, в которых я не сразу признал могилы, я испытал странное чувство – какое, может быть, испытывает колючий комок перекаати-поля, вдруг, неожиданно ощутивший втекающие в него соки земли и, так же неожиданно для себя, протягивающий в неё тонкие благодарные корни.

Активность жилой части деревни, населённой, в основном, стариками, ненамного превышала кладбищенскую. В тишине и покое мне хорошо писалось, ночь я проводил, сидя над книгами и своими бумажками, а день, начинавшийся, к удивлению моей хозяйки Антоси, в два часа пополудни, проводил, шатаясь по округе, или собирал грибы в окрестных лесах. Деревенские жители – что в России, что в Литве – собирание грибов считают, как известно, за баловство, поэтому конкурентов у меня было мало, к тому же дело происходило в южной Литве, чьи обширные леса славились обилием грибов, а в послевоенное – аж до середины 50-х – время ещё и обилием «лесных братьев». Советской исторической наукой трактуемых однозначно как бандиты, а современной литовской – как борцы с советской оккупацией.

В лес я уходил часа в три, напившись вкуснейшего в мире чая из родниковой воды, и уже через пару-тройку часов возвращался с полной корзиной. Поскольку я приезжал обычно осенью, то и грибы были поздними: рыжики, очень популярные у местных зелёнки, и лисички, которых было особенно много. К слову сказать, лисички у литовцев зовутся белочками – «воверайтис», а один человек в Ленинграде вообще называл их еврейскими грибами, потому что «они не бывают червивыми». До сих пор не понимаю, анти- или филосемитский смысл вкладывал он в свои слова. Ну, да Бог с ним.

Идя в сторону реки – один из постоянных моих маршрутов, - я проходил мимо дома, когда-то еврейского, а ныне принадлежащего поне Юзе, пожилой бабе со склочным, по всеобщему деревенскому мнению, характером. Иногда я видел её мужа – хмурого молчаливого старика. За все восемнадцать лет мы с ним перекинулись едва ли сотней слов, да и те были моими «лабас ритас», «лаба дена» и «лабас вакарас», соответственно «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер», в ответ на которые он молча кивал, не прекращая своего занятия, или, если встреча происходила на дороге, кивал и продолжал свой путь.

Как однажды выяснилось, хмурый муж стервозной Юзе не всегда был молчуном, был момент, когда он очень даже разговорился – зимним вечером то ли 46-го, то ли 47-го года, когда в его дом заглянул советский – «русский» в произношении моей хозяйки – военный патруль. Отдохнуть и перекусить, чем пошлёт Бог и отнюдь не всегда гостеприимные хозяева. Наш оказался гостеприимным: вволю накормил, не пожалев самогонки, а когда гости благодушно уснули, быстро смотался в лес и вернулся с группой «лесных братьев», которые – не без участия хозяина – порубали спящих гостей топором, а тела спустили под лёд в Нямунас (Неман). «Пусть пан расскажет это кому следует в Вильне! Пусть пан всё расскажет!» - так закончила вышеприведённый рассказ горбатая старуха Она, жившая по другую сторону от моего дома, давняя врагиня Юзе.

О незакрытых счётах и незабытых обидах в литовских деревнях я знал по рассказам своих вильнюсских знакомых – и литовцев, и нелитовцев. То, что в России уже давно стало историей, в Литве ещё не успело покрыться пылью времён, разве что тонким слоем пепла, под

которым тлели, да ещё как, незатушенные угли. «Если тут, в Литве, случится какая заваруха, - не раз говорил мне за бутылкой «дягтине» - литовской водки – сосед Юлюс, - никаких русских не понадобится: литовцы сами друг друга перережут».

Обдумывая то, что поведала горбатая Она, я вспомнил фильм, пересказанный мне вильнюсской знакомой. Фильм литовской студии, шедший только местным экраном, даже, кажется, не дублированный на русский язык. Содержание его таково. Парнишка из деревни, к концу войны лет тринадцати-четырнадцати, окончив школу, едет в Вильнюс (или Каунас), там поступает на юридический, оканчивает его и через какое-то время становится прокурором, причём, немалой величины. И вот однажды он едет в свою родную деревню, чтобы серьёзно и окончательно разобраться в ворохе накопившихся за военное и послевоенное время противоречий – восстановить, одним словом, человеческую и, так надо понимать, историческую справедливость. Приехав в деревню, он энергично принимается за дело и неожиданно для себя вскрывает такой туго закрученный узел взаимных обид, претензий и ненавистей, что деревню начинает буквально трясти от вовсе, как оказалось, не забытых страстей. Расследование словно прорывает плотину и начинается разгул стихии: кто-то кого-то убивает, кто-то кончает жизнь самоубийством. Фильм заканчивается кадрами, когда наш прокурор возвращается в город на арендованной по случаю крестьянской телеге – с нереализованными намерениями, вдребезги разбитым сердцем и основательно оплётанным чувством ещё недавно неколебимой правоты.

В Вильнюсе я, разумеется, никуда не пошёл: дорога была одна – в КГБ, а с этой организацией я знаться не хотел. Литовские междоусобицы вызывали у меня житейский и литературный интерес, их политическая составляющая меня волновала мало. Помимо всего, к тому времени передо мной уже начинало плескаться другое море, а над головой гореть другие костры. Мало-помалу я начинал различать ноты новых мелодий, которые по-настоящему услышу и пойму значительно позже и в совсем других местах.

А пока что я бродил по окрестностям, радуясь осеннему разноцветью, читал взятого в библиотеке Вергилия и

писал стихи, запивая всё это волшебным напитком из источника, которого больше нет.

Вверх по лестнице, ведущей на подоконник

Эти две фотографии на газетной странице сразу обращали на себя внимание. Симпатичная девушка и пожилая женщина запущенного, мягко говоря, вида, объединённые явным, хотя и не бросающимся в глаза, сходством. Подметив его, я заинтересовался текстом. Статья была об известном русском писателе, сравнительно недавно умершим и ныне – дружными усилиями «соратников» и друзей – превращаемом в икону.

С этим писателем, действительно очень талантливым, я был недолгое время знаком. Когда-то мы жили в одном городе, даже недалеко друг от друга, хотя познакомились на другом конце земли. Рассказ был не столько о нём, сколько об его окружении, друзьях и знакомых, в данном случае, о женщине, изображённой на снимках. Прочитав ещё несколько строк, я понял, что тоже её знал. Знал, впрочем, мало, даже можно сказать, не знал, а разве что был представлен, и виделся с ней всего несколько раз. Это всегда бывало на днях рождения моих приятелей – ленинградских «левых», как тогда говорилось, художников – неформалов.

На дни рождения она приходила с мужем, директором крупного, а если точнее, крупнейшего ленинградского музея. Его интерес к художникам был, таким образом, частью его профессии, он свёл знакомство со многими из них и даже покупал, вернее, его музей покупал у них картины. На самом деле всё было не так просто. Мои друзья-художники, из которых кое-кто приобрёл ныне международную известность, в то время властями воспринимались в лучшем случае как бездарные мазилы, а в худшем, более типичном, как враги народа и строящегося этим народом социализма. Директор музея, покупающий работы художников такого рода, проявлял, помимо художественного вкуса, и незаурядное мужество, ибо серьёзнейшим образом рисковал своей непыльной, хорошо оплачиваемой и более чем престижной должностью. Само его присутствие в этом кресле было, разумеется, недоразумением, которое вскоре было

исправлено: из музея его попросили. Это был, несомненно, порядочный человек, а если учесть, что он был к тому же очень хорош собой, то у любого прозорливца – случись таковой в нашей компании - были бы все основания для вердикта: «не жилец!». И действительно, он умер скоропостижно – молодым.

С женой они составляли красивую пару. Ирина была роскошной женщиной с роскошной (а не красивой, пышной или что-нибудь в этом роде) грудью, роскошными плечами, я уверен, что все остальные части её тела, которые было позволено видеть и осязать не слишком малочисленным, как кажется, счастливым, были также, несомненно, роскошны. Пол – вот что было в ней главное. Следовало бы даже сказать – мощь пола. Это была женщина-крепость, но крепость, не сдававшаяся на милость победителя, а милостиво позволявшая себя завоевать, оставаясь при этом – что ни у кого из окружающих не вызывало сомнения – истинным победителем. Её муж был, как я уже говорил, красив и интеллигентен. И вот это «и интеллигентен», как и любое другое дополнение через «и»: «красив и мужествен», «красив и благороден», «красив и что угодно ещё...» делало разницу между ними существенной. Он был «что-то и что-то», она была вся – одно. Его внешняя красавица, как, впрочем, и все остальные характеристики, оставались его личными обстоятельствами, тогда как её роскошность являлась обстоятельством – не побоюсь этого слова – ОБЩЕСТВЕННЫМ. «Res, - так сказать, - publika» – да простят мне читатели подобную вольность!

После смерти её мужа – а мысль о том, что её измены эту смерть приблизили, бывала назойливой – я не раз думал, что ему, как **НОМИНАЛЬНОМУ** правителю этой республики, следовало бы относиться к ней, как, скажем, к статуе Кановы, мимо которой он регулярно проходил, инспектируя своё хозяйство, да и притяжательным местоимением «моя» в тот же адрес надлежало пользоваться лишь в таком, **АДМИНИСТРАТИВНОМ** по внутреннему содержанию, смысле. Предполагаю, что чего-то в этом роде он не мог не понимать.

Художники, на днях рождения которых я встречал эту пару, писали в разной манере. Группа была пёстрой по составу – и национальному (русские, еврей, армянин, украинец), и возрастному – и объединялась по каким-то иным, не эстетическим, признакам. Остряки (в компании

считали: завистники) из коллег называли их «ГРУППА ДОЛЛАР» за умение находить и устанавливать связи с дипломатами и корреспондентами западных стран, среди которых их картины пользовались успехом и спросом. Однако, время шло, маразм крепчал, застой расползлся (можно и наоборот: застой крепчал, маразм расползлся), всё вокруг затягивало плесенью, эйфория молодости, дружб и объединений куда-то отступала, все рассаживались по своим конурам, кто-то уходил в бизнес (живописный в том числе), некоторые уезжали. В общем, последние десять лет героиню моего рассказа я не встречал. Статья в израильской газете заставила меня о ней вспомнить.

В те два-три года, когда мне случалось видеть Ирину, ей было где-то под сорок. На одном из газетных снимков ей двадцать с небольшим. Довольно симпатичная (однако, ничего особенного) молодая женщина и короткой стрижкой и смелым, как бы нечто обещающим, взглядом, - мало, к слову сказать, похожая на ту красотку, которую я знал. Её взгляд обещал определённо, пожалуй, только одно: эта женщина будет жить так, как захочет она сама, её судьбой никто другой распорядиться не будет. Со второй фотографии, сделанной недавно, месяц-два назад, на нас смотрит почти старуха в затёрханной, пятого срока свежести, шубе, с явно не вчера (и не позавчера) мытой головой, и лицом, специфические морщины и улыбка которого недвусмысленно свидетельствуют об отсутствии сколько-нибудь комфортабельного жилья и слабости к алкоголю. Короче говоря, тип ленинградской (теперь петербургской), ещё окончательно не опустившейся, бомжихи. Вот так. Конечно, я испытал что-то вроде шока. «Боже мой! – подумал я самыми банальными на свете словами, - Что жизнь делает с людьми!», хотя немалый опыт прожившего человека рекомендует эту горькую эмоцию формулировать прямо противоположным образом: «Что люди делают со своей жизнью!»

Думаю, что именно этой реакции ожидал, даже можно сказать – вызывал – автор статьи, поместив рядом две эти фотографии. Я продолжал всматриваться. Первый снимок был сделан за много лет до нашего знакомства, второй – через много лет после нашей последней встречи. Таким образом, в каком-то смысле я оказался как бы связующим звеном между ними – и, может быть, поэтому сумел кое-что понять. Нет, не вышел у автора статьи контраст,

который был им задуман. Вопреки его (так я предполагаю) воле изображения героини не спорят между собой, не противостоят друг другу. На обоих снимках ясно виден один психологический тип, один характер. И даже клюке в руке у старухи, долженствующей символизировать как бы неотменяемость, окончательность падения, её роль явно не удаётся.

Нашу героиню автор нашёл у ограды Владимирского собора, где она, в ряду ей подобных, продавала с ящика, служившего прилавком, какие-то никому не нужные, Бог знает где подобранные, вещи. Дальше следовал набор – в случае мужского варианта мы сказали бы «джентльменский» – типичных бомжовских приёмов: просьба покормить (два дня не ела), купить сигарет, «одолжить», естественно, без отдачи, необременительную для автора сумму. В процессе кормления автор узнаёт о нынешних обстоятельствах собеседницы: выгнанная из собственной квартиры сыном, она ночует на подоконнике в чужом доме, где её обижают отвязанные подростки и иногда подкармливают горячим сердобольные жильцы. И уже после этого разговор переходит к главному, незримо присутствующему, герою – покойному писателю. Во время чтения я испытывал разные, не интересные читателю, чувства. Могу только сказать, что среди них не было ни отвращения, ни – и это более странно – жалости. Довольно быстро я сообразил, в чём дело: оно было в тоне героини очерка, точнее, в его внутреннем наполнении. В просьбах: накормить, сигареты, деньги – не было униженности, в рассказе о квартире и подоконнике – не было жалости к себе, а, стало быть, и желания вызвать её у других. Не менее интересно и то, как она рассказывала о своих отношениях с писателем. Вот уж где развернулись бы (и, знаю, разворачиваются) девять из десяти мужиков, особенно, в сходном с её положении: «Эх, бывало, мы с Серёгой!.. А потом он – вон куда, а я – эх...» и тому подобное. Ирина рассказывала о нём, как о равном, причём, равном не только тогда, но и сейчас. Я не знаю, как её собеседнику, но мне было понятно, что она вовсе не считает, что разошедшиеся их дороги пошли – его вверх, а её вниз, нет: они пошли в разные, верно, но равноценные стороны. Такое отношение к жизни невозможно подделать, как невозможно подделывать настоящий аристократизм. В общем, из контекста беседы читателю становится понятно, что, каким бы ни выглядело положение нашей героини в

чужих глазах, ею оно осознано и принято. А вот уж каким образом эта немолодая и, наверняка, больная женщина ухитрилась в подобных условиях сохранить настоящее, непоказное достоинство – да ещё в стране, где его днём с огнём не сыщешь и у самых благополучных её соотечественников – её личная тайна.

Как ни странно, я без труда представляю себе её, бывшую повелительницу и королеву, у ограды Владимирского собора на Петроградской стороне, торгующей каким-то, найденным на помойках, барахлом, стоящую за ящиком-прилавком, опираясь на самодельную клюку. Так же, без труда, я могу представить себе принца из новорусской сказки, пленившегося ею – и вот уже бережно усаживающего предмет своей любви в шикарный «мерседес», чтобы навсегда увезти в свой новорусский – за тридевять земель – замок.

В конце концов, я и сам, если накоплю достаточно денег, а она дождётся меня у соборной ограды, уведу её от её паскудного прилавка (скупив оптом весь «товар»), приглашу в какое-нибудь приличное кафе, подходящее моим капиталам и её гардеробу, накормлю, напою, куплю сигарет и подарю скромную, однако, не пустяшную сумму. Я объясню ей, что это не милостыня, а знак благодарности за то, что она напомнила мне об очень важной вещи: что достоинство человек должен сохранять в любых обстоятельствах. И, хотя я знаю об этом давно, каждое напоминание в моих глазах многого стоит.

Я смотрю на две фотографии на газетной полосе - и мне кажется, что я слышу или, может быть, угадываю их диалог.

«Представь себе, - говорит молодая женщина своей визави, - у меня нет к тебе никаких претензий. Даже за эти морщины, эту шубу, я помню её только что купленной... и эту клюку. Конечно, я пока ещё мало понимаю в жизни, но мне кажется, что во мне есть серьёзная готовность принять любой, в том числе и этот, вариант судьбы. Потому что жизнь и проще и сложнее, чем мы думаем в молодости...»

«Вот и ладушки, - отвечает вторая, - нам ли с тобой считаться: ни ты меня, ни я тебя на самом деле ни в чём не обманули... Так что у меня к тебе претензий тоже нет – ни за то, как ты жила, ни за то, где я оказалась. Жизнь – она ведь важна вся, целиком... Поэтому я не считаю нашу

с тобой неудавшейся. А уж когда я перед сном выпиваю свою «маленькую», тогда и вовсе...»

Когда-то у Германа Гессе я прочитал и выписал к себе в тетрадку мысль, что человек постигает жизнь одним из двух способов: праведник – идя путём праведности, а грешник – идя путём греха. Главное для человека – говорит писатель – не праведность, а чёткое осознание того, какой из этих путей твой, чтобы идти именно им, не путая его с другими.

Точно слов я не помню, но смысл тот.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Денис Соболев

Русско-израильская литература как «региональная онтология»

Мне бы хотелось сказать несколько слов в продолжение статьи Романа Кацмана, опубликованной в предыдущем номере «Артикля». Речь идет о проблеме “русско-израильской литературы”, проблеме, поставленной Кацманом в сравнительно общей форме. Однако это продолжение не будет ни попыткой развить мысли Кацмана; – как мне кажется, эти мысли были представлены им очень убедительным, достаточно детализированным образом – ни попыткой с ними спорить. Поэтому я хочу хотя бы попытаться взглянуть на тот же самый вопрос с несколько иной стороны и предложить относительно цельное решение нескольких десятилетиями возникавших апорий, касающихся этого вопроса.

Проблемность и проблематичность вопроса о русско-израильской литературе хорошо известна. Она многократно обсуждалась в прошлом, и, как кажется, на каком-то этапе была признана, по крайней мере, при постановке этого вопроса в общей форме, практически неразрешимой никаким способом, который бы позволил сформировать вокруг того или иного решения хотя бы относительный литературный или научный консенсус. Много лет назад об этом вопросе приходилось писать и мне; говоря об этом честно, решение, предложенное мною тогда, не очень нравилось и мне самому; оно казалось мне скорее лучшим из возможных, лучшим и более убедительным по сравнению с предложенными до того времени, но не исчерпывающим вопрос. Книги Кацмана стали чрезвычайно существенным прорывом в понимании этого явления во всей его сложности. К проделанной им гигантской работе я

могу лишь добавить некоторые соображения, лежащие в несколько иной плоскости.

Возникающие вопросы также хорошо известны, хотя, как кажется, они никогда не суммировались систематическим образом. Но и в этой заметке их систематическое исчерпывающее перечисление кажется мне излишним и неуместным. Некоторые из них, тем не менее, важны для прояснения сказанного ниже. Первый из этих вопросов касается самого термина. Как это ни странно, десятилетиями спор о термине, ни объем, ни границы использования которого не удавалось определить, первым делом упирался в обсуждение иерархии включенных в него понятий. Так, некоторые настаивали на том, что первым должен упоминаться язык написания, то есть русский, другие - гражданство или внутренняя эмоциональная принадлежность авторов, то есть в большинстве случаев Израиль, были те, кто настаивал на использовании понятия "израильская литература на русском языке". Вероятно, этот спор является наименее содержательным, хотя, пожалуй, и наиболее распространенным, поскольку обсуждение иерархии составляющих объекта, определить который не удастся, по крайней мере, на первый взгляд, кажется занятием, не только крайне идеологизированным, но и в практической плоскости совершенно бесполезным. В дальнейшем, оставаясь в русле наиболее распространенного на сегодняшний день словоупотребления, в этой заметке весь текстуальный корпус, о котором идет речь, будет называться «русско-израильской литературой». Если же в будущем тем или иным исследователям или писателям захочется заново открыть вопрос об этой иерархии, так сказать, терминологического первородства, они всегда смогут это сделать, в том случае, разумеется, если более существенные вопросы, связанные с этим понятием и явлением, к тому моменту будут разрешены.

Наиболее разумным решением всей совокупности таксономических вопросов, касающихся русско-израильской литературы в ее неожиданном единстве и не менее неожиданном разнообразии, мне представляется обращение к принципиально переосмысленному понятию "региональной онтологии". На протяжении сравнительно долгого времени я пользовался этим понятием в лекциях, докладах и сообщениях, так или иначе связанных с русской израильской литературой. Но в повседневной речи это

понятие кажется не только не вполне понятным, но и звучит сравнительно громоздко. Более того, я постепенно обнаружил, что и научная аудитория не всегда точно понимала смысл, который я в это понятие вкладывал. Мне бы хотелось попытаться объяснить его в самых простых словах и сказать несколько слов о его теоретических следствиях. На самом деле, этот смысл сравнительно прост, хотя и не лишен некоторых тонкостей и деталей, заслуживающих более ясного прояснения, а само понятие «региональной онтологии» в контексте осмысления русско-израильской литературы позволяет не только прояснить целый ряд вопросов, но и избежать множества псевдопроблем.

Более общая история понятия «региональной онтологии» не столь уж важна, поскольку, в любом случае, его продуктивное и внутренне последовательное использование по отношению к русско-израильской литературе требует не только его продумывания заново, но и сравнительно радикального переосмысления. В этом смысле об истории понятия достаточно сказать несколько слов. Понятие «региональная онтология» восходит к классической феноменологии еще времен Гуссерля, и обычно означает представленную человеческим сознанием группу взаимно соотнесенных предметов в их данности сознанию, в их бытии, обращенном к сознанию индивидуума. «Регион» при этом обычно интерпретируется в строго в метафорическом смысле и означает сравнительно цельную группу связанных объектов окружающего мира в их сонаправленной обращенности к человеческому сознанию. В этом смысле, например, предельно упрощая это понятие, можно сказать, что для сознания современного человека все, относящееся к производству, потреблению и эксплуатации автомобилей, является сравнительной единой региональной онтологией.

Далеко отступая от этого определения, в дальнейшем я буду понимать слово «регион» в его буквальном смысле, не теряя при этом и метафорического значения. Речь пойдет о вполне конкретном регионе в пространстве-времени, в его единстве разнообразия, динамике, сложных процессах как преемственности, так изменчивости.

Слово «онтология» в данном случае не менее важно. Для того, чтобы было возможным описывать тот или иной

пространственно-временной регион именно в качестве региональной онтологии, он должен быть наделен определенными и достаточно выраженными чертами сходства в его бытийствовании для индивидуума в самых разных его проявлениях. Применительно к вопросу русско-израильской литературы это означает не только то, что она существует в сравнительно ограниченных рамках пространства и времени, в Палестине и впоследствии в Государстве Израиль, в период, прошедший с начала XX века, но и то, что она предполагает сравнительно выраженные сходства существования индивидуумов в этом пространственно-временном «регионе». В числе наиболее очевидных сходств было бы разумным упомянуть двойную культурную принадлежность, как русскую, так и еврейскую, как российскую в широком смысле Российской империи и наследовавших ей государств, так израильскую в широком смысле как государственного, так и догосударственного периодов. Другим очевидным пунктом является, как кажется, та или иная форма соотнесенности с сионистским проектом в той или иной форме его реализации. Важно подчеркнуть, что при этом отношение того или иного автора к сионистскому проекту как таковому, или та или иная форма его понимания, при наличии понимания, хотя бы минимально адекватного историческим реалиям, не является столь уж важной. Автор может быть как сторонником, например, очень ранней и, так сказать, минималистской интерпретации сионистского проекта как создания еврейского культурного центра в Палестине, так и мечтать о создании в Израиле теократического государства с центром в Третьем Храме, в которое добровольно или силой будут собраны евреи всего мира. Уже подчеркнутый акцент на онтологии, иными словами, сходство определенных существенных черт бытийствования в том или ином регионе пространства-времени, позволяет исключить идеологические споры, и уж тем более идеологические фантазии, из обсуждения определения понятия русско-израильской литературы. Аналогичным образом, те или иные авторы могут считать себя израильскими писателями, вынужденно пишущими на русском, русскими писателями, проживающими в Израиле, возможно, временно, писателями, существующими или работающими на стыке двух культур или даже на границе между двумя формами государственности. Во всех этих случаях для определения принадлежности к феномену

русско-израильской литературы акцент на схожих формах двухкультурного бытийствования в том или ином регионе пространства-времени превращает идеологическое самосознание отдельного автора в фактор, имеющий лишь второстепенное значение.

Переходя из плоскости изложенных выше сравнительно абстрактных соображений в плоскость конкретики фактического литературного процесса как в его внутренней реальности, так и контекстуальных социо-исторических связях, я бы хотел привести еще несколько примеров того, каким образом это сравнительно простое понимание позволяет разрешить несколько апорий, часто казавшихся неразрешимыми. Как уже говорилось, одной из таких характеристик русско-израильской литературы как региональной онтологии, являются не только временные и географические рамки, с которыми они соотносены, но и соотношение с сионистским проектом в той или иной форме его представления или реализации. Это позволяет исключить из поля рассмотрения большой и чрезвычайно интересный пласт русской литературы, посвященной либо Палестине воображаемой, либо путешествиям в Палестину реальную. Этот вывод не так очевиден, каким он может показаться. На первый взгляд, писавший про Палестину русский поэт, живущий в поместье под Тверью, неизбежно имел дело с вымышленным объектом, в отличие от русско-израильского писателя, описывавшего объект действительный. На практике все обстояло более сложным образом. С одной стороны, многие русскоязычные писатели, часто владевшие лишь базисным английским, простым разговорным ивритом, и не знавшие арабского, черпали сведения о происходящем из передовиц русскоязычных газет, по степени достоверности, возможно, не всегда превосходивших источники, которым пользовался Булгаков при написании «Мастера и Маргариты». С другой стороны, внимательные христианские путешественники по Палестине часто замечали детали столь интересные, что эти детали представляют ценность и сегодня. Тем не менее, эта литература практически никогда не фокусировалась на каких бы то ни было аспектах сионистского проекта ни в его положительных, ни в его отрицательных формах. И, соответственно, она должна остаться за рамками обсуждаемого понятия.

Симметричная, хотя и противонаправленная проблема связана с повторяющимися вопросами, касающимися места

написания тех или иных книг. Простейшим из этих вопросов является вопрос о том, можно ли считать русско-израильской литературой литературу, написанную до официального создания государства Израиля. Хорошо известно, что официальному провозглашению Израиля предшествовали сравнительно сложные и многоплановые социокультурные процессы, уходившие еще в конец XIX века. При написании и преподавании истории ивритской литературы об этом факте обычно хорошо помнят. Действительно, едва ли кому придет в голову говорить о двух Агнонах: палестинском писателе Агноне до 1948 года и израильском писателе Агноне после 1948 года. Аналогичным образом, при изучении ивритской литературы принято говорить о “новой ивритской литературе”. В этом смысле нет ничего удивительного в том, что попытка разделения русско-израильской литературы, как региональной онтологии, на две части в зависимости от того или иного политического события, сколько бы значимым оно ни было, противоречит самой онтологической обращенности этого понятия. Говоря проще, сам факт глубинной бытийственной обращенности к двум культурам, хотя, возможно, и в очень разных их проявлениях, не изменился после провозглашения независимости Израиля.

Более сложный, но столь же часто повторяемый вопрос касается места написания тех или иных книг. Но и в этом случае тоже, при понимании русско-израильской литературы, как региональной онтологии, вопрос о том, написана ли та или иная книга в Иерусалиме, Тель-Авиве, Одессе или Берлине, очевидным образом теряет свою остроту. Если в той или иной книге происходит встреча двух культур, русской и еврейской, а точнее - двух цивилизаций в экзистенциальном или мыслительном контекстах концептуализации и реализации сионистского проекта, эта книга относится к русско-израильской литературе.

Еще один вопрос, десятилетиями служащий камнем преткновения в подобных обсуждениях и спорах, связан с отсутствием очевидной преемственности между большинством поколений русско-израильской литературы, а часто и с тем достаточно печальным фактом, что русско-израильские писатели даже одного поколения далеко не всегда читают друг друга или просто знают о существовании друг друга. Как кажется, эта ситуация начала радикально меняться в конце нулевых, однако ее

нельзя не принимать во внимание, говоря о более ранних периодах. Эта ситуация порождает очевидный вопрос: правомочно ли говорить о единой литературе в каком бы то ни было научно оправданном смысле в ситуации, при которой влияние одного литературного поколения на следующее, если и существовало вообще, то оказывалось сравнительно второстепенным; а во многих случаях написанное предыдущим поколением вызывало у следующего, в основном, скуку или даже отторжение. Так, например, одним из центральных нарративов русско-израильской литературы семидесятых был миф об обретении еврейской идентичности в борьбе за выезд из Советского Союза, и о ее реализации на новой «истинной» родине. И если в том, что касается оценочной стороны, отношение к этому мифу со стороны авторов девяностых было очень разным, от восхищения героизмом прошлого до холодного высмеивания, то в том, что касается текстуальных влияний, ситуация гораздо более однозначна. Почти ни в одном из текстов, прозаических или поэтических, созданных авторами девяностых или нулевых, этот миф уже не играет существенной роли.

Но ничего драматичного в этом нет. Во-первых, литературоведы хорошо знают, что подобным образом, хотя не в таких радикальных формах, устроен почти любой литературный процесс. Почти каждая следующая эпоха, направление или литературное поколение определяют себя жестом радикального отрицания достижений своих предшественников. Но главное все же не в этом. Если бы критерием существования или несуществования русско-израильской литературы был бы вопрос влияния, степени знакомства или читательской реакции, эти вопросы все же оказались бы существенными. Но если центральным вопросом понимания русско-израильской литературы как явления, оказывается именно вопрос формы ее бытия в определенном пространственно-временном регионе, то вопрос о взаимном чтении или нечтении, влиянии или невлиянии, знакомстве или незнакомстве оказывается не столь уж важным, - по крайней мере, ничуть не более важным, чем те вопросы и сомнения, которые были перечислены выше. Более того, даже язык написания не кажется критерием столь уж решающим.

В этом смысле, если в книгах того или иного автора происходит бытийственная встреча русского и палестино-израильского культурного субстрата, прямо или косвенно

связанного с двадцатым или двадцать первым веком, какими бы ни были составляющие этой встречи, каким бы ни было ее описание и представление о ее ценности, кем бы ни считали себя те или иные авторы, какие цели эти авторы перед собой ни ставили, какими бы ни были их религиозные убеждения или политические позиции, на каком бы языке ни были написаны их тексты, речь идет о русской-израильской литературе в ее самых разных аспектах, возможностях, проявлениях и реализациях, в самых разных и разнообразных формах ее существования. Более того, в этом утверждении, вероятно, кроется вполне очевидный, но очень значимый парадокс. Если бы русско-израильскую литературу можно было определить на основе единой картины мира, цельности идеологического высказывания или стилистической однородности, как традиционной, так и авангардной, вероятно, научно оправданным образом речь могла бы идти только еще об одном литературном направлении. И, наоборот, чрезвычайная разнородность русско-израильской литературы, тем не менее, укорененной в похожих онтологических реалиях, обладающих выражено общими чертами, позволяет говорить именно о литературе в полноценном смысле, во всем ее разнообразии и противоречивости. Огромный и лишь частично отрефлексированный корпус литературных текстов, написанных в Израиле по-русски, укорененных в той региональной онтологии, о которой шла речь в этой заметке, являющихся неотъемлемой частью этой онтологии и ее артикулирующих, делает продолжение общего разговора о русско-израильской литературе как культурном явлении, не только возможным, но и необходимым, и даже неизбежным.

От редакции

Казалось бы, совсем недавно вышли первые выпуски печатного «Артикля», а теперь вы держите в руках или читаете в сети восемнадцатый номер. Журнал – это нечто большее, чем просто сборник произведений разных авторов под единой обложкой. Литературный журнал – это духовное писательское сообщество, неформальное и открытое, но от этого не менее подлинное. Литературный журнал – это и его читательская аудитория, и его подписчики, и его репутация, и его традиции. И потому можно сказать, что «Артикль» состоялся.

Редакция обращается со словами признательности и благодарности ко всем друзьям журнала. Ко всем, кто опубликовал на страницах «Артикля» свои произведения, и к тем, кто прислал материалы для журнала, пусть пока не нашедшие места на его страницах. Ко всем нашим подписчикам; ко всем, кто приобрёл «Артикль» в розничной продаже, и к тем, кто только собирается подписаться на журнал, а до тех пор знакомится с ним в Интернете. Ваши таланты, ваши отклики, ваша помощь, ваше внимание очень нужны «Артиклю». Чтобы выжить в современном литературном мире, журнал может рассчитывать только на вас, и нам не на кого больше опереться.

На редакционную почту поступает множество рукописей. Мы приветствуем всех талантливых авторов, но должны сделать два предупреждения. Не следует присылать нам материалы, уже нашедшие себе место на страницах других общедоступных печатных или сетевых изданий. И не нужно присылать тексты с персональными упоминаниями высших должностных лиц России, а тем более с приписываемыми им по воле

автора разнообразными действиями, которых обычные люди в быту не совершают.

Мы стараемся внимательно и бережно относиться ко всем предоставляемым для журнала материалам. Соображения, по которым тот или иной текст попадает на журнальные страницы или надолго остаётся ожидать своей очереди в редакционном портфеле, не всегда могут быть доведены до авторов, - как и принято в любом литературном журнале мира. Редакция не имеет возможности вступать в личную переписку со всеми уважаемыми авторами; пусть страницы журнала служат открытым письмом *inibi et orbi*. Но дополнительное, особенное внимание мы отдаём рукописям подписчиков «Артикля». Если эти тексты отвечают литературному уровню журнала, то редакция рассматривает и готовит их к печати в приоритетном порядке. Подписаться очень просто: направьте на редакционную почту artikreda@gmail.com письмо об этом, и в ответном письме вы получите несложную инструкцию - как осуществить подписку.

Написать произведение, достойное читательского внимания – нелёгкий и увлекательный творческий труд. Скомпоновать очередной выпуск журнала – тоже серьёзный творческий труд. Распространить журнал, довести его до читательской аудитории – не менее существенный труд. А читать готовый «Артикль» - не только творческий труд, но и несомненное художественное наслаждение. Присоединяйтесь!

АВТОРЫ НОМЕРА

Анна Берсенева – прозаик, доцент Литературного института имени А.М. Горького, живет в Москве.

Катя Капович – поэт, прозаик, преподаватель, живет в Бостоне.

Ольга Минская – директор по бизнес развитию программы MBA в Тель Авивском университете, прозаик, живет в Герцлии.

Шула Примак – дипломат, муниципальный работник, живёт в Ашкелоне.

Елена Дьячкова – прозаик, живёт в Мельбурне.

Александр Климов-Южин – поэт, живёт в Москве.

Сергей Катуков – прозаик, филолог, живет в Борисоглебске.

София Синицкая – прозаик, живет в Петербурге.

Марк Горин – журналист, живет в Тель-Авиве.

Игорь Альмечитов – прозаик, живет в Воронеже.

Михаил Певзнер – экономист, прозаик, живет в Тель-Авиве.

Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Натан Захави – сценарист, кинопродюсер, радиожурналист, живет в Тель-Авиве.

Вероника Долина – поэт, переводчик, композитор, певица, живет в Москве.

Яна-Мария Курмангалина – поэт, живет в Москве.

Ольга Журавлева – поэт, редактор, общественный деятель, живет в Москве.

Михаил Сипер – кибуцник, поэт, живет в кибуце Кфар Масарик.

Евгений Финкель – поэт, журналист, редактор, живет в Холоне.

Феликс Хармац – сисадмин, поэт, живёт в Холоне.

Андрей Новиков – поэт, прозаик, живет в Липецке.

Эдуард Учаров – поэт, эссеист, редактор, живет в Казани.

Андрей Чемоданов – поэт, живет в Москве.

Татьяна Дагович – прозаик, поэт, преподаватель, живет в Мюнстере.

Ольга Аникина – врач, поэт, прозаик, переводчик, эссеист, живет в Санкт-Петербурге.

Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор, живёт в Беэр-Яаков.

Александр Карабчиевский – литератор, живет в Тель-Авиве.

Михаил Копелиович – литературный критик и публицист, живет в Маале-Адумим.

Давид Шехтер – публицист, журналист, общественный деятель, живет в Ришон ле-Ционе.

Владимир Ханан – поэт, прозаик, художник, живёт в Иерусалиме.

Денис Соболев – прозаик, профессор кафедры литературы Хайфского университета, живет в Хайфе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции:
articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).

